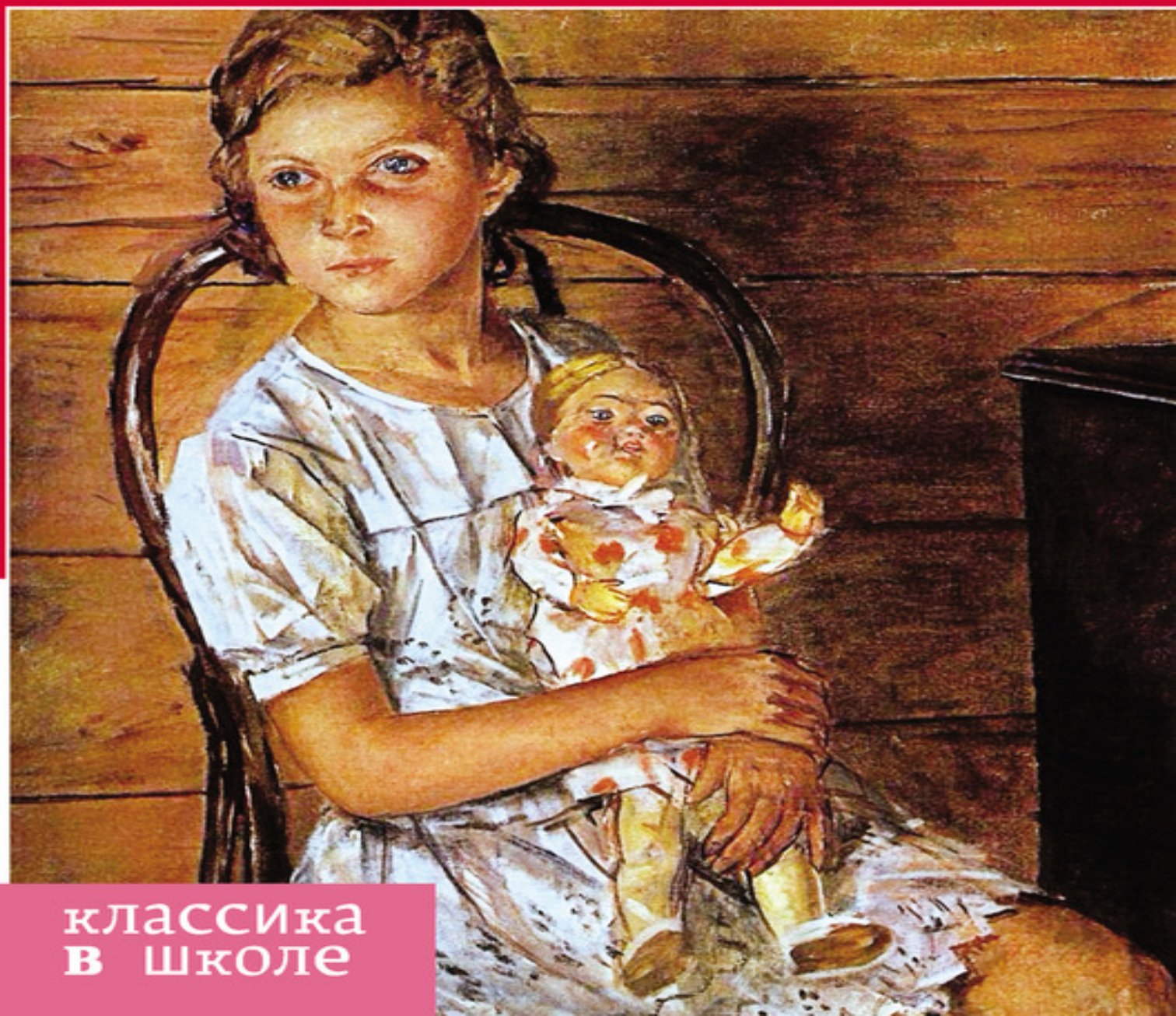


Евгений **Носов**

Кукла



классика
в школе

Annotation

Перед вами книга из серии «Классика в школе», в которой собраны все произведения, изучающиеся в начальной школе, средних и старших классах. Не тратьте время на поиски литературных произведений, ведь в этих книгах есть все, что необходимо прочесть по школьной программе: и для чтения в классе, и для внеклассных заданий. Избавьте своего ребенка от длительных поисков и невыполненных уроков.

В книгу включены рассказы Е. Носова, которые изучают в 7-м классе.

- [Евгений Носов](#)
 -
 - [Зимородок](#)
 - [Живое пламя](#)
 - [Забытая страничка](#)
 - [Шуруп](#)
 - [Покормите птиц!](#)
 - [Таинственный музыкант](#)
 - [Тридцать зерен](#)
 - [Хитрюга](#)
 - [Черный силуэт](#)
 - [Белый гусь](#)
 - [Фагот](#)
 - [Костер на ветру](#)
 - [Дёжка](#)
 - [Картошка с малосольными огурцами](#)
 - [Красное, желтое, зеленое...](#)
 - [Аз-буки](#)
 - [Жаних](#)
 - [Собачий наперсток](#)
 - [Алюминиевое солнце](#)
 - [1](#)
 - [2](#)

- [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [Где просыпается солнце?](#)
 - [Кукла \(Акимыч\)](#)
-

Евгений Носов

Кукла (сборник)

© Носов Е. И., наследник, 2015

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2015

Зимородок

У каждого рыболова есть на реке любимый уголок. Здесь он строит себе приваду. Забивает в дно реки у берега полукругом колья, оплетает их лозой, а пустоту внутри засыпает землей. Получается что-то вроде маленького полуострова. Особенно когда рыбак обложит приваду зеленым дерном, а забитые колья пустят молодые побеги.

Тут же, в трех-четыре шагах, на берегу сооружают укрытие от дождя – шалаш или землянку. Иные устраивают себе жилище с нарами, маленьким оконцем, с керосиновым фонариком под потолком. Здесь и проводят рыболовы свой отпуск.

Этим летом я не строил себе привады, а пользовался старой, хорошо обжитой, которую уступил мне товарищ на время отпуска. Ночь мы прорыбачили вместе. А наутро мой друг стал собираться к поезду. Укладывая рюкзак, он давал мне последние наставления:

– Не забывай о прикорме. Не будешь подкармливать рыбу – уйдет она. Потому и привадой называют, что к ней рыбу приваживают. На рассвете подсыпай жмышку. Он у меня в мешочке над нарами. Керосин для фонаря найдешь в погребе за шалашом. Молоко я брал у мельничихи. Вот тебе ключ от лодки. Ну, кажется, все. Ни хвоста, ни чешуи!

Он вскинул на плечи рюкзак, поправил сбитую лямкой кепку и вдруг взял меня за рукав:

– Да, чуть не забыл. Тут по соседству зимородок живет. Гнездо у него в обрыве, вон под тем кустом. Так ты, тово... Не обижай. Пока я рыбачил, привык ко мне. До того осмелел, что на удочки стал садиться. Дружно жили. Да и сам понимаешь: одному тут скучновато. И тебе он верным напарником в рыбалке будет. Мы с ним уже третий сезон знакомство ведем.

Я тепло пожал руку товарищу и пообещал продолжить дружбу с зимородком.

«А каков он, зимородок-то? – подумал я, когда приятель был уже далеко. – Как я его узнаю?» Я когда-то читал про эту птичку, но описания не запомнил, а живой видеть не приходилось. Расспросить же друга, как она выглядит, не догадался.

Но вскоре она сама объявилась. Я сидел у шалаша. Утренний клев окончился. Поплавки недвижно белели среди темно-зеленых лопухов кувшинок. Иногда разыгравшаяся мальва задевала поплавки, они вздрагивали, заставляли меня насторожиться. Но вскоре я понял, в чем дело, и совсем перестал следить за удочками. Наступал знойный полдень – время отдыха и для рыбы, и для рыболовов.

Вдруг над прибрежными зарослями осоки, часто-часто махая крылышками, промелькнула крупная яркая бабочка. В то же мгновение бабочка опустилась на крайнее мое удище, сложила крылья и оказалась... птичкой. Тонкий кончик удища закачался под ней, подбрасывая птичку вверх и вниз, заставляя ее то вздрагивать крылышками, то растопыривать хвостик. И точно такая же птичка, отраженная в воде, то летела навстречу, то вновь падала в синеву опрокинутого неба.

Я затаился и стал разглядывать незнакомку. Она была удивительно красива. Оливково-оранжевая грудка, темные, в светлых пестринках крылья и яркая, небесного цвета спинка, настолько яркая, что во время полета она блестела совершенно так же, как переливается на изгибах освещенный солнцем изумрудно-голубой атлас. Неудивительно, что я принял птичку за диковинную бабочку.

Но пышный наряд не шел к ее лицу. В ее облике было что-то скорбное, печальное. Вот удочка перестала качаться. Птичка замерла на ней неподвижным комочком. Она зябко втянула в плечи голову и опустила на зоб длинный клюв. Короткий, едва выступавший из-под крыльев хвост тоже придавал ей какой-то сиротливый облик. Сколько я ни следил за ней, она ни разу не пошевелилась, не издала ни единого звука. И все смотрела и смотрела на струившиеся под ней темные воды реки. Казалось, она уронила что-то на дно и теперь, опечаленная, летает над рекой и разыскивает свою потерю.

И у меня стала складываться сказка про красавицу-царевну. О том, как ее заколдовала злая баба-яга и превратила в птичку-зимородка. Одежда на птичке так и осталась царская: из золотой парчи и голубого атласа. А печальна царевна-птица оттого, что баба-яга забросила в реку серебряный ключик, которым отмыкается кованый сундук. В сундуке на самом дне лежит волшебное слово. Овладев этим словом, царевна-птичка снова станет царевной-девушкой. Вот и летает

она над рекой, грустная и скорбная, ищет и никак не может отыскать заветный ключик.

Посидела, посидела моя царевна на удочке, тоненько пискнула, будто всхлипнула, да и полетела вдоль берега, часто махая крылышками.

Очень понравилась мне птичка. Обидеть такую рука не поднимается. Не зря, выходит, предупреждал меня товарищ.

Зимородок прилетал каждый день. Он, видно, и не заметил, что на привале появился новый хозяин. И какое ему было до нас дело? Не трогаем, не пугаем – и на этом спасибо. А я к нему прямо-таки привык. Иной раз почему-то не навестит, и уже скучаешь. На пустынной реке, когда живешь так невылазно, каждому живому существу рад.

Как-то прилетела моя пичужка на приваду, как и прежде, уселась на удочку и стала думать свою думу горькую. Да вдруг как бухнется в воду! Только брызги во все стороны полетели. Я даже вздрогнул от неожиданности. А она тут же взлетела, сверкнув чем-то серебряным в клюве. Будто это и был тот самый ключик, который она так долго искала.

Но оказалось, моя сказка на этом не окончилась. Зимородок прилетал и прилетал и все был так же молчалив и невесел. Изредка он нырял в воду, но вместо заветного ключика попадались мелкие рыбешки. Он уносил их в свою глубокую нору-темницу, вырытую в обрыве.

Приближался конец моего отпуска. По утрам над рекой больше не летали веселые ласточки-береговушки. Они уже покинули родную реку и тронулись в далекий и трудный путь.

Я сидел у шалаша, греясь на солнце после едкого утреннего тумана. Вдруг по моим ногам скользнула чья-то тень. Я вскинул голову и увидел ястреба. Хищник стремительно мчался к реке, прижав к бокам свои сильные крылья. В тот же миг над камышами быстро-быстро замахал крылышками зимородок.

– Ну зачем же ты летишь, дурачишка! – вырвалось у меня. – От такого разбойника на крыльях не спасешься. Прячься скорей в кусты!

Я вложил в рот пальцы и засвистел что было мочи. Но, увлеченный преследованием, ястреб не обратил на меня внимания. Слишком верна была добыча, чтобы отказаться от погони. Ястреб уже

вытянул вперед голенастые ноги, распустил веером хвост, чтобы затормозить стремительный разлет и не промахнуться... Злая колдунья послала на мою царевну смерть в облике пернатого разбойника. Вот какой трагический конец у моей сказки.

Я видел, как в воздухе мелькнули в молниеносном ударе когтистые лапы хищника. Но буквально на секунду раньше зимородок голубой стрелой вонзился в воду. На тихой предвечерней воде заходили круговые волны, удивившие одураченного ястреба.

Я собирался домой. Отвел лодку к мельнице для присмотра, уложил в заплечный мешок вещи, смотал удочки. А вместо той, на которой любил сидеть зимородок, воткнул длинную ветку лозы. Под вечер как ни в чем не бывало прилетела моя печальная царевна и доверчиво уселась на хворостину.

– А я вот ухожу домой, – сказал я вслух, завязывая рюкзак. – Поеду в город, на работу. Что ты будешь одна делать? Смотри, ястребу на глаза больше не попадайся. Полетят твои оранжевые и голубые перышки над рекой. И никто про то не узнает.

Зимородок, нахохленный, недвижно сидел на лозинке. На фоне полыхающего заката отчетливо вырисовывалась сиротливая фигурка птички. Казалось, она внимательно слушала мои слова.

– Ну, прощай!..

Я снял кепку, помахал моей царевне и от всей души пожелал отыскать серебряный ключик.

Живое пламя

Тетя Оля заглянула в мою комнату, опять застала за бумагами и, повысив голос, повелительно сказала:

– Будет писать-то! Поди проветришь, клумбу помоги разделить. – Тетя Оля достала из чулана берестяной короб. Пока я с удовольствием разминал спину, взбивая граблями влажную землю, она, присев на завалинку и высыпав себе на колени пакетики и узелки с цветочными семенами, разложила их по сортам.

– Ольга Петровна, а что это, – замечаю я, – не сеете вы на клумбах маков?

– Ну, какой из мака цвет! – убежденно ответила она. – Это овощ. Его на грядках вместе с луком и огурцами сеют.

– Что вы! – рассмеялся я. – Еще в какой-то старинной песенке поется:

А лоб у нее, точно мрамор, бел,
А щеки горят, будто маков цвет.

– Цветом он всего два дня бывает, – упорствовала Ольга Петровна. – Для клумбы это никак не подходит, пыхнул – и сразу сгорел. А потом все лето торчит эта самая колотушка, только вид портит.

Но я все-таки сыпанул тайком щепотку мака на самую середину клумбы. Через несколько дней она зазеленела.

– Ты маков посеял? – подступилась ко мне тетя Оля. – Ах озорник ты этакий! Так уж и быть, тройку оставила, тебя пожалела. Остальные все выполола.

Неожиданно я уехал по делам и вернулся только через две недели. После жаркой, утомительной дороги было приятно войти в тихий старенький домик тети Оли. От свежeweымытого пола тянуло прохладой. Разросшийся под окном жасминовый куст ронял на письменный стол кружевную тень.

– Квасу налить? – предложила она, сочувственно оглядев меня, потного и усталого. – Алеша очень любил квас. Бывало, сам по

бутылкам разливал и запечатывал.

Когда я снимал эту комнату, Ольга Петровна, подняв глаза на портрет юноши в летной форме, что висит над письменным столом, спросила:

– Не мешает?

– Что вы!

– Это мой сын Алексей. И комната была его. Ну, ты располагайся, живи на здоровье...

Подавая мне тяжелую медную кружку с квасом, тетя Оля сказала:

– А маки твои поднялись, уже бутоны выбросили.

Я вышел посмотреть на цветы. Клумба стала неузнаваемой. По самому краю расстился коврик, который своим густым покровом с разбросанными по нему цветами очень напоминал настоящий ковер. Потом клумбу опоясывала лента маттиол – скромных ночных цветков, привлекающих к себе не яркостью, а нежно-горьковатым ароматом, похожим на запах ванили. Пестрели куртинки желто-фиолетовых анютиных глазок, раскачивались на тонких ножках пурпурно-бархатные шляпки парижских красавиц. Было много и других знакомых и незнакомых цветов. А в центре клумбы, над всей этой цветочной пестротой, поднялись мои маки, выбросив навстречу солнцу три тугих, тяжелых бутона. Распустились они на другой день.

Тетя Оля вышла поливать клумбу, но тотчас вернулась, громяхая пустой лейкой.

– Ну, иди, смотри, зацвели.

Издали маки походили на зажженные факелы с живыми, весело полыхающими на ветру языками пламени. Легкий ветер чуть колыхал, а солнце пронизывало светом полупрозрачные алые лепестки, отчего маки то вспыхивали трепетно-ярким огнем, то наливались густым багрянцем. Казалось, что стоит только прикоснуться – сразу опалят!

Маки слепили своей озорной, обжигающей яркостью, и рядом с ними померкли, потускнели все эти парижские красавицы, львиные зевы и прочая цветочная аристократия.

Два дня буйно пламенели маки. И на исходе вторых суток вдруг осыпались и погасли. И сразу на пышной клумбе без них стало пусто. Я поднял с земли еще совсем свежий, в капельках росы, лепесток и расправил его на ладони.

– Вот и все, – сказал я громко, с чувством еще неостывшего восхищения.

– Да, сгорел... – вздохнула, словно по живому существу, тетя Оля. – А я как-то раньше без внимания к маку-то этому. Короткая у него жизнь. Зато без оглядки, в полную силу прожита. И у людей так бывает...

Тетя Оля, как-то сгорбившись, вдруг заторопилась в дом.

Мне уже рассказывали о ее сыне. Алексей погиб, спикировав на своем крошечном «ястребке» на спину тяжелого фашистского бомбардировщика.

Я теперь живу в другом конце города и изредка заезжаю к тете Оле. Недавно я снова побывал у нее. Мы сидели за летним столиком, пили чай, делились новостями. А рядом на клумбе полыхал большой костер маков. Одни осыпались, роняя на землю лепестки, точно искры, другие только раскрывали свои огненные языки. А снизу, из влажной, полной жизненной силы земли, подымались все новые и новые туго свернутые бутоны, чтобы не дать погаснуть живому огню.

Забытая страничка

Лето умчалось как-то внезапно, будто спугнутая птица. Ночью тревожно зашумел сад, заскрипела под окном старая дуплистая черемуха.

Косой шквальный дождь хлестал в стекла, глухо барабанил по крыше, и булькала и захлебывалась водосточная труба. Рассвет нехотя просочился сквозь серое, без единой кровинки небо. Черемуха почти совсем облетела за ночь и густо насорила листьями на веранде.

Тетя Оля срезала в саду последние георгины. Перебирая мокрые, дышащие влажной свежестью цветы, она сказала:

– Вот и осень.

И странно было видеть эти цветы в полумраке комнаты с заплаканными окнами.

Я надеялся, что внезапно подкравшееся ненастье долго не задержится. Холодам, по сути дела, рановато. Ведь впереди еще бабье лето – одна-две недели тихих солнечных дней с серебром летящей паутины, с ароматом поздних антоновок и предпоследними грибами.

Но погода все не налаживалась. Дожди сменились ветрами. И ползли и накатывались бесконечные вереницы туч. Сад медленно увядал, осыпался, так и не запыхав яркими осенними красками.

За ненастьем как-то незаметно истаял день. Уже в четвертом часу тетя Оля зажигала лампу. Кутаясь в козий платок, она вносила самовар, и мы от нечего делать принимались за долгое чаепитие. Потом она шинковала для засолки капусту, а я садился за работу или, если попадалось что интересное, читал вслух.

– А грибков-то нынче не запасли, – сказала тетя Оля. – Поди, теперь уж и совсем отошли. Разве только опята...

И верно, шла последняя неделя октября, все такая же сумрачная и нерадостная. Где-то стороной прошло золотое бабье лето. Уж не было никакой надежды на теплые деньки. Того и жди, завьюжит. Какие уж теперь грибы!

А на другой день я проснулся от ощущения какого-то праздника в самом себе. Я открыл глаза и ахнул от изумления. Маленькая, до того

сумрачная комнатка была полна радостного света. На подоконнике, пронизанная солнечными лучами, молодо и свежо зеленела герань.

Я выглянул в окно. Крыша на сарае серебрилась изморозью. Белый искрящийся налет быстро подтаивал, и с карниза падала веселая, бойкая капель. Сквозь тонкую сетку голых ветвей черемухи безмятежно голубело начисто вымытое небо.

Мне не терпелось поскорее выбраться из дому. Я попросил у тети Оли небольшой грибной кузовок, перекинул через плечо двустволку и зашагал в лес.

Последний раз я был в лесу, когда он стоял еще совсем зеленый, полный беспечного птичьего гомона. А сейчас он весь как-то притих и посуровел. Ветры обнажили деревья, далеко вокруг развеяли листву, и стоит лес странно пустой и прозрачный.

Только дуб, что одиноко высился на самом краю леса, не сбросил своей листвы. Она лишь побурела, закучерявилась, опаленная дыханием осени. Дуб стоял, как былинный ратник, суровый и могучий. В него когда-то ударила молния, осушила вершину, и теперь над его тяжелой, выкованной из бронзы кроной торчал обломанный сук, словно грозное оружие, поднятое для новой схватки.

Я углубился в лес, вырезал палку с вилочкой на конце и принялся разыскивать грибные места.

Найти грибы в пестрой мозаике из опавших листьев – дело нелегкое. Да и есть ли они в такую позднюю пору? Я долго бродил по гулкому, опустевшему лесу, ворошил под кустами рогатинкой, радостно протягивал руку к показавшейся красноватой грибной шапочке, но она тотчас таинственно исчезала, а вместо нее лишь краснели осиновые листья. На дне моего кузовка перекатывались всего три-четыре поздние сыроежки с темно-лиловыми широкополыми шляпками.

Только к полудню я набрел на старую порубку, заросшую травами и древесной порослью, среди которой то здесь, то там чернели пни. На одном из них я обнаружил веселую семейку рыжих тонконогих опят. Они толпились между двух узловатых корневищ, совсем как озорные ребятишки, выбежавшие погреться на завалинке. Я осторожно срезал их все сразу, не разъединяя, и положил в кузовок. Потом нашел еще такой же счастливый пенек, еще, и вскоре пожалел, что не взял с собой

корзины попросторней. Ну что ж, и это неплохой подарок для моей доброй старушки. То-то будет рада!

Я присел на пенек, снял кепку, подставив голову теплу и свету, и набил свою трубочку. Экий выдался славный денек! Теплынь, тишина. И не подумаешь, что по этому голубому небу с высоко плывущими перьями прозрачных облачков только вчера ползли косматые серые тучи. Совсем как летом.

Вон с березового пня слетела бабочка, темно-вишневая, со светлой каемкой на крыльях. Это траурница. Она выползла из своего укрытия на солнце и грелась на теплом срезе дерева. А теперь, отогревшись, неловко, скачущим полетом запорхала над поляной. И совсем не удивительно было слышать, как где-то в траве стал настраивать свою скрипочку кузнечик.

Вот ведь как бывает в природе: уж и октябрь на исходе – глухая пора дождей, – и совсем где-то рядом затаилась зима, – и вдруг на границе нескончаемых осенних дождей и зимней вьюги затерялся такой светлый, праздничный денек! Будто лето, поспешно улета, случайно обронило одну из своих светлых страничек. И вся эта поляна, окаймленная молчаливым, обнаженным лесом, выглядит совсем по-летнему. Здесь столько еще зелени! И даже есть цветы. Я нагнулся и выпутал из травы жестковатую кисточку душицы, усыпанную нежно-лиловыми венчиками.

А потом, возвращаясь домой, я собрал еще несколько разных цветков и связал из них маленький букетик. Здесь были и ярко-синие звездочки дикого цикория, и белые крестики ярутки, и даже нежная веточка полевой фиалки – драгоценности, оброненные улетевшим летом.

Шуруп

Через апрельские поля и перелески, тронутые первой вешней зеленью, напрямик к горизонту уходили опорные мачты высоковольтки.

Рядом, постепенно забирая вправо, проселочной дорогой шагал Шуруп – конопатый, курносый парнишка, каких пачками выпускают ремесленные училища и всевозможные школы ФЗО. Зимний форменный бушлат нараспашку, в руке старенькая шапка-ушанка, подбитая загадочным сизо-голубым зверем. На ногах Шурупа обыкновенные рабочие ботинки с железными заклепками по бокам. В таких чечетку выколачивать, конечно, трудновато, но топать по ненакатанному проселку даже очень ловко, особенно если хорошенько расшагаться.

Шуруп нес шапку-ушанку за одно ухо, как носят мальчишки подстреленную ворону, и шлепал ею по штанине при каждом шаге. Белобрысый чуб его уже давно обсох на ветерке и теперь топорщился на голове без всякого порядка.

Денек с самого утра солнечный, веселый. Час от часу наливаются зеленью еще вчера бурые луговины и обочины, дрожит светлый парок над черной, распаханной землей, а по всему небу – то где-то под белыми мазками облаков, то совсем близко, над самым ухом, – звенят, заливаются жаворонки, а глянешь вверх – тут же зажмуришься от безудержного потока лучей и не увидишь никакого жаворонка, будто это не они поют, а сам небосвод звенит от весеннего тепла и света.

Идет Шуруп, помахивает шапкой, поддает ботинком все, что можно нафутболить, – сухой ком земли или старую консервную банку, останавливается на мостках через речушки, смотрит, как малявки гоняются за плевком, хорошее настроение у Шурупа!

За неделю до майских праздников их бригада высоковольтников закончила тянуть линию на своем участке, и Фролов, начальник участка, отпустил Шурупа домой на целых пять суток. «Вот тебе, – говорит, – два дня майских, один выходной и два дня от меня лично. За то, что в дело вникаешь».

Правда, Шуруп числится в бригаде даже и не монтажником, а всего только стажером. Но это по приказу, а если так, то никакой разницы нет. Дождь или там завируха какая, разрядов не признает – чихвостит всех без разбору. Да и спал в одном вагончике, и ели из одного котла. Какой может быть разговор? А если показать руки, так у Шурупа они что ни на есть рабочие: не с водянками, какие бывают у школьников от первой грядки, а с настоящими мозолями, обтянутыми желтой, зароговевшей кожей, такой твердой, что даже ногтем не уколупнешь. Сожмет Шуруп пальцы, и сразу внутри кулака чувствуется эта мозолистая жесткость, от которой рука тяжела, будто железная, и молоток в ней сидит как влитой.

«А все-таки здорово получилось! – думал Шуруп, хозяйственно поглядывая на высоковольтку. – Даже красиво!»

Всю дорогу Шуруп ощущал, как в грудь ему упирался бумажный комочек – пачка свернутых пополам трешек, вложенная в боковой карман бушлата. Это его первая получка за полтора месяца работы на линии. Шуруп в горячах даже и не посчитал, сколько там. Удержали подходящий, какие-то там холостяцкие, за харчи вычли (продукты привозят прямо на линию), пятерку одолжил лебедчику Ваньке Шелябову, и все равно осталась целая куча. По молодости Шуруп еще не умел вести хозяйственный счет деньгам, и потому ему неважно, сколько лежало этих самых трешек в кармане. Куда было важнее сознавать, что они наконец есть и что он заработал их собственными руками.

«Надо купить матери подарок к празднику, – размышлял Шуруп. – Приеду в город – сразу домой не пойду, а сперва схожу по магазинам. Чтоб домой прямо с подарком. Только что купить? Конфет коробку? Каких-нибудь подороже. Чтоб лентой были перевязаны. Да разве она съест сама? Возьмет штучку-две, а остальные отдаст Витьке. А тому только подавай: в один раз все съест, как картошку, а коробку ножницами изрежет. Может быть, сумочку? Та, черная, совсем износилась, уже два раза чинили замок. Или платье?.. Красивое, с цветами. Вот будет рада!» Шурупу было приятно мысленно одевать мать во все новое: он представил, как мать, волнуясь, розовея лицом, будет примерять подарки перед зеркалом, и от этих мысленных картин проникался к самому себе чувством честно заслуженного уважения.

«Носи, мать, на здоровье, – скажет он. – Заработаю еще – лучше куплю».

На вокзал Шуруп пришел задолго до поезда. Старая Засека оказалась пустяковой, неказистой станцией: несколько товарных вагонов в тупике, два или три приземистых склада с крышами, заляпанными смолой, какие-то бревна под откосом. Но поезд здесь почему-то останавливался. Стоял недолго, не более двух минут, казалось, только за тем, чтобы перед крутым изволом дать паровозу глотнуть свежего воздуха в его прокуренные легкие.

Шуруп купил билет, прочитал расписание и всякие плакаты, с интересом потолкался в буфете, прицелясь к разной еде, разложенной на тарелках. Выбрал бутерброд с темными, сухими пятаками колбасы, прогнутыми, как медные биты, потом, подумав, попросил нацедить кружку пива, – все-таки с получки!

Сразу за Старой Засекой – жидкий дубовый лесок. До поезда было минут сорок. Посидев на солнышке на перроне, Шуруп побрел к лесу. Рощица стояла высокая и светлая, в крепком настое талой земли и ясной солнечной тишины. Звонко, ошалев от тепла и света, от сини неба и собственного бытия, цвикала синица-кузя. Шуруп походил по кучерявым дубовым листьям, хитрым свистом через оттопыренную губу подразнил кузю, ножом ковырнул у комля молодую березку и, прислонившись к стволу, терпеливо дожидался набегавшую капельку в подрезе, чтобы слизнуть ее языком. Потом глянул себе под ноги и радостно удивился: вся поляна была усыпана подснежниками – голубые блески на буром ковре прошлогодних листьев.

Ползая на коленях, Шуруп вдруг услышал паровозный гудок: пассажирский поезд подходил к Старой Засеке. Уже на бегу к вокзалу Шуруп сообразил, что не успеет, и, круто повернув, побежал к выходной стрелке. Едва он скатился по откосу глубокой выемки, как мимо поплыли длинные зеленые вагоны.

Шуруп побежал вдоль состава. Тяжелые рабочие башмаки грузно увязали в ракушечнике. Правой рукой он успел ухватиться за поручень последнего, двенадцатого, вагона, из открытой двери которого ему что-то кричала проводница. Он изо всех сил побежал рядом с подножкой, не зная, что ему делать с подснежниками, которые мешали ему вцепиться в вагон обеими руками. Проводница больно колотила по руке свернутыми флажками, но Шуруп не выпустил поручня. Он

бросил букетик в дверь, подпрыгнул и, согнувшись баранкой, повис на подножке. Рука проводницы вцепилась в воротник Шурупова бушлата, и он на четвереньках влетел в тамбур.

– Куда тебя, окаянного, несет? – Проводница в сердцах дала Шурупу подзатыльник.

Шуруп стал на ноги. Испарина мелкими бусинками осыпала редкий пушок на его верхней губе. Он снял шапку и вытер ею лицо. Из шапки шибануло распаренными волосами.

– Аж сердце захолонуло... – перевела дух проводница, толстая пожилая тетка, с трудом обтянутая черным казенным платьем. – Погляди: где тебя носило?

Шуруп посмотрел на ботинки. Они были облеплены вязкой лесной грязью.

– Весна! – улыбнулся Шуруп, уловив незлобивые нотки в ворчании проводницы.

– То-то – весна... С такими ногами в вагон не пущу.

– Я и тут постою.

– Погоди, веник вынесу.

Проводница ушла, и Шуруп, присев на корточки, принялся собирать цветы. Непослушными пальцами, все еще дрожавшими от гулких толчков сердца, он брал с пола нежные зеленоватые стебли с голубыми колокольцами и складывал в шапку.

Из двери высунулась проводница, бросила Шурупу веник.

– Руку больно нахлестала флажками?

Кисть правой руки тупо ныла, но Шуруп не сознался.

– Надо было ногой, каблуком. Сразу бы отцепился. С вами, сорваньем, иначе и нельзя. Долго ли до греха! А ну, покажи цветы-то. Я уж и забыла, какие они, подснежники.

Она запустила пухлую красную руку в Шурупову ушанку и бережно, будто новорожденного цыпленка-пуховичка, выгребла и положила на ладонь горстку подснежников.

– Ишь ты какие! Голубоглазые... Лесом пахнут! – по-девичьи обрадовалась старая проводница. – Что ж ты их в шапку-то складываешь? Пойдем, стаканчик дам.

Шуруп прошел в вагон, выбрал себе место за свободным столиком в проходе, поставил стакан с подснежниками, огляделся. После свежего лесного воздуха в вагоне было жарко, как в бане. Сквозь

двойные, плохо протертые стекла в упор било неистовое апрельское солнце. Недвижно-пыльный столб света пролег через купе, резко высвечивая многослойную корявую охру полок. В этой духоте, будто шмель, запутавшийся в паутине, зудел репродуктор поездного радио.

Шуруп снял бушлат, запихнул шапку в рукав и пристроил одежду на крючке под верхней боковой полкой, на которой, свернувшись калачиком, спал какой-то паренек в черной спецовке, наверное, тоже из ихнего брата фэзэушников. За столиком у противоположного окна под тяжелый, засосный храп, долетавший с верхней полки, закусывали две женщины – старая и помоложе. Спавший мужчина лежал навзничь, натянув на голову обшитый сукном овчинный полушубок, из-под которого, свисая над проходом, торчали две босые мясистые ступни.

Старушка, сидевшая с правой стороны столика, нарезала на промасленной газете селедку, клала кусочки в рот и, погоняв языком по пустому беззубому рту, с бульканьем проглатывала, по-куриному вытягивая худую, жилистую шею. Несмотря на духоту, она сидела в теплом старомодном полусаке и только шаль сдвинула на плечи, оставив на голове белый ситцевый платочек, завязанный под остро выступавшим подбородком.

По другую сторону столика за стаканом чая, лениво дымящимся на солнце, сидела женщина в черном платке, низко и туго обтягивавшем широкий лоб. В черной раме платка четко желтело крупное неподвижное лицо, густо испещренное рябинами, которые не давали появляться ни складкам, ни морщинам, и оттого лицо казалось каменно-мертвым, будто высечено из пористого, выветренного песчаника.

Как только Шуруп устроился, старушка, поедавшая селедку, попросила его забросить на самую верхнюю полку холщовый мешок, который лежал у ее ног под столиком.

– Мне-то он, родненький, не помеха, а кому может и помешать. Непорядок, скажут.

– Чеснок, что ли? – потянул носом Шуруп, закатывая не по старухе тяжелый мешок на полку.

– Чесночек, родненький, чесночек. Кормилец наш. Кабы не чесночек – хоть по миру ступай. У нас-то он промеж других овощей не виден. А есть такие местности, где он слаще меду-сахару. Привезу – спасибо скажут.

– Уж это на кого наскочишь! – неожиданно грубым, мужским голосом проговорила ряболицая.

– И то бывает, мать Маланья, – закивала старушка. – Иной берет – нахваливает, а иной и не берет и волком смотрит. Да еще и приструнит. А того не сообразит, что я ему добро делаю. От всякого недуга чеснок – первое снадобье. Мне-то, старой, благо ли в такую даль тащиться, кабы б не об ихней же пользе радела? Иной раз так расхвораюсь, так расхвораюсь в дороге-то, что, того и гляди, богу душу на чужой стороне отдам. Ан еду! Цветики-то небось барышне своей везешь? – спросила старушка.

– Матери, – сказал Шуруп.

– Матери? – умилилась старушка. – Ах, ласковый, ах, сердечный! Помнишь, стало быть, мать, почитаешь. Да ты бы, касатик, к этим-то цветам еще и вербочки нарезал. Сегодня Вербное воскресенье.

– У нас через два дня свой праздник, – сказал Шуруп.

– Так ведь то, касатик, выдуманный. А это настоящий. Испокон веков празднуется.

– Как это выдуманный? – Шуруп снисходительно посмотрел на старушку. – К Первому мая люди план свой перевыполняют, премии им дают, гуляют целых два дня. Как это выдуманный? Ты, бабуся, что-то загнула. Это ваш выдуманный...

– Да ты не серчай, касатик. Вам, молодым, абы погулять. Вот ты безо всякого разбору и празднуешь. Где пошумнее, туда и идешь. А что за тем праздником? Одна суета. Никакого очищения души. А Вербное воскресенье – великий праздник. Иисусу Христу нашему дорогу вербой выстилали. Вот я к тому и говорю: срезал бы вербочку и свез матери во славу-то Божию.

– Тоже выдумала! – пробасила ряболицая. – Нынче вербу разве что на метлы режут. Забыли о Боге люди. Все забыли.

– На метлу, мать Маланья! – согласно закивала старушка. – Ох и на метлу! Да и то сказать: метлу собрать не из чего. Сколько раньше вербы-то было! Бывало, подходит праздник – каждый идет ломать. И малый и старый. Столько люду в Расее, и каждому надобно. А она, верба-то, не токмо не переводится, а еще пуще растет. Потому – на святое дело потребляется. Выйдешь на выгон об эту пору, а она кипенью кипит – пуховитая, медвяная. А ноне, гляжу я, нет вербы, вся пересохла.

– Потому и пересохла, – резонила ряболицая, прихлебывая из стакана жесткими, неподвижными губами, – потому, говорю, и пересохла, что земля грехом пропитана.

– Не может быть, стало быть, божья лоза в такой земле произрастать, – согласилась старушка.

– Вот дают! – усмехнулся Шуруп.

Все эти разговоры были для него очевидной нелепостью.

– Да этой вашей лозы хоть пруд пруди! – сказал он запальчиво. – Мы в Старой Засеке линию тянули, так пришлось бульдозером выкорчевывать: ступить некуда.

Но это возражение Шурупа не было принято всерьез, и он, махнув рукой, стал смотреть в окошко.

– А насчет земли это ты, мать Маланья, правду говоришь, – сказала старушка. – Возьми чеснок: никудышный пошел. Мелкий да уродливый какой-то. Прошлым летом копаю, а у одной головки кукишем зубья-то! Прямо кукиш вылитый! Не иначе как с землей неладное что-то делается.

– Намедни Григорию моему сон привиделся, – заговорила с осанистой медлительностью ряболицая. – Будто среди лета в одну ночь повсюду вода замерзла: и в реках, и в озерах, и в морях – до самого дна. И нигде не осталось ни единой капли, кроме святых источников.

– Прости, Господи, нас, грешных! – истово закрестилась старушка. – Все может статься, мать Маланья. Все может, коли веру утратили.

– А я тебе скажу, что так оно и будет. Кинется люд к святой воде, да только та вода не про всякого.

– Не про всякого! – подхватила старушка.

– Кому она святая будет, а кому и камнем обернется. А этому быть – не миновать, – опустила глаза ряболицая. – Григорию моему просто так не привидится. Он через свою непорочность к самому Господу доступ имеет.

– Блажен, стало быть?

– Благостен, – степенно кивнула ряболицая. – Куда только я его ни привезу, отбою от людей нет.

– Да уж известно, коли дар такой редкий, – закивала старушка.

– Сейчас вот в Воронеж едем. На святую неделю. А потом в Ростов – запрос оттудова был.

– Ах ты касатик белый! Скажи ты – запрос был! – умилилась старушка. – Что ж, он сам объявляет о видениях или как?

– Во сне проговаривается. Сонный. Он говорит, а я запоминаю. Сам-то он, когда проснется, ничего не помнит.

– Вот ведь чудо-то!

«Окно бы открыть», – с тоской подумал Шуруп, оглядывая плотно задраенную раму. Его начинало раздражать и пыльное вагонное солнце, и вид горячего чая на столике у старух, и металлическое дребезжание репродуктора.

Он вышел в тамбур, повернул железную щеколду и открыл наружную дверь. Ударил упругий ветер, торопливый грохот колес и вкусный, с детства любимый запах паровозного дыма, угля, сожженного в бушующей топке.

Поезд шел размашисто, слегка раскачиваясь. С разбегу он рассек пополам сонно дремавший перелесок, обнаженный и прозрачный, окатил тонкие деревца отработанным паром, прикрикнул на них зычным гудком, прогремыхал по чугунному мосту так, что в глазах зарябило от сплетений ферм, и вдруг выкатил на простор. Снова побежали поля – паханные и непаханные, матово-черные, торжественно-безлюдные и радостно-зеленые от первых всходов, над которыми, будто хлопья жженой бумаги, носились грачи.

Возле какого-то переезда, завалившись в придорожную канаву, стоял бензовоз. Водитель, парнишка с перепачканным лицом, ковырявший лопатой под колесами, выпрямился и с озабоченной завистью смотрел на поезд.

– Э, работяга! – озорно крикнул Шуруп. – Бросай трос – дернем!

Стоя у открытой двери, на хлестком встречном ветру, в гулком перестуке колес и рельсов, Шуруп весь растворился в радостном ощущении неудержимого движения.

После глубокой выемки к железнодорожному полотну снова подступила высоковольтка. Взгляд Шурупа перебегал от мачты к мачте, ему казалось, что они не стоят на месте, глубоко врытые в землю, а торопливо шагают куда-то, переставляя свои заостренные книзу «ноги». Одна еще только переступила через проселочную дорогу, а другая уже идет вспаханным полем, и на черной земле четко

белеют ее бетонные башмаки. Следующие две опоры забрели в подростную озимь, и ветерок полощет у их ног шелковистую зелень хлебов. Еще две другие пошагали кочковатым лугом, догоняя тех, кто впереди. А те уже спустились в глубокий распад, закипающий кучерявым лозняком, и видно, как идут они долиной, по пояс утопая в зарослях. И вот уже мачты шагают по деревне, широко простирая траверсы-руки над домами и скворечнями...

Мчится поезд наперегонки с опорными мачтами, никак не может обогнать их торопливый бег по земле, и Шуруп пришлось высунуться из вагона, чтобы видеть те, что шагают далеко впереди, на самом горизонте, постепенно голубея и дрожа в струящемся воздухе. Поезд будет мчаться целый день, и все равно мачты придут в город первыми.

«А все-таки быстро мы управились», – горделиво думал Шуруп. Он знал «в лицо» каждого из этих стальных великанов от Терехова до Старой Засеки – на всем участке своей бригады. Вспомнилось, как по мартовскому распутью лазили по колено в ледяной каше, как на пустых бочках из-под солярки переправлялись через затопленные овраги, как жгли костры и сушили спецовки, и у него затеплилось к ребятам из третьей монтажной доброе чувство братства. Вспомнил и начальника участка Фролова. Хороший все-таки дядька! Это он первый в шутку назвал его Шурупом.

На ближайшей станции Шуруп купил за двугривенный теплую пшеничную лепешку на меду и вернулся к своему столику. Там уже сидел тот самый парень, что спал над Шурупом. Взлохмаченный и заспанный, позевывая и скребя грудь сквозь расстегнутую рубаху, он глядел в окно сонно-невидящими глазами.

– Здорово идет, а? – сказал Шуруп, кивнув за окно. – С ветерком!

– А-а? – переспросил парень.

– Быстро, говорю, едем.

Парень посмотрел в окно, но не ответил. Казалось, он все еще находился в дремотном оцепенении.

– А я в Старой Засеке сел, – сказал Шуруп, с аппетитом уминая лепешку. – Ты спал, не видел. Там наша бригада работает. Линию тянем. Вон, видишь, мачты? Это мы тянули.

Шуруп покосился на соседа, чтобы видеть, какое впечатление произведут его слова. Все-таки не каждому доводится работать на высоковольтке. Этот небось какой-нибудь каменщик или штукатур.

– Чего тянули? – спросил парень.

– Да ты что, глухой? Линию, говорю, тянули. Провода. Видишь в поле?

Парень с испуганным непониманием глядел в окно.

– Это вон те, железные?

– Ну да. Знаешь, какие высокие? Я лазил. Провода с палец толщиной. Это они отсюда паутинкой кажутся. Мы их сначала трактором по полю вытягивали. Руками ни за что не вытянешь. А потом лебедками к траверсам поднимали. Если от самой первой мачты считать, так, может, целых сто тонн провода в небе висит. А мачты несут его вон как легко. Будто это им пара пустяков.

– А зачем они? – спросил парень заспанно-пресным голосом.

– Как зачем? – удивился Шуруп. Он даже перестал жевать лепешку. – Ты что, не знаешь, зачем провода тянут?

Парень посмотрел на Шурупа боязливо мигающими глазами, словно ожидая, что его ударят.

– Чудной, – пожал плечами Шуруп. – Это же электричество: свет, энергия.

Первый раз Шуруп видел человека, который не знал, для чего существует электричество. Это было так странно, будто перед Шурупом сидел доисторический, пещерный житель. В парне и на самом деле было что-то пещерное: замутненные сонной одурью глаза глядели без интереса, будто перед ними не было ничего такого, на что стоило посмотреть; на пухлых щеках и скулах неприятно кучерявилась жидкая борода.

– Ты где работаешь-то? – спросил Шуруп.

– Отстань! – озлился парень. – Чего привязался?

– Да ты что? – удивился Шуруп. – Нужен ты мне больно!

Шуруп, обиженный, решительно отвернулся к окну. «Темнота», – презрительно подумал он о парне.

Над старушкой заворочался полушубок, и из-под него высунулась голова.

– Принеси-ка водицы, – сказала голова парню.

Парень поднялся, раскачиваясь от толчков вагона, побрел в тамбур.

Дюжий краснолицый мужчина, по самые глаза заросший рыжей стерней, сопя, слез с полки, сунул ноги в резиновые сапоги, подошел к

Шуруп.

– Новый пассажир? – сказал он, оглядывая Шурупа красноватыми опухшими глазами. – Далече путь держишь?

– Домой еду.

– Так, так... Откуда?

– В Старой Засеке сел. Там наша бригада сейчас стоит.

– Тракторист, стало быть?

– Монтажник. Линию тянем.

– А-а!.. Трудишься, значит?

– Ага, работаю. В отпуск еду. Пять дней дали.

– Это дело хорошее, – одобрил рыжебородый. – А я, брат, от всякой должности отстранен. Видишь?

Рыжебородый вытряхнул из рукава пиджака деревяшку, окованную на конце железным обручем. В торец деревяшки был вбит железный крючок.

– Рад бы помочь обществу, да не могу, – сказал рыжебородый. – Как оттяпало под Смоленском, так больше и не выросла.

Шуруп с внутренним содроганием посмотрел на железный коготь, в нем шевельнулось сострадание к этой нечеловеческой, мертвой руке и к ее владельцу. Он покосился на другую руку рыжебородого, но на плечах у него висел внапашку полушубок, и другой руки не было видно.

Пришел парень с водой. Рыжебородый наклонился, ухватил стакан зубами и, постепенно поднимая его, высосал воду сквозь усы и зубы. Пролитые струйки воды сбежали по подбородку, растеклись по волосатой груди и отворотам полушубка. В эту минуту рыжебородый походил на огромного циркового медведя, который демонстрировал публике питье патоки из бутылки. Шуруп видел такой номер в одном заезде цирке на базарной площади.

– Так вот, брат, и живем, – сказал рыжебородый и вытер усы концом деревяшки. – При случае и штанов не снимешь.

Шуруп не ответил. Говорить было нечего. Он уставился на свои подснежники, стоявшие перед ним в стакане.

– Может, найдется рублишко инвалиду Великой Отечественной войны? – спросил безрукий глухо.

Шуруп с готовностью полез в бушлат за деньгами. Это хоть как-то отпускало его сжавшуюся в комок чем-то виноватую совесть. Он

достал пачку трешек, порылся в ней, отыскивая рубль.

– У меня рубля нет, – сказал он и покраснел, сообразив, что сказал глупость.

– Давай трешку, – сказал рыжебородый. – Клади-ка ее сюда.

Шуруп записнул три рубля в карман полушубка.

– Не жалеешь, что дал трешку участнику Великой Отечественной войны? – сказал рыжебородый, плечом поправляя полушубок.

– Ну что вы! – смутился Шуруп.

– И никогда не жалею, – наставительно сказал рыжебородый. – Сегодня я у тебя прошу, а завтра, глядишь, ты у меня. Потому – не знаешь, что с тобой будет. И никто не знает: под Богом ходим. Человек предполагает, а Бог располагает! Так-то, брат! Григорий, бери-ка стакан, – обратился он к парню. – Маланья, мы пройдем по вагонам.

– Вот видишь, – сказала старушка Шурупу. – Господь Бог и надоумил тебя сделать доброе дело – помочь калеке-воину. Ты воздал – и тебе воздастся. А как же! Так-то оно и делается в мире-то Божьем.

– Захотел, вот и дал, – сердито сказал Шуруп. Его начинала раздражать эта надоедливая старушенция.

– Э, касатик! – закрутила куриной головой старушка. – «Захотел»? Это тебе только кажется, что захотел. Сам бы небось и не дал. Поскупился. А Бог взял твою руку и разжал для благого деяния.

Шуруп промолчал. Он смотрел вслед удалявшимся по проходу рыжебородому и сопровождавшему его парню. Возле бачка с кипяченой водой парень наклонился и подставил под кран стакан. Шуруп видел, как из расстегнутой на груди парня рубахи вывалился сверкающий крест и закачался на шнурке, глухо звякнув по бачку с водой.

«Наверно, тот самый сновидец, про которого давеча рассказывала ряболицая», – вдруг догадался Шуруп и с неприязнью оглядел неряшливую, сонно-медлительную фигуру парня.

Потом Шуруп видел, как сновидец подал рыжебородому стакан с водой и тот, окруженный любопытными, опять пил воду, простерев вперед деревяшку и по-медвежьи запрокинув рыжую скуластую голову. Видеть все это было неприятно, и Шуруп вышел в тамбур.

Поезд приближался к городу. Шуруп догадался об этом по мачтам высоковольтки. Они теперь шагали по той стороне реки, высоко поднимаясь над темной зеленью молодых сосенок. Скоро на краю

сосняка забелеет новый поселок химиков. Отсюда можно разглядеть даже дом, в котором живет Шуруп. Ему захотелось поскорее домой. В городе теперь готовятся к празднику – прибивают на фасадах зданий плакаты и лозунги, развешивают гирлянды цветных лампочек. А мать, наверное, уже поставила тесто на пироги, и Витька тайком макает палец в банку с вареньем, купленным для начинки. «Вот обрадуются, когда зайду! Они ведь не ждут. Только обязательно купить подарок...»

«Если поезд перед мостом пойдет тише, спрыгну, – подумал Шуруп. – Оттуда до поселка совсем пустяк, и незачем еще полчаса тащиться до вокзала».

Меж деревьев осколком зеркала мелькнула река, опять скрылась, потом выбралась из зарослей, на луг, и по кустам лозы было видно, как она, петляя, пошла на сближение с поездом. Скоро должен быть мост. Шуруп побежал одеваться.

Еще из коридора он увидел свои подснежники. Кто-то вынул их из стакана и бросил на стол. Шуруп заглянул в купе, где сидели старухи. Кроме них, там уже были Григорий и рыжебородый. На столе стояла недопитая бутылка водки в окружении моченых яблок и лежал кусок колбасы. Увидев Шурупа, ряболицая хотела было убрать водку, но безрукий перехватил бутылку.

– Чего там! Парень свой!

Сощутив медвежьи глазки, уютно устроившиеся в глубине мясистых век, он с усмешкой глядел на Шурупа.

– Мы тут стаканчик без тебя брали... Так ты не обессудь. Может, выпьешь за компанию, а? Ради праздничка?

– Чего на рожон лезешь! – пробасила ряболицая.

Шуруп снял с крюка бушлат, собрал со столика подснежники и побежал к выходу. Поезд притормаживал. Шуруп сошел на нижний порожек, выставил вперед ногу и, улучив момент, прыгнул. Поезд загрохотал по мосту.

Шуруп сбежал вниз по крутому откосу насыпи. У самых его ног тихо струилась вечеряющая река. Вымытые весенним половодьем, желтели пески, еще не истоптанные купальщиками. Здесь было все нетронуто-чисто: и песчаная отмель, и вода, и молодые стрелы осок у берега.

И Шурупу неодолимо захотелось в эту хрустальную чистую воду, захотелось смыть с себя ощущение чего-то липкого, что пристало к его

рукам, телу, мыслям за этот долгий день в душном вагоне.

Он бросил в шапку букетик подснежников, торопливо разделся и побежал по отмели, высоко подбивая коленями студеную апрельскую воду. На глубоком он оттолкнулся ото дна, выпрыгнул по самый пояс и, выбросив вперед руки, нырнул в зеленоватый холод. Окунувшись несколько раз и поплавав, Шуруп с удовольствием оделся, ощущая на обожженном студеной водой теле уютную ладность спецовки, и пошел к мосту. Но, как бы вспомнив о чем-то, вернулся к реке и хорошенько выполоскал подснежники.

До первой автобусной остановки было недалеко, и Шуруп рассчитывал еще заехать в магазин.

«Конфет тоже надо, – размышлял он. – Лучше всего “Первомайских”: на коробке разноцветные шары и голуби. В самый раз, к случаю. И еще подснежники. Первые весенние цветы. Совсем неплохо: цветы и конфеты».

Он бодро шагал лугом, размышляя о подарке. Ему было приятно дарить матери разные хорошие вещи. Это было для него целое открытие. Раньше он этого не знал, потому что не был еще рабочим человеком. Он перебирал в уме множество разных вещей, которые хотелось бы принести матери.

В мире много всего хорошего, и все это хочется отдать сразу.

Он еще не знал, что подарит матери одни только подснежники, потому что в его бушлате уже не было ни копейки.

Не знал Шуруп и того, что в этом большом, чудесном мире еще не все так хорошо.

Покормите птиц!.

*Дмитрию Борисовичу Спасскому, заслуженному
биологу*

Как-то прибирался я на книжных полках, приводил в порядок разновеликие и разноименные творения, скопившиеся за многие десятилетия. Иные давненько не брал в руки, хотя и по-прежнему любил ровно и преданно за одно только их существование. Попалась оранжевая книжка стихов Александра Яшина с памятной веткой рябины на обложке. Эта ветка служила как бы символом, смысловым знаком всей его горьковатой и обнаженной поэзии. Разломил книгу наугад, в случайном месте, и вот открылись строчки, словно завещанные ушедшим поэтом:

Покормите птиц зимой,
Пусть со всех концов
К вам слетятся, как домой,
Стайки на крыльцо.

А ниже звучит и вовсе моляще:

Сколько гибнет их – не счесть...
Видеть тяжело.
А ведь в нашем сердце есть
И для птиц тепло.

Право, достал, достал меня Яшин этой своей тревогой, будто больно пнул мою совесть, умиротворившуюся было тихим сентябрьским деньком.

Не закрывая книги, я подошел к окну. А там исподволь уже делалось вот что: за минувшее лето уличные березки своими верхними побегами дотянулись до моего балкона на пятом этаже. Концевые листочки еще по-летнему весело и беспечно полоскались друг перед

дружкой: «Я так могу, а я так умею!» Но первые утренники уже поместили их обманной лимонной нежностью, определив срок, когда порыв близкой невзгоды бросит их под ноги прохожих или вовсе унесет невесть куда.

А давно ли над этими березовыми вершинками с ликующим визгом проносились вставшие на крыло молодые стрижи, иногда в азарте и юной неловкости задевавшие бельевые прищепки на балконе, которые и сами походили на вилохвостых ласточек, присевших передохнуть на протянутые веревки.

Стрижи исчезли в самый день яблочного Спаса, когда в соседнем школьном саду еще дозревали, багряно полосатели отяжелевшие штрифели, аромат которых в открытое окно опахал и мой письменный стол, отчего казалось, будто лето остановилось в своем необратимом благоденствии. Но как раз в этом голубом августовском безвременье внезапно обломившаяся тишина повисла гнетущей пустотой и неуютом. Нас всегда смущает всякое прикосновение времени, его рокового перста. Неожиданный отлет стрижей и был знаковым предвестником надвигающихся перемен, а мы, пребывая в ложном ожидании грядущей вечности, не всегда горазды уловить эти вкрадчивые перемены.

А между тем в легком перистом небе уже заходили предзимними кругами хороводы повзрослевших грачей. Они кружили высоко, на пределе своих возможностей, почти без взмахов, распластавшись крылами. Их гортанный переклик едва долетал из поднебесья. Грачи предавались доступной им радости своего бытия, взмыв над неприятной и всегда враждебной землей, на которой приходилось пребывать озираясь, а крылья держать наготове, будто взведенные курки. Эта радость кружения была выше радости сытости и покоя, потому что приходила вместе с чувством свободы. С бывальыми, умудренными птицами кружил молодняк, обучавшийся лету – крутым виражам и захватывающему скольжению с посвистом ветра в упругом, молодом пере. Должно быть, каждый взлетевший впервые испытывал ликующую гордость от ощущения себя птицей, не ведающей, что ждет ее там, внизу, когда вскоре земля окутается снегом и грянут цепенящие морозы.

Синицы объявились прилюдно только с первой прохладой. Они не попадались на глаза все минувшее лето, и даже не было слышно их

тонко зинькающего голоса. В летнюю пору, поглощенные семейными хлопотами, они напрочь исчезали из виду и вели скрытную, неслышную жизнь в кронах окрестных деревьев, порой прямо у нас над головой. Да и до песен ли, до праздного ли мелькания, пока не оперятся, не поумнеют, не усвоят, что такое кошка, все десять, а то и пятнадцать голопузых пiskuнов? И каждый, едва только забрезжит свет, уже пуще другого разевает оранжевую глотку: дай, дай, дай! Вот и крутись, мать-синица, с утра до вечера: в гнездо с букашкой, из гнезда с какашкой... Сказано это не ради смешка. Если за оглоедами не убирать, то вскоре этим непотребством гнездо наполнится до крайнего предела.

Да и сами-то букашки – они ведь не на каждом кусте, не на всяком листе. Их еще и разыскать надобно да исхитриться поймать. Те ведь тоже умеют прятаться или притворяться не тем, что они есть. Да еще желательно, чтобы добыча была не кусача, не растопырена во все стороны. А то иная гусеница так устрашающе волосата, будто ерш для чистки бутылок, а малиновый клоп этак вонюч, что с души воротит. А пуще всего подавай им пауков, что развешивают свои тенета меж кустов и построек. Их брюшко наполнено уже готовой белковой кашцей, которую они сами высасывают из мягкотелых насекомых. Такой паучок для птенца сущее лакомство, за которое он готов выклевывать глаз своему братцу и даже вытолкнуть из гнезда.

Все эти премудрости мамаше надо знать, чтобы не летать попусту, не носить в гнездо напраслину. В иной день до трехсот вылетов приходится совершать родителям в поисках завтраков, обедов и ужинов для своих ненасытных чад. А в иное благоприятное лето, не дав себе опомниться, собраться с новыми силами, синичья пара заводит новую кладку. И все начинается сызнова: туда-сюда, туда-сюда с рассвета до заката, без отгулов, без выходных. Поглядишь на эту птаху-кроху – в чем только душа держится: комочек перьев на тонюсеньких ножках да пара бусинок черных глаз, а какая материнская отвага, какое самопожертвование! А то бывает: папаша еще докармливает первый выводок, а синица-мать тут же, поблизости, в запасном гнезде, насиживает яички второго захода...

Наш великий классик Пушкин как-то не подумавши написал:

Птичка Божия не знает
Ни заботы, ни труда...

Ой ли, однако!

И все же напрашивается вопрос: зачем синице этак напрягаться, выбиваться из последних сил? Для чего заводить такую уйму выкормышей? В чем смысл такого самопожертвования?

А резон тот, что уж больно много этих милых, веселых, никогда не унывающих птичек погибает в лихие зимы. Из дюжины выращенных птенцов одолевают холода едва ли две-три синички. Оттого генетический механизм устроен таким образом, что синицы, дабы вовсе не сгинуть со свету, вынуждены выращивать потомство с большим запасом, как бы упреждая беспощадные зимние потери: хоть кто-нибудь да уцелеет... Такую жестокую дань они платят за то, чтобы не покидать свою родину, не искать чужого тепла и сытости, как делают иные, а еще для того, чтобы с первым дыханием весны оповестить округу своим веселым, вдохновенным треньканьем. Одолеть невзгоды и встретить желанную весну – надежду всего сущего в мире – воистину дорогого стоит!

И Александр Яшин напоминает нам об этой удивительной верности:

Разве можно забывать:
Улететь могли б,
Но остались зимовать
Заодно с людьми.

В предзимье каждый выводок начинает совершать кочевые облеты того участка, который достался ему как бы в родовое наследство. В соседнем школьном саду перепархивают синички одной семейки, тогда как насаждения нашего переулка – уже вотчина другого выводка. Всякое посягательство на чужую собственность пресекается строгим синичьим законом. Свои хорошо знают друг друга и ревностно следят, чтобы в их владения не залетали чужаки – особи без определенного места жительства или, по-нашему, – бомжи.

Садовый участок, конечно, побогаче, поукуромистее уличного. Там растет десятка полтора фруктовых деревьев, в шершавой, растресканной коре которых много укромных затаек для всяких куколок и зимующих яичек. Кроме того, яблони имеют широко распростертую крону и не все листья опадают с похолоданием. От укусов насекомых под воздействием специальных ферментов эти листья сворачиваются в трубочки, фунтики и прочие пригодные упаковки, в которых и зимуют зародыши будущих вредителей. Но кроме яблонь и груш в саду много и чего другого: вишенника, смородины, непроходимой черноплодки и даже ломкой пустотелой бузины, из которой получают отменные трубочки для стрельбы на уроках жеванной бумагой.

Владельцам же уличного участка скоротать зиму намного хлопотней. В их распоряжении всего-то несколько березок, парочка рябин, куст всегда пощипанной черемухи, костлявая неприятная акация, с которой даже собачата избегают общаться...

А еще разогнавшийся было в рост молодой каштан, этот лопоухий и простодушный верзила, которого вскоре и обрубил с одной стороны, чтобы не мешал телевизионной антенне. Впрочем, каштан у синиц не считался гостеприимным деревом: он рано сбрасывал свою квелую листву, в неприступных колючих плодах не заводится червоточины, а ветви его просты и незамысловаты для укрытия поживы.

Что и говорить: не велик и не густ лес в нашем переулке, всех его щедрот едва ли хватит, чтобы можно было десятку синиц безбедно скоротать предстоящую зиму.

Ну, допустим, в октябре, когда еще не вся листва опала, удастся отыскать какое-никакое пропитание: глядишь, синяя муха села погреться на теплую, озаренную солнышком древесную кору и даже довольно потирает лапкой об лапку; а вот еще не нашел себе места для зимовки паучишка, торопко сучит-сучит свою паутинку, спешит спуститься на ней куда-то поукуромней; а то и шальная бабочка, будто с похмелья, вдруг неловко затрепыхает своими цыганскими оборками над сладко, обманно повеявшей на нее черемухой. Но сколько понадобится усердия и сноровки, чтобы хотя бы раз в сутки склевать что-либо съедобное в промозглом, то сыплющем моросью, то секущем колючей крупкой ноябре? И сколь раз синичка с надеждой постучится

в окно, завидев зелень на подоконнике? А в пугающем омертвелостью голых ветвей декабре? А в крутом, заиндевелом январе? А там еще и февраль – не подарок, и, считай, половина марта – не мед.

Каждый день стайка синичек из конца в конец облетает свой небогатый, задымленный автомобильными выхлопами уличный участок. Уже давно развернуты и обысканы подозрительно скрюченные листья, обследованы все трещины и щербатинки на каждом стволе, все развилки и надломы в кроне. Но все реже и ничтожней добыча, все чаще и неотвратимей пустые бескормные дни.

И вот, сколько ни старайся, сколь ни оглядывай уже много раз осмотренные места, наконец приходит то роковое время, когда ничего не нашедшая, окончательно выбившаяся из сил, голодная, мелко вздрагивающая птица забивается в свое гнездовье, а то и просто в какую-нибудь застреху или поленницу дров, где столь же люто, как и снаружи, где по-нашему не включишь свет, не затопишь печку, не нальешь горячей воды в бутылку и не подсунешь ее под озябший бок и где, подобрав под себя одеревенелые, непослушные лапки и укрыв голову морозно шуршащими крыльями, забывается она в опасном беспамятстве. Так, едва вживе – каждую долгую ночь, которая в глухую пору начинается в пять часов вечера и тянется, терзая птицу лютостью, до девяти утра следующих суток. И каждый раз – без надежды, что эта ее ночлежка озарится для нее новым грядущим днем...

В безнадежную пору зимнего прозябания начинает рушиться порядок в синичьих семьях. Одни, отчаявшись, покидают родное урочище и принимают скитаться по чужим местам – всегда гонимые и не принятые, другие пускаются обшаривать помойки, мусорные баки, всякие свалки и скопления мусора. Иные превращаются в профессиональных воришек-«домушников», устраивая шмон везде, куда возможно заглянуть и проникнуть, вплоть до плохо закрытой кастрюли с застывшим говяжьим борщом, выставленным хозяйкой на балкон вместо холодильника. А то и залазят в сетчатые авоськи, если там окажется курица, и даже внутрь выпотрошенной курицы.

Голодное, нищенское существование птиц (как и людей) нарушает свойственное им поведение. Шастанье по мусоркам и задворкам, случайные ночевки в закопченных расщелинах печных труб, в вентиляционных вытяжках и всяческих закутках, источающих самую

малость тепла или хотя бы заслоняющих от ветра, со временем оборачиваются тем, что синицы утрачивают свою природную статность и привлекательность, от неопрятности бытия тускнеет, обтрепывается некогда нарядная одежда, приводить в порядок которую постепенно пропадает желание. Из прежних, ладно пригнанных рядков оперения часто выбиваются встрепанные, вывернутые наружу перышки, так и не заправленные снова вовнутрь, как бы сделала нормальная сытая синица. В эту зимнюю невзгоду появляются и просто бесхвостые синицы, не иначе как побывавшие в лапах таких же голодных и обездоленных наших прежних диванных мурлык, некогда мытых шампунем и пухово расчесанных гребнем.

Не доводите, пожалуйста, до этой унижительной стадии наших крылатых единопланетян и начинайте мастерить кормушки.

Лучше это делать в разгар листопада.

Поэт тоже поощряет нас на это доброе дело:

Не богаты их корма,
Горсть зерна нужна,
Горсть одна —
И не страшна
Будет им зима.

Кормушка – вещь нехитрая. Под нее иногда приспособляют даже обыкновенный пакетик из-под молока. Такая тоже сгодится. А вообще-то: кормушки всякие важны, кормушки всякие нужны... Только не надо их путать с птичьими домиками для жилья. Конструкций таких домиков великое множество, по крайней мере на страницах всяческих изданий: от «Веселых картинок» до «Сада и огорода на вашем балконе». В иные годы пускаются конструировать птичьи коттеджи даже такие солидные органы, как «Труд» и «Сельская жизнь», а также многочисленные общества и организации, вплоть до любителей стрельбы по боровой и водоплавающей дичи. Устраиваются межрегиональные выставки и конкурсы на предмет «Чей дизайн лучше?» с вручением призов и почетных грамот. Правда, случается это всегда весной, когда приходит маревая теплынь и сочатся соком расковыренные березы, когда всем хорошо – и

уцелевшим после зимы птицам, и особенно самим конструкторам: весна же! Пора сбросить надоевшее пальто и вволю позабавиться лазаньем по деревьям. В иных коллективах День птиц проводится даже под пиво и музыку.

После такой вдохновенной жилищной кампании в наших садах и рощах пернатых становится гораздо больше. Осчастливленные птицы, обзаводясь потомством, особенно не просчитывают, что с ними будет зимой. Устроители же веселого Дня птиц тоже не больно задумываются на сей печальный счет...

Кормушку не принято вывешивать под музыку. Деяние это во многом личное, схожее с исповедью. Оно столь же необходимо птицам, сколь и нам самим, ибо приносит очищение совести и благотворение души поступком. Выждав, когда в доме никого не остается, я принимаюсь мастерить, заведомо испытывая чувство внутреннего очищения и уважения к самому себе. В память об Александре Яковлевиче Яшине я вывешиваю кормушки вот уже несколько осеней. Придумки бывали всякие. Этой же осенью, в связи с появлением разных пластиков, я решил сделать по-новому. Первым делом я отпилил дощечку величиной с почтовый конверт. Она послужила донцем кормушки. А крышу я решил сделать из пластиковой бутылки, которые теперь есть в каждом доме, но, к сожалению, и не только там...

Ножницами я отрезал от бутылки донышко и воронковидную горловину. Остался пустотелый цилиндр, или, проще сказать, труба. Эту трубу я разрезал вдоль по одному боку, после чего края разреза прибил посылочными гвоздиками к большеньким сторонам дощечки-донца. Получился домик, похожий на фургон с округлой прозрачной крышей, сквозь которую будет хорошо видеть, что делается внутри, – своего рода кафе-«стекляшка», где всякий на виду. Остается теперь с одной торцовой стороны прикрепить петельку для гвоздя, а с другой – веточку, можно с разветвлениями, так называемую присадку, на которую будут опускаться гости.

Свое изделие я повесил на вертикальном створе оконной рамы так, чтобы тюлевая штора скрывала меня своими узорами, зато я мог бы хорошо видеть все, что делается снаружи.

Однако, пока стоят еще погожие октябрьские деньки, заправлять кормушку едой не следует. Поспешное гостеприимство не пойдет на

пользу птицам. Особенно молодым, еще не имеющим достаточного опыта добывать себе пропитание в естественных природных условиях. Многие зимующие птицы легко и быстро привыкают к кормушке и через день-другой запросто залетают в нее уже с наработанным проворством и бесцеремонностью, как к себе домой.

Но как неуютно и потерянно чувствуют они себя, если кормушка по каким-то причинам оказывается пуста: иссяк ли запас зерна или устроитель птичьей столовой отлучился на несколько дней в командировку, а то часом и занемог, слег в больницу и т. п. Раз-другой посетив опустевший закромок, бывалая синица вскоре переключается на прежний способ пропитания, принимается, хотя и без видимой охоты, рыскать в кронах деревьев.

Молодняк же продолжает настойчиво заглядывать в кормушку, особенно перед вечером, и на синичьих недоуменных мордашках проступает недавнее детское «дай, дай, дай!».

Ночевать впустую, не поевши, особенно в холодные ночи, – дело конечно, неприятное, а для синиц – и рисковое. Они, в отличие от медлительных и созерцательных воробышек, не запасают жирка впрок. Да и у воробьев его – только-только про черный день. А у синицы и вовсе... Все съеденное, весь запас энергии она расходует на движение, на свою непоседливость. Эта исключительная подвижность и предприимчивость обеспечивает синицу пищей, а добытая пища гарантирует ей подвижность. Нет еды – нет и активного движения, нет движения – не будет и еды. А без одной из этих составляющих итог печален... Почти как и у многих людей, не накопивших валютного жира...

Первейшим птичьим кормом не так давно считалась конопля – эта малюсенькая кубышечка, наполовину состоящая из высокооктанового топлива, то есть растительного жира. Она являлась кормом всей клеточной пернатой живности: щеглов, чижигов, коноплянок, реполовов, зеленушек, овсянок... Некогда коноплю сеяли почти в каждом крестьянском хозяйстве. Из нее добывали прекрасное душистое масло, без которого блины не блины, заготавливали посконь для домашнего тканья, которое шло на рушники, скатерти и крестьянскую одежду. Если бы спросить, чем пахла тогдашняя Россия, то можно смело сказать: не антоновскими яблоками, не медами, не

подмаренниками, а в первую очередь коноплей – полевой потаенной горечью отчей земли.

Но с некоторых пор это замечательное растение провинилось перед человечеством: злой умысел приноровился извлекать из него еще и вредоносные наркотики.

По этой причине я уже много лет не видел живой конопли, кажется, не стало ее зерен и в птичьих лавках.

Ныне коноплю заменил подсолнечник. Тоже прекрасный, калорийный корм, правда, доступный не всякой птице. Особенно так называемые «семечки», которыми торгуют тетки на перекрестках. После каления на сковороде их скорлупа обретает чрезмерную крепость. Надо видеть, сколько усилий приходится прилагать синице, чтобы вскрыть жесткое теткино семечко своим тоненьким и хрупким клювом. Иногда эта попытка не приводит к успеху и синица вынуждена ронять так и не расщепленное зернышко.

Лучший из подсолнечников – полевой, тот самый солнечный круг, когда он еще весь в обрамлении оранжевых лепестков, а сам его лик подернут рядками бронзовых соцветий. Но при одном условии, что он уже пребывает в стадии созревания: ядрышко налилось и сформировалось, а кожура еще не затвердела до древесной прочности. Такой подсолнышек для птиц – первое лакомство. Стоит только выставить его за окно, как все синицы округи – тут как тут! Видно, они еще издали чуют его острый, влекущий запах.

К сожалению, подсолнух «кругом» недолговечен, и если его не заготовить вовремя, то приходится довольствоваться весовым зерном. Но отнюдь не поджаренным, не из бабушкиных полустаканчиков и бумажных фунтиков, которые у нас обычно покупают, идя в кинотеатр...

Можно предложить синичке ломтик свежего свиного сала величиной со школьный ластик. Только непременно несоленый! Ломтик прикрепляют мягкой проволочкой тут же, рядом с кормушкой, или даже на присадочной ветке. Синичка жадно набрасывается на него и долбит с таким азартом, особенно когда сало затвердеет на морозе, что стук ее клюва слышен даже в комнате.

Все это – любимая синичья еда. Но в кормушку можно засыпать также и обыкновенное пшено, льняное семя, вышелушенный репейник, сечку гречи и просто хлебные крошки, словом, все, что

окажется под рукой. И хотя по причине своих пищеварительных особенностей синица не расположена к «постной» пище, зато на такое разнообразное угощение могут пожаловать и другие окрестные обитатели, в первую очередь дворовые воробьишки. Они ведь тоже птахи и тоже жестоко страдают зимней порой! Недаром сказано: синица – воробью сестрица.

Серым, не очень уютным утром, мотавшим концы голых берез, я открыл свое кафе для птичьего посещения. Как водится, по случаю открытия предлагалось самое разнообразное меню, была даже тертая морковка, но главенствовал все же полевой подсолнечник, вытеребленный из выспевших кругляшей.

Так знаменательно совпало, что это предзимнее утро явилось началом для почитаемого в святцах Зиновия-Синичника, покровителя всех зимующих птиц. В старинных книгах его изображали с горстью зерен на протянутой ладони – совсем как у Александра Яшина: «Горсть одна – и не страшна будет им зима». Пока я заправлял кормушку, с балкона был слышен благовест Сергиевского собора, призывавший верующих к молитве и добрым делам.

Синичка будто ждала в гуще берез, пока я затворю за собой дверь, и тут же объявилась на железном урезе балкона. Это оказался сам птах, возможно даже, что глава уличного синичьего клана! Ну хорош, хорош, пострел! Бодр, свеж, подтянут. Белый стоячий воротничок подпирает округлые щечки; атласный шейный платок небрежно выпущен поверх горчичного чичиковского жилета; отменного кроя зеленый фрак с черными фалдами чудо как впору: нигде ни лишней складочки, ни пустяшного зажимчика. На рукавах – всё шевроны, шевроны, как бы служебные знаки отличия. А черные глазки, что буравцы – так и шьют, так и сверлят. Перед таким красавцем не то что горсть семечек веером рассыплешь, а и все карманы повывернешь.

Птах пошустрил глазами направо-налево, бочком-бочком проскакал по балконному перильцу поближе к заведению и вдруг легким спорхом перебросил себя на веточку-присадку. В один погляд он оценил строение, убедился, что все устроено без подвоха, и, не труся, не озираясь, с неспешным достоинством снял с ворошка самое верхнее подсолнечное семечко.

Расклевывать его тут же, принародно он себе не позволил, а слетел на соседнюю березу и только там, уединившись, принялся за

утреннюю трапезу.

Но, разумеется, стук клюва по скорлупе не утаишь: тотчас поблизости, на соседних ветках, лимонно замелькала еще парочка синичек: «Ты что там делаешь?» После того как птах слетал за вторым семечком, те две сразу и сообразили: что и где дают.

И пошло, и замелькало: туда – сюда, туда – сюда. С дерева – на кормушку, с кормушки – на дерево.

Синицы никогда не едят скопом, как воробьи или голуби, не устраивают «кучу малу», а непременно чередуются. Так кормятся они и в природе, перепархивая с ветки на ветку на приличествующем расстоянии. Такая предупредительность объясняется тем, что их корм в естестве не бывает насыпом, а всегда нуждается в поиске. А для поиска нужно дать время. Оказывается, подобная деликатность рождается целесообразностью, полезной для всего клана.

Но зато сильный всегда ест первым, если пищи оказывается сразу много, как в нашем случае с кормушкой. И это тоже, в общем-то, синицам на пользу: для сохранения вида нужны крепкие особи, выстоявшие в борьбе за выживаемость.

Примерно то же самое ныне происходит и с нами, в пору нагой силы и бесправия, не правда ли? Что ж, дикая сила – она ведь на определенной стадии тоже участвует в становлении разума. А пока блага – не по закону, а по весьма условной совести. Самому же совестливому Бог подаст и упокоит.

Именно такая совестливая душа и объявилась на другой день у кормушки. Это оказалась синичка-лазоревка. Ну такая махотуля, такая кроха, меньше и выдумать нельзя. Что твой пуховой бубенчик на малышевой шапочке. А ведь тоже ежегодно высиживает по двенадцать – пятнадцать деток. А лазоревкой ее зовут за то, что много на ней голубых и лазоревых перышек и в крыльях, и в хвостике, и даже шапочка на ней не черная, как у обычных синиц, а нежно-голубая.

Сквозь штору вижу, что и ей хочется отведать подсолнушка, переминается на перильце, тянет головку, вострит крылышки, однако все ей боязно сунуться в синичью круговерть: враз затолкают, уронят наземь, а прав у нее никаких – чужая она, нездешняя, может, и не курская, и никто ее здесь не знает, даже не принимают за синицу. Теперь вот кочует, пробавляется чем придется, пробирается на юг до

тех пор, пока будут встречаться деревья. Да вот запахло семечками, поди, останется тут на недельку, пока кормят...

Наконец выпал такой благовидный момент, когда на пороге кормушки никого не оказалось. Лазоревка, обмирая, шмыгнула вовнутрь фургончика-стекляшки, второпях схватила случайное семечко, оказавшееся пустым, еще больше сомлела от неудачи, выронила его долу, взамен ухватила другое, на ощупь полненькое, и, едва не столкнувшись в проходе с подлетевшей синицей, успевшей, однако, больно ущипнуть ее за голубую шапочку, с колотящимся сердцем, но счастливая, упорхнула на самую дальнюю березу, где и затерялась среди россыпи сережек.

А спустя еще день на суету синиц неожиданно прилетел поползень – прочно сложенный крепыш в простом, однотонном сюртуке без излишеств, с коротким и упористым хвостом. Он и в самом деле опирался на него при лазанье по стволам. Сразу видно – деловой, себе на уме господинчик. Ему б еще ряд пуговиц по белому брюшку. За синицами он всегда послеживает, будто пристав, ошиваясь поблизости, присматривая за ними то от комля, то с верхушки дерева, вися вниз головой. Все видит, хотя глаза и перевязаны черной тесьмой – так, для блезиру. Знает: коль синицы замельтешили, стало быть, обнаружили поживку. С долгим, крепким клювом, уверенный в своем праве, поползень не стал занимать очередь к закрому, а прямо так и плюхнулся откуда-то на присадку, упреждающе огласив: «Цит, цит!» – дескать, цыц у меня!

Синицы послушно разлетелись по березам. Подсолнечное семечко поползень расщелкнул без всякой долбежки, в один нажим, а кожуру ловко пустил по ветру. Еще раз подцепил черное семечко, так же мигом извлек из него белое ядрышко, мелькнувшее в клюве, но, узрев что-то неладное за оконной шторой, выкрикнув свое «цит, цит!», упорхнул восвояси.

Но ничего, впереди долгая зима, он, гордец, еще не раз прилетит.

Забавные минутки доставили мне местные воробьи. Все эти дни они, увлекшись вытеребливанием семян, мельтешили в путаных зарослях спорыша на соседнем стадионе и потому прошляпили открытие халявного «кафе», где все дают за здорово живешь. Набежавший фокстер выпугнул их из травы, и они с дождевым шумом расселись по нашим березам.

А дальше все просто: сначала один Чив слетел на балконную железку, потом рядом сел второй, и пошли нанизываться пушистым, неошипанным шашлычком – один к другому, один к другому – все восемь воробышей, оказавшихся в наличии на сей момент. Сидят рядом, словно и взаправду нанизанные на шампур: бок о бок, душа в душу, хитроватые, плутоватые пухлячки, в любой миг готовые смыться, глядят в восемь пар черных бисеринок, всё видят, всё примечают.

В отличие от синиц, промышляющих порознь, так сказать, рыночным способом, воробышки предпочитают жить ватажкой: куда один, туда и все. У них вроде как социалистический метод хозяйствования: один ищет еду для всех, все – для одного. Этот артельный способ их вполне устраивает. Совсем как в песне: «Возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке».

В ихней артели старшего нет, всем правит инициатива. Вот и теперь: кто-то из восьми, какой-то осмелевший Чив, первым нырнул под крышу «стекляшки». Тотчас и все остальные взметнулись тоже и принялись осаждать «кафе». Внутри удалось протиснуться только половине, остальные пытались удержаться на крыше. Однако коготки не ухватывали скользкий пластик, и воробышки кубарем сыпались с округлой кровли. Поднялись шум, гам, чивиканье, мельтешение крыльев. Неудачники забирались на спины сотоварищей, те отпихивались и щипались клювами.

И вдруг на фургончик грузно плюхнулся голубь – обыкновенный чердачный сизарь. Под его тяжестью кормушка скособочилась, так что посыпались и семечки, и пшено. Воробышки – и те, что стиснуто клевали внутри, и те, кто суетился около, – все разом исчезли из виду.

Сизарь, подергивая маленькой оранжевоглазой головкой, несколько раз заглянул с крыши вовнутрь заведения, но по природной несмысленности так и не сообразил, как ему добраться до еды. Решив, что это все не про него, он перелетел на балконное перило, а с него, повернувшись вокруг себя, сронился вниз, на тротуар – к плевкам и окуркам.

И опять запорхали, замелькали синички.

Тем временем зима, эта подколодная змея, день ото дня все больше заглатывала лето, умерщвленное ненастьем и холодами, от

которого остались лишь одиночные листья на деревьях да жухлые бархатцы на уличных газонах. И вот сегодня крутой ночной морозец льдистой повителью расписал мое окно, из которого больше не стало видно кормушки. Пришлось делать продых, этакий круглый зрачок в морозных художествах минувшей ночи. Но и без того было видать, как за матовым узорочьем, поторапливаемые морозом, учащенно порхали озябшие синицы.

В обтаявшую продушину я и разглядел еще одну страждущую горемыку. Это была обычная желтозобая синька. Она нахохленно сидела на промерзшем железном периле балкона, как-то странно вздергивая плечиками, стараясь удержать крылья наподобие заглавной буквы «А». Из-под ее встрепанного брюшка омертвело высывалась правая лапка с беспорядочно скрюченными серповидными коготками.

Я сразу уяснил себе причину этого ее странного подергивания крыльями, которые она всякий раз пыталась расставить пошире, чтобы опираться на них, будто на больничные костыли. Было ясно, что у нее осталась живой только одна левая ножка.

Что это: последствие удара коварной западни или мертвая хватка лавсановой петли, подстроенной каверзными ребятишками? Сотворившие это – теперь вот зрите свое злодеяние!

Синька перепорхнула на присадку и, помогая себе частыми взмахами крыльев, все же ухватила крайнее семечко. С ним она снова вернулась на балконное перило, где попыталась расклевать добычу. Но этого не получилось. Для успеха ей необходимо было удерживать подсолнечную зерновинку между обеих лапок, как делают это все нормальные синицы. Так что зернышко осталось нетронутым. Синька слетала на кормушку еще раз. Но и второе семечко тоже пришлось выронить. Она и в третий раз ухватила зернышко и улетела с ним на березовую ветку, надеясь, что там ей повезет. Но я-то уже понимал, что куда бы ни улетела она со своей добычей, теперь уже нигде и никогда хромоножке не расклевать неподатливую кожурку.

На другой день Синька объявилась снова. Но все ее попытки добыть желанное ядрышко оказались напрасными. Она пробовала даже ложиться на бок, чтобы освободившейся лапкой удерживать семечко. Но чтобы его расщепить, требовалась жесткая опора. На весу это никак не получалось.

В этот вечер, когда все остальные синицы заведомо разлетелись по своим ночлежкам, хромоножка еще долго согбенно сидела на холодном балконном закрайке, пока мороз снова не затянул окно веселой замысловатой ботвой.

С той поры Синька больше не появлялась на моем балконе. Где она теперь? Что с ней? Уж не полетела ли за сине море искать лучшую долю?..

На предстоящую неделю наметил себе два неотложных дела. Наперво – сходить за реку, пособирать всякого корму, какой еще был доступен: ольховых шишек, из которых после просушки можно натрясти съедобных крылаток; семян репейника, что под каждым забором; мелких черных зернинок огородной ширицы. Все еще гроздьями свисают винтокрылые семена клена – лакомство для снегирей. Однако эти осторожные северные гости редко слетают на кормушку, тем более если она вывешена не на открытом месте, скажем в саду или в парке, а приспособлена к жилому окну.

А вдруг снегирек и ко мне слетит? То-то будет праздник!

А второе дело – размножить на принтере стихотворение Александра Яшина «Покормите птиц» и расклеить на видных местах.

Размножил и расклеил: у подъезда своего дома, на двери почтового отделения, на ближайшей автобусной остановке, возле кинотеатра «Юность», у входа в булочную, на аллеях «Парка пионеров», под навесом соседней школы и просто на фонарных столбах. И еще осталось сколько-то – для раздачи знакомым.

Недели через две, когда крыши домов, газоны и стволы деревьев припорошил неспешный снежок, отправился посмотреть окрест, как воздействовал Яшинский призыв, – ведь минувших двух недель с того дня, как я расклеил стихотворение, вполне достаточно тому, кого оно растревожило, всколыхнуло душу, чтобы смастерить и вывесить кормушку.

Перво-наперво обошел по периметру наш двухсотвосемнадцатиквартирный дом-громадину – нигде ничего, ни одной кормушки. Только возле моей, как и прежде, перепархивали воробьи и синицы.

На соседнем строении тоже ничего. Оглядел дом напротив – пусто. Не обнаружил я свежесколоченных кормушек ни в школьном саду, перед окнами гимназии, в которых иногда видно, как

повзрослевшие старшеклассники в замечательных нарядах учатся прекрасному – пластичности бальных вальсов и мазурок...

Уныло и голо оказалось и на аллеях «Парка пионеров», где кто-то по дикости ума совсем недавно перебил ноги скульптурной лани, а гипсовому кенгуру отшиб оба уха...

Горько и одиноко после всего этого, тем горше, что заключительные строчки яшинского стихотворения звучат так:

Приучите птиц в мороз
К своему окну,
Чтоб без песен не пришлось
Нам встречать весну.

Но надежда умирает последней. Вдруг вижу на автобусной остановке давнего своего знакомого – тонкого, прогрессирующего живописца, приверженца Сальвадора Дали.

Обрадованно пожав его руку, я извлек из бокового кармана куртки листок с яшинским стихотворением.

– Слушай, на, почитай!

– А что такое? – он был чем-то радостно озабочен и взял листок отстраненно, двумя пальцами, как обузу.

– От души написано... – вдохновенно пояснил я.

– Покор... Покормите птиц, – машинально произнес он заголовок и тут же протянул листок обратно.

– Да ты почитай, почитай! – настаивал я, возвращая бумажку.

– А-а! Некогда мне их кормить! – отвел он листок, а заодно и меня тоже. – Еду я, уезжаю... Уже билет на руках.

– И куда?

– За океан... – махнул он куда-то в сторону. – Теперь там птиц кормить буду... – И, усмехнувшись, добавил: – И сам кормиться...

* * *

И еще одно благое дельце надо было довести до ума... Уже давно собирався занять стапелию, дающую удивительные цветы, похожие

на золотые ордена Славы. Отводок мне обещали. Надо было только приготовить горшочек с подходящей землей.

Вспомнилось, что еще летом набрал хорошей зернистой земли из кротового выброса. Хранилась она на балконе в резиновом четырехгранном ведре, предназначенном для шоферского обихода.

Заглянул в кромешную глубину, а там, на черной, уже, должно, промерзлой земле, зеленоватым отливом мерцала какая-то птица. Она лежала ничком, уткнувшись клювом в почву, широко, из угла в угол, распахнув крылья. По скрюченной лапке, торчавшей из-под правого крыла, я узнал в ней хромоножку Синьку, так и не склевавшую ни единого подсолнечного семечка. Этой распахнутостью крыльев, обнимавших квадрат луговой земли, Синька как бы олицетворяла яшинское:

Улететь могли б,
Но остались зимовать
Заодно с людьми...

Таинственный музыкант

Однажды после долгого хождения с удочкой по берегу реки я присел отдохнуть на широкой песчаной отмели среди прибрежных зарослей. Поздняя осень уже раздела кусты лозняка и далеко по песку разбросала их узкие лимонные листья. Лишь на концах самых тонких, будто от холода покрасневших веточек еще трепетали по пять-шесть таких же бледно-желтых листков. Это все, что осталось от пышного карнавала осени.

Было пасмурно и ветрено. Вспененные волны накатывались на песчаную отмель, лизали почерневшие водоросли, вытащенные на берег рыбацким неводом.

И вдруг среди этих шорохов и всплесков послышались тревожащие своей необычностью звуки. Было похоже, что где-то совсем близко играла крошечная скрипка. Порой тоскливая, зовущая, порой задумчивая и покорная, полная светлой печали мелодия робко вплеталась в неугомонное ворчание хмурой реки. Звуки мелодии были так слабы, что порывы ветра иногда обрывали, как паутинку, эту тонкую ниточку загадочной трели.

Прислушавшись, я уловил закономерную связь между скрипачом и ветром. Стоило ветру немного утихнуть, как скрипка переходила на более низкие ноты, звук становился густым, и в нем отчетливо улавливался тембр. Когда же ветер усиливался, звуки забирались все выше и выше, они становились острыми, как жало, скрипка плакала и всхлипывала. Но дирижер-ветер был неумолим, он настойчиво требовал от скрипача новых и новых усилий. И тогда таинственный музыкант, казалось, не выдерживал темпа, срывался, и... слышались только сердитые всплески волн и шорох опавших листьев.

Как замороженный слушал я этот удивительный концерт на пустынной песчаной отмели. Я прислушивался снова и снова, и напев все время повторялся все в тех же сочетаниях звуков.

Наконец я установил направление и даже приблизительное место, откуда текла эта тоненькая струйка мелодии. Оно находилось справа, не более чем в двух-трех шагах от меня. Но там был все тот же песок, и ничего больше, если не считать полужасыпанной раковины на гребне

песчаного холмика. Это была раковина обыкновенного прудовика. Такие у нас встречаются во множестве. Если подойти к берегу водоема в тихий солнечный день, то у поверхности воды можно увидеть плавающие, как пробки, черные, спирально закрученные домики прудовика. Всколыхните веткой зеленоватую гладь, и эти домики медленно, как бы ввинчиваясь в воду, пойдут на дно – подальше от опасности.

Я подошел к холмику. Широкое входное отверстие ракушки было обращено навстречу ветру и немного в сторону. Край ее в одном месте обломан. Я наклонился поближе и окончательно убедился, что волшебный музыкант спрятался в раковине. Оттуда, из глубины спирального, выложенного перламутром убежища, отчетливо слышались звуки крошечной скрипки.

Я осторожно взял раковину, чтобы рассмотреть повнимательнее. Но ничего особенного не нашел: обыкновенная, как все другие, которых на песке оказалось довольно много.

Но почему звуки исходили только из этой, а все остальные молчали? Может быть, и в самом деле в ней кто-то запертался? И мне снова захотелось послушать игру раковины-музыканта.

Я положил ее на прежнее место, приготовился слушать. Но «скрипач» молчал. Похоже, что он рассердился за то, что его бесцеремонно потревожили, и ожидал, пока я снова уйду.

Я, конечно, догадался, что слышанную мной мелодию извлекал из раковины ветер. Но почему после того, как домишко прудовика был водворен на прежнее место, он больше не мог извлечь ни единого звука? И тут я понял, что допустил роковую ошибку, сдвинув раковину с места. Из множества других, видимо, только она лежала по отношению к ветру так, что на малейшее его дуновение тотчас отвечала звучанием. Возможно, этому еще способствовала та самая щербатина, которую я обнаружил на краю отверстия, и даже тот песок, которым она была наполовину засыпана.

Долго я возился с ней, клал так и этак, осторожно подсыпал под нее песок, насыпал внутрь, но так и не смог извлечь ни единого звука.

Огорченный, я положил раковину в карман и пошел домой.

Теперь она лежала на письменном столе, в картонной коробке с речным песком.

Я видел немало диковинных заморских раковин – необыкновенных размеров, необычайной расцветки, удивительной формы. О многих из них ходят целые истории. Говорят, что если такую раковину приложить к уху, то услышишь шум морского прибоя. Конечно, никаких ударов волн в ней не слышно. Шумит раковина потому, что она помогает уху более чутко улавливать окружающие нас звуки. Да в этом и нетрудно убедиться: накройте ухо ладонью, сложенной лодочкой. Слышите шум? Вот и весь секрет.

А эта, что лежит на моем столе, – скромная серенькая обитательница наших тихих речных затонов, – действительно обладает секретом.

Иногда я выношу мой «музыкальный инструмент» во двор, подставляю под ветер, пытаюсь настроить с помощью песка, но пока это мне не удастся. Видно, не хватает терпения.

Когда же я оставляю раковину на столе, а сам выхожу в соседнюю комнату, то мне чудится, будто за приоткрытой дверью кто-то осторожно настраивает маленькую скрипку...

Тридцать зерен

Ночью на мокрые деревья упал снег, согнул ветви своей рыхлой сырой тяжестью, а потом его схватило морозцем, и снег теперь держался на ветках крепко, будто засахаренная вата.

Прилетела синичка, попробовала расковырять намерззь. Но снег был тверд, и она озабоченно поглядела по сторонам, словно спрашивая: «Как же теперь быть?»

Я отворил форточку, положил на обе перекладины двойных рам линейку, закрепил ее кнопками и через каждый сантиметр расставил конопляные зерна. Первое зернышко оказалось в саду, зернышко под номером тридцать – в моей комнате.

Синичка все видела, но долго не решалась слететь на окно. Наконец она схватила первую коноплянку и унесла ее на ветку. Расклевав твердую скорлупку, она выщипала ядро.

Все обошлось благополучно. Тогда синичка, улучив момент, подобрала зернышко номер два...

Я сидел за столом, работал и время от времени поглядывал на синичку. А она, все еще робея и тревожно заглядывая в глубину форточки, сантиметр за сантиметром приближалась по линейке, на которой была отмеряна ее судьба.

– Можно, я склюю еще одно зернышко? Одно-единственное?

И синичка, пугаясь шума своих собственных крыльев, улетела с коноплянкой на дерево.

– Ну, пожалуйста, еще одно. Ладно?

Наконец осталось последнее зерно. Оно лежало на самом кончике линейки. Зернышко казалось таким далеким, и идти за ним так боязно!

Синичка, приседая и настораживая крылья, прокралась в самый конец линейки и оказалась в моей комнате. С боязливым любопытством вглядывалась она в неведомый мир. Ее особенно поразили живые зеленые цветы и совсем летнее тепло, которое оведало озябшие лапки.

– Ты здесь живешь?

– Да.

– А почему здесь нет снега?

Вместо ответа я повернул выключатель. Под потолком ярко вспыхнула электрическая лампочка.

– Где ты взял кусочек солнца? А это что?

– Это? Книги.

– Что такое книги?

– Они научили зажигать это солнце, сажать эти цветы и те деревья, по которым ты прыгаешь, и многому другому. И еще научили насыпать тебе конопляных зернышек.

– Это очень хорошо. А ты совсем не страшный. Кто ты?

– Я – Человек.

– Что такое Человек?

Объяснить это маленькой глупой синичке было очень трудно.

– Видишь нитку? Она привязана к форточке...

Синичка испуганно оглянулась.

– Не бойся. Я этого не сделаю. Это и называется у нас – Человек.

– А можно мне съесть это последнее зернышко?

– Да, конечно! Я хочу, чтобы ты прилетала ко мне каждый день. Ты будешь навещать меня, а я буду работать. Это помогает Человеку хорошо работать. Согласна?

– Согласна. А что такое работать?

– Видишь ли, это такая обязанность каждого человека. Без нее нельзя. Все люди должны что-нибудь делать. Этим они помогают друг другу.

– А чем ты помогаешь людям?

– Я хочу написать книгу. Такую книгу, чтобы каждый, кто прочитает ее, положил бы на своем окне по тридцать конопляных зерен...

Но, кажется, синичка совсем не слушает меня. Обхватив лапками семечко, она неторопливо расклевывает его на кончике линейки.

Хитрюга

Давно приставал ко мне сынишка: принеси да принеси из лесу ежа. Они в школе живой уголок устроили: есть кролик, ящерица, воробей, даже морскую свинку где-то достали. А вот ежа нет. Раза два всем классом в лес ходили, да разве его скоро найдешь? Вот сынишка и пообещал товарищам, что я обязательно поймаю. Я, мол, знаю, где какая птица, какой зверь прячется.

Пожурил я сына за поспешное обещание, которое может остаться и невыполненным, да делать нечего. Пришлось искать ежа. Правда, специально за ним я не ходил. Отправляюсь на охоту или рыбную ловлю, ну и про ежа помню: может, по пути встретится. А оно всегда так бывает: когда чего не надо – попадается, а когда ищешь – не найдешь.

Прошлой осенью ходил я к дальнему лесному озеру за окунями. Тихо и светло бывает в лесу осенним днем. Светло оттого, что листья осыпались и больше не затевают землю, а тихо потому, что и ветер не шумит кроной, и птиц не слышно – они уже улетели на юг. Стволы деревьев подпирают небо, будто колонны. Между ними постлан мягкий ковер из сухих листьев. Изредка попадаются молодые дубки с еще не опавшей листвой. Освещенные солнцем, они вспыхивают в просветах между стволами, словно зажженные факелы. И эхо, гулкое, раскатистое, блуждает по лесу тоже как в большом пустом здании.

В таком лесу далеко слышен каждый звук. Скачет ли заяц или сторожко крадется лисица – нет-нет да и хрустнет сухая ветка, зашуршат опавшие листья.

Слышу и я: кто-то бежит под кустами лещины. Топ-топ-топ... Присел на корточки, чтобы под ветки заглянуть. Вижу: прямо на меня катится возок, доверху нагруженный листьями. Точь-в-точь, как телега с сеном. Только величиной-то этот возок с шапку и движется он сам собой, без лошади.

– Ежик! – догадался я. – Тащит сухие листья в нору на подстилку.

Ежу очень удобно собирать листья. Найдёт местечко, где их побольше, растопырит иголки – и ну кататься, с боку на бок переваливаться. Листья и накалываются на его колючки. Встанет на

лапки еж, а его под листьями и не видать. Так и бежит он в золотой одежде в свою нору.

Почуял меня еж – остановился, припал к земле. Только листья шевелятся на его взъерошенной спинке.

Это было до того, как сын попросил ежа, к тому же я шел к озеру и брать зверюшку было не с руки. Ну и уступил ему дорогу.

Попадись он мне теперь – накрыл бы шапкой и в рюкзак! Но вот беда: хожу-хожу, а он все не попадает. Едва я вечером на порог, а сын уже вопросительно смотрит: принес?

– Нет, не принес, – говорю. – Не надо было обещать! Нехорошо получается. Последняя надежда на следующее воскресенье. Если и тогда не встречу, там уже холода начнутся, все ежи по норам спрячутся до весны.

Очередной выходной день я ожидал с не меньшим нетерпением, чем сын. Охотничий азарт взял. Впервые отправился специально за этой колючей дичью. Проходил полдня, заглядывал под каждое корневище, под каждую кучку валежника – нет ежа! Рассердился, даже по зайцу стрелять не стал, когда он из-под напиленных поленьев выскочил.

Повернул я домой. Чтобы быстрее идти, выбрался на железнодорожную насыпь. Шагаю по шпалам, а сам все про сына вспоминаю. Сейчас открою дверь, а он – скок навстречу: «Принес? Эх ты, охотник!»

Прошел переезд. Скоро и лес должен кончиться, завиднеется город. И вдруг впереди между рельсами вижу, какой-то серый клубок катится, не прямо, а зигзагами: то к одному рельсу, то к другому жметя и так ловко через шпалы прыгает. Снял я ружье, прибавил шаг. Клубок еще быстрее покатился. Я – бежать. Он тоже прибавил ходу. Чего бы ему через рельс не перепрыгнуть? Откос высокий, враз скатился бы, только его и видели.

Но серый клубок и не думал сворачивать. Наконец нагнал я его. Да ведь это же ежик! Вот выручил, вот спасибо тебе, глупенький ты зверюшка! Припал еж в углублении между шпалами, оцетинился. А бока так и вздымаются, колючки так и ходят. Видно, запалил я его. А перепрыгнуть через рельс не догадался, не видел края, что ли? Наверно, на переезде переходил пути, да я помешал, он и угодил между двух рельсов. Накрыл я ежика шапкой и сунул в рюкзак. А

потом сбежал с насыпи в лес, набрал побольше листьев и набил ими мешок. Думаю, передам сыну пленника вместе с листьями. Пусть устроит ему настоящее гнездо.

Сына дома не оказалось: он не ожидал меня так рано и пошел к товарищу. Ну ладно, думаю, так еще лучше. Придет, а еж уже будет бегать по комнате.

Налил я в блюдечко молока, крошил в него булку, а рядом кусок сырого мяса положил. Выбирай, ежик, что понравится!

Но ежишка даже не взглянул на лакомства. Посидел тихонько, взъерошенный, потом высунул из-под колючего чуба остренькое рыльце и затопал под шкаф.

В кухне света не стали зажигать, чтобы не беспокоить зверюшку, а сами перешли в столовую, закрыв за собой дверь.

Пришел сынишка, увидел на полу рюкзак с листьями, рядом блюдечко с молоком, запрыгал, забил в ладошки:

– Принес! Принес! Принес! Ну-ка покажись, ежик, какой ты? Пап, где же ежик?

– Под шкафом, – сказал я, включая свет.

– Нету.

– Ну как – нету? Туда побежал. Тебе просто не видно.

– Хорошо видно. Там сзади стена освещена.

– Тогда, значит, в другое место перебежал. Посмотри под столом.

Сынишка, не вставая, на четвереньках дополз до кухонного с дверцами стола и заглянул под него.

– Тоже нет.

– Ну как – нет? – не поверил я и сам посмотрел под стол. Ежа и вправду не было.

– Может, кошка его съела?

– Выдумал! С ним собака и та не сладит...

Мы с сыном сидели на полу и, недоуменно глядя друг на друга, гадали, куда запропастился ежик. Убежать он никуда не мог, разве только в столовую незаметно прошмыгнул. Но ведь дверь туда была закрыта.

Не меньше часа всей семьей лазали на четвереньках по полу, по несколько раз заглядывая во все углы.

– А не забрался ли он в поддувало? – с робкой надеждой предположил сын.

– А ведь верно!

Пошарили кочергой в поддувале – нет. Вот задача!

Снова собрались все в столовой, совещаемся. В самом деле, куда он мог спрятаться?

– Ведь не иголка же это, – возбужденно всплескивает руками сын. – А тысяча иголок сразу!

Сидим молча, думаем. Вдруг слышу – кто-то на кухне лакает. Вскакиваем, бежим в кухню. А это наш кот Тишка. Съел мясо, которое ежу положено, и молочком запивает...

Опять принялись за поиски, но так и не нашли ежа. Поздно вечером улеглись и долго еще не спали, прислушиваясь, не зашлепают ли по полу лапки беглеца.

– Папа, а не спрятался ли он в твой охотничий сапог? – спросил сын и, не дожидаясь моего ответа, соскочил с кровати, побежал обследовать сапоги.

– Нету...

– Спи, завтра сам найдется.

Но и утром ежа не было. Расстроенный, сын пошел в школу.

Весь день я гадал, куда мог исчезнуть ежик. Вернувшись с работы, я еще с порога спросил, не отыскался ли он. Но ежишка пропал бесследно.

Дня через два я зачем-то пошел в кладовую. Увидев на стене туго набитый листьями мешок, я снял его с гвоздя, чтобы вытряхнуть: листья-то теперь не понадобятся. И что вы думаете? Вместе с листьями выпал на землю... ежик. Он тотчас свернулся клубочком, будто сознавал всю вину за учиненный в доме переполох.

Как он мог оказаться в кладовой, в крепко затянутом рюкзаке, подвешенном на высоте двух метров?

Ответ мог быть только один. Когда мы оставили ежа в кухне, он, побегав среди незнакомых предметов, опять залез в рюкзак, откуда пахло родным лесом и его собственным запахом. А потом бабушка отнесла рюкзак в кладовую и повесила его на гвоздь...

Ну и хитрюга этот еж! Так и называли его юннаты: Хитрюга.

Черный силуэт

У самой береговой кромки отпечатались мои следы. В них уже успела набраться вода, и я вижу, как маленький кулик-песочник бежит от следа к следу и тычет в них длинным шильцем. В десяти шагах он останавливается. Потом начинает пересчитывать следы в обратном порядке.

Вот ведь как получается: рядом бежит крошечная пичуга, и оттого, что она не считает тебя своим врагом, чувствуешь большое удовлетворение. Недоверие природы унижает человека. По чистым пескам отмели проносится расплывчатая тень. Кулик замирает, так и не опустив поднятую было для очередного стежка лапку.

Я оглядываю небо и замечаю в ясной полуденной синеве черную букву «Т». Она кружит над плёсом, недвижно распластав крылья, и, когда наплывает на солнце, по прибрежным пескам мелькает быстрая тень. Чьи-то невидимые глаза, чей-то разбойный замысел кружат над мирными берегами.

У человека и птицы разные враги в небе. Очевидно, кулик распознал своего врага – коршуна. Для меня же этот черный силуэт вдруг отпечатался вражеским разведчиком. Память воскресила зловещую букву «Т» над растерянными и беззащитными улицами. Мы, тогда еще мальчишки, вот как этот кулик, с неосознанной тревогой вглядывались в небо, такое же ясное и привычное. Чьи-то невидимые глаза, чей-то разбойный замысел кружили над нашими детскими играми, над нашей шахматной доской, над подсолнухом у забора...

Я перевожу взгляд на кулика. Он больше не суетится над шахматной задачей моих следов, он замер и, вскинув голову, вглядывается в небо.

Плес затих, затаился под этим неслышным скольжением недоброй птицы. Смолкла, не тенькает в куге камышевка, куда-то незаметно увела свой шумный выводок утка. И хотя нарушен не мой покой и мне решительно ничего не угрожает, но почему-то тоже становится неуютно от повисшего над землею черного силуэта...

А он все кружит и кружит, настойчиво и нахально сверля глазами пески и травы, камыши и тихую гладь воды.

Но вот коршун оставляет плес, широким полукругом перемещается в заречье и повисает над старицами и луговыми болотцами. Теперь, со стороны, он еще больше похож на вражеский бомбардировщик...

И вдруг из затихших трав в небо почти вертикально взмывают две серо-серебристые птицы. Их согласный, решительный бросок в высоту похож на взлет двойки истребителей.

Коршун, увертываясь от удара, тяжело, неуклюже взмахивает крыльями, сбивается с круга. Преследователи делают крутой вираж и снова устремляются на хищника. И только теперь по угловатым крыльям и тому особенному, устрашающему шелесту я узнаю в этих отважных летунах чибисов. Отчаянными лобовыми атаками чибисы все дальше и дальше оттесняют коршуна, и, когда тот отлетает достаточно далеко, обе птицы оставляют преследование и идут на посадку.

Но тотчас на смену им с болотных «аэродромов» поднялась новая серо-серебристая двойка. Хищник лавирует, круто взмывает вверх, бросается вниз, но чибисы быстро перехватывают коршуна и гонят, гонят прочь от своих гнезд. А там уже мчится еще одна пара... Я уже не могу разглядеть очертаний. В синем небе видны лишь две белые точки, стремительно поднимающиеся наперерез черному пятну.

– Ну что, отбой? – с облегчением говорю я.

Кулик издает тонкий свист и смотрит на меня черным, все еще перепуганным глазом.

Рядом, в куге, осторожно тенькает камышевка. Где-то снова начинают полоскаться утята. Слышно, как дробно чавкают в тине их плоские клювики.

Кулик подпрыгивает на своих тонких ходульках и бежит досчитывать следы.

Скверная это штука – непрощеный гость в небе!

Белый гусь

Если бы птицам присваивали воинские чины, то этому гусю следовало бы дать адмирала. Все у него было адмиральское: и выправка, и походка, и тон, каким он разговаривал с прочими деревенскими гусями.

Ходил он важно, обдумывая каждый шаг. Прежде чем переставить лапу, гусь поднимал ее к белоснежному кителю, собирал перепонки, подобно тому, как складывают веер, и, подержав этак некоторое время, неторопливо опускал лапу в грязь. Так он ухитрялся проходить по самой хлюпкой, растележенной дороге, не замарав ни единого перышка.

Этот гусь никогда не бежал, даже если за ним припустит собака. Он всегда высоко и неподвижно держал длинную шею, будто нес на голове стакан воды.

Собственно, головы у него, казалось, и не было. Вместо нее прямо к шее был прикреплен огромный, цвета апельсиновой корки клюв с какой-то не то шишкой, не то рогом на переносье. Больше всего эта шишка походила на кокарду.

Когда гусь на отмели поднимался в полный рост и размахивал упругими полутораметровыми крыльями, на воде пробегала серая рябь и шуршали прибрежные камыши. Если же он при этом издавал свой крик, в лугах у доярок звонко звенели подойники.

Одним словом, Белый гусь был самой важной птицей на всей кулиге. В силу своего высокого положения в лугах он жил беспечно и вольготно. На него засматривались лучшие гусыни деревни. Ему безраздельно принадлежали отмели, которым не было равных по обилию тины, ряски, ракушек и головастика. Самые чистые, прокаленные солнцем песчаные пляжи – его, самые сочные участки луга – тоже его.

Но самое главное – то, что плес, на котором я устроил приваду, Белый гусь считал тоже своим. Из-за этого плеса у нас с ним давняя тяжба. Он меня просто не признавал. То он кильватерным строем ведет всю свою гусиную армаду прямо на удочки да еще задержится и долбанет подвернувшийся поплавок. То затеет всей компанией

купание как раз у противоположного берега. А купание-то это с гоготом, с хлопанием крыльев, с догонялками и прятками под водой. А нет – устраивает драку с соседней стаей, после которой долго по реке плывут вырванные перья и стоит такой гам, такое бахвальство, что о поклевках и думать нечего.

Много раз он поедал из банки червей, утаскивал кукурузу с рыбой. Делал это не воровски, а все с той же степенной неторопливостью и сознанием своей власти на реке. Очевидно, Белый гусь считал, что все в этом мире существует только для него одного, и, наверное, очень бы удивился, если бы узнал, что сам-то он принадлежит деревенскому мальчишке Степке, который, если захочет, оттяпает на плахе Белому гусю голову, и Степкина мать сварит из него щи со свежей капустой.

Этой весной, как только пообдуло проселки, я собрал свой велосипед, приторочил к раме пару удочек и покатил открывать сезон. По дороге заехал в деревню, наказал Степке, чтобы добыл червей и принес ко мне на приваду.

Белый гусь уже был там. Позабыв о вражде, залюбовался я птицей. Стоял он, залитый солнцем, на краю луга, над самой рекой. Тугие перья одно к одному так ладно пригнаны, что казалось, будто гусь высечен из глыбы рафинада. Солнечные лучи просвечивают перья, зарываясь в их глубине, точно так же, как они отсвечивают в куске сахара.

Заметив меня, гусь пригнул шею к траве и с угрожающим шипением двинулся навстречу. Я едва успел отгородиться велосипедом.

А он ударил крыльями по спицам, отскочил и снова ударил.

– Кыш, проклятый!

Это кричал Степка. Он бежал с банкой червей по тропинке.

– Кыш, кыш!

Степка схватил гуся за шею и поволол. Гусь упирался, хлестко стегал мальчишку крыльями, сшиб с него кепку.

– Вот собака! – сказал Степка, оттащив гуся подальше. – Никому прохода не дает. Ближе ста шагов не подпускает. У него сейчас гусята, вот он и лютует.

Теперь только я разглядел, что одуванчики, среди которых стоял Белый гусь, ожили и сбились в кучу и испуганно вытягивают желтые головки из травы.

– А мать-то их где? – спросил я Степку.

– Сироты они...

– Это как же?

– Гусыню машина переехала.

Степка разыскал в траве картуз и помчался по тропинке к мосту. Ему надо было собираться в школу.

Пока я устраивался на приваде, Белый гусь уже успел несколько раз подраться с соседями. Потом откуда-то прибежал пестро-рыжий бычок с обрывком веревки на шее. Гусь набросился на него.

Теленок взбрыкивал задом, пускался наутек. Гусь бежал следом, наступал лапами на обрывок веревки и кувыркался через голову. Некоторое время гусь лежал на спине, беспомощно перебирая лапами. Но потом, опомнившись и еще пуще разозлившись, долго гнался за теленком, выщипывая из ляжек клочья рыжей шерсти. Иногда бычок пробовал занять оборону. Он, широко расставляя передние копытца и пуча на гуся фиолетовые глаза, неумело и не очень уверенно мотал перед гусем лопухой мордой. Но как только гусь поднимал вверх свои полутораметровые крылья, бычок не выдерживал и пускался наутек. Под конец теленок забился в непролазный лозняк и тоскливо замычал.

«То-то!...» – загоготал на весь выпас Белый гусь, победно подергивая куцым хвостом.

Короче говоря, на лугу не прекращался гомон, устрашающее шипение и хлопанье крыльев, и Степкины гусята пугливо жались друг к другу и жалобно пищали, то и дело теряя из виду своего буйного папашу.

– Совсем замотал гусят, дурная твоя башка! – пробовал стыдить я Белого гуся.

«Эге! Эге! – неслоь в ответ, и в реке подпрыгивали мальки. – Эге!...» Мол, как бы не так!

– У нас тебя за такие штучки враз бы в милицию.

«Га-га-га-га...» – издевался надо мной гусь.

– Легкомысленная ты птица! А еще папаша! Нечего сказать, воспитываешь поколение...

Переругиваясь с гусем и поправляя размытую половодьем приваду, я и не заметил, как из-за леса напозла туча. Она росла, поднималась серо-синей тяжелой стеной, без просветов, без трещинки, и медленно и неотвратно пожирала синеву неба. Вот туча краем

накатилась на солнце. Ее кромка на мгновение сверкнула расплавленным свинцом. Но солнце не могло растопить всю тучу и бесследно исчезло в ее свинцовой утробе. Луг потемнел, будто в сумерки. Налетел вихрь, подхватил гусиные перья и, закружив, унес вверх.

Гуси перестали щипать траву, подняли головы.

Первые капли дождя полоснули по лопухам кувшинок. Сразу все вокруг зашумело, трава заходила сизыми волнами, лозняк вывернуло наизнанку.

Я едва успел набросить на себя плащ, как туча прорвалась и обрушилась холодным косым ливнем. Гуси, растопырив крылья, полегли в траву. Под ними спрятались выводки. По всему лугу были видны тревожно поднятые головы.

Вдруг по козырьку кепки что-то жестко стукнуло, тонким звоном отозвались велосипедные спицы, и к моим ногам скатилась белая горошина.

Я выглянул из-под плаща. По лугу волочились седые космы града. Исчезла деревня, пропал из виду недалекий лесок. Серое небо глухо шуршало, серая вода в реке шипела и пенилась. С треском лопались просеченные лопухи кувшинок.

Гуси замерли в траве, тревожно перекликались.

Белый гусь сидел, высоко вытянув шею. Град бил его по голове, гусь вздрагивал и прикрывал глаза. Когда особенно крупная градина попадала в темя, он сгибал шею и тряс головой. Потом снова выпрямлялся и все поглядывал на тучу, осторожно склонял голову набок. Под его широко раскинутыми крыльями тихо копошилась дюжина гусят.

Туча свирепствовала с нарастающей силой. Казалось, она, как мешок, распоролась вся, от края и до края. На тропинке в неудержимой пляске подпрыгивали, отскакивали, сталкивались белые ледяные горошины.

Гуси не выдержали и побежали. Они бежали, полузачеркнутые серыми полосами, хлеставшими их наотмашь, гулко барабанил град по пригнутым спинам. То здесь, то там в траве, перемешанной с градом, мелькали взъерошенные головки гусят, слышался их жалобный призывный писк. Порой писк внезапно обрывался, и желтый «одуванчик», иссеченный градом, поникал в траву.

А гуси все бежали, пригибаясь к земле, тяжелыми глыбами падали с обрыва в воду и забивались под кусты лозняка и береговые обрезы. Вслед за ними мелкой галькой в реку сыпались малыши – те немногие, которые еще успели добежать. Я с головой закутался в плащ. К моим ногам скатывались уже не круглые горошины, а куски наспех обкатанного льда величиной с четвертинку пиленого сахара. Плащ плохо спасал, и куски льда больно секли меня по спине.

По тропинке с дробным топотом промчался теленок, стегнув по сапогам обрывком мокрой травы. В десяти шагах он уже скрылся из виду за серой завесой града.

Где-то кричал и бился запутавшийся в лозняке гусь, и все натужнее звякали спицы моего велосипеда.

Туча промчалась так же внезапно, как и набежала. Град в последний раз прострочил мою спину, поплясал по прибрежной отмели, и вот уже открылась на той стороне деревня, и в мокрое заречье, в ивняки и покосы запустило лучи проглянувшее солнце.

Я сдернул плащ.

Под солнечными лучами белый, запорошенный луг на глазах темнел, оттаивал. Тропинка покрылась лужицами. В поваленной мокрой траве, будто в сетях, запутались иссеченные гусята. Они погибли почти все, так и не добежав до воды.

Луг, согретый солнцем, снова зазеленел. И только на его середине никак не растаивала белая кочка. Я подошел ближе. То был Белый гусь.

Он лежал, раскинув могучие крылья и вытянув по траве шею. Серый немигающий глаз глядел вслед улетающей туче. По клюву из маленькой ноздри сбегала струйка крови.

Все двенадцать пушистых «одуванчиков», целые и невредимые, толкаясь и давя друг друга, высыпали наружу. Весело попискивая, они рассыпались по траве, подбирая уцелевшие градины. Один гусенок, с темной ленточкой на спине, неуклюже переставляя широкие кривые лапки, пытался взобраться на крыло гусака. Но всякий раз, не удержавшись, кубарем летел в траву.

Малыш сердился, нетерпеливо перебирал лапками и, выпутавшись из травинки, упрямо лез на крыло. Наконец гусенок вскарабкался на спину своего отца и замер. Он никогда не забирался так высоко.

Перед ним открылся удивительный мир, полный сверкающих трав и солнца.

Фагот

Он объявился в том дворе перед самой войной, где-то года за полтора до ее начала.

По строгой мерке война – та, большая, всеохватная, от которой планета потом полыхнула, будто сухая копна сена от брошенного окурка, – занялась уже где-то в Польше. Но тогдашним пацанам, дворовым стратегам, этот немецкий окуроч, брошенный в одинокое, ничейное польское остожье, тогда показался сущим пустяком, тем более что случилось это далече и Красной Армии, пожалуй, вовсе не «светило» в нем поучаствовать, показать себя... А хотелось: ведь все мы наизусть знали, что «броня крепка и танки наши быстры» и уж «если завтра война, если завтра в поход», то...

Томимые неопределенностью, мы как-то нехотя пошли в школу и сели за свежевыкрашенные парты без обычной праздничной приподнятости.

И вот наконец, кажется, началось...

Недели через две от гарнизонных казарм к городскому железнодорожному вокзалу потянулись первые колонны пехотинцев в полном походном снаряжении, с перекинутыми через плечо шинельными скатками, противогазными подсумками и новенькими необношенными вещмешками.

Роты шли молча, без привычных банных песен, и только глухой резиновый топот кирзовых сапог создавал строгий ритм согласованного движения.

Потом две не то три ночи по булыжной мостовой громыхали обозные пароконки, походные кухни, санитарные фуры с красными крестами на округлых крышах. Фыркали и всхрапывали застоявшиеся в кирпичных стойлах полковые кони, с железной звонцой клацали подковами, высекая голубые искры из лобастых сверкачей. Терпко пахло ременной сбруей, колесным дегтем, свежими конскими катышами.

Ребятишки допоздна просиживали за воротами, обомлело вглядываясь в мельтешащие сумерки, где под редкими фонарями в клубах потревоженной пыли нескончаемой лавиной катилось наше

тогдашнее конно-тележное воинство. Наверное, так же оно уходило в поход еще во времена Крымской кампании. И только иногда, словно примета текущего времени, уличную темень пронизывали лезвия желтых лучей из прорезей подфарников начальственной «эмки», должно быть, объезжавшей боевые порядки.

Тогда еще никто не знал, что наши курские полки тоже отправлялись освобождать из-под панского гнета братские народы Западной Украины и Белоруссии.

С рассветом передвижение войск прекращалось, и город, как ни в чем не бывало, снова наполнялся обычными прохожими: кто спешил на службу, кто – на рынок, а ребяташки, в том числе и мы, – в школу, на занятия. Дворники же, вооружась совками и метлами, принимались сметать и выскребать следы ночного столпотворения.

Однако по прошествии недолгого времени возбужденный город постепенно успокоился, воротился к своему прежнему неспешному бытию. Были отпущены по домам некоторые возраста, излишне прихваченные переусердствовавшей мобилизацией. Газеты и уличные говорящие устройства приподнято сообщали, что недавняя частичная переброска войск, проведенная в некоторых военных округах, – всего лишь осуществление освободительной миссии нашей Красной Армии. Трудящиеся Львова, Ужгорода, Владимира-Волынского, а также Брест-Литовска, Гродно и Белостока уже встречают своих освободителей охапками цветов и благодарными возгласами. Говорилось также, что все эти города были освобождены без сопротивления польских гарнизонов, которые выбрасывали белые флаги при одном только появлении наших неудержимых войск.

...Пришла ранняя погожая осень, едва тронувшая позолотой обширные курские сады. С окраин веяло затяжелевшей антоновкой, винной усладой перезревающих слив, вишневой смолкой из уже начавших багроветь вишенников. А на главной городской площади, возле кинотеатра «Октябрь», переделанного из бывшего собора, с самого рассвета змеилась очередь за билетами на «Красных дьяволят». В новеньком цирке, возведенном на месте толчка – шумной, горластой, вороватой барахолки, – успешно выступал народный богатырь Иван Поддубный, афишные портреты которого с закрученными усами и бугрящимися бицепсами трепал ветер на каждом перекрестке. В Пролетарском же сквере под брезентовым куполом заезжего «шапито»

трещали и подвывали мотоциклы, проносившиеся у самого потолка. Случалось, какой-либо тучной тетке делалось плохо – не то от выхлопных газов, не то от головокружительного мелькания гонщиков, и ее спешно выносили в соседний скверик – на свежий воздух.

В одно сентябрьское выходное утро свободные от школы пацаны по обыкновению собрались на уличном крылечке соседнего детского сада. Раз в неделю это кашеманное учреждение не работало, входная дверь была заперта, а просторное крыльцо, освещенное ранним заспанным солнышком, приятно согревало теплыми сосновыми ступенями. Неожиданно к ватажке подступился никогда ранее не виденный прохожий фраерок и, остановившись перед порожками, заслонил собой солнце. На вид он выглядел гораздо старше их и, следовательно, был сильнее каждого в отдельности. К тому же солидность и явное превосходство ему придавал чернявый чубчик, свисавший над переносьем. Парень был облачен в красную спартаковскую майку с белой шнуровкой на груди. Майка просторно, пустовато свисала с его не очень-то атлетических плеч и наверняка досталась не по футбольным заслугам.

Особую неприязнь вызвал маленький франтоватый чемоданчик с металлическими нашлепками на всех углах, в каких настоящие футболисты носили свои ошипованные бутсы. Сережка Махно окинул многозначительным взглядом настороженные лица, что означало: «А не посчитать ли ребра у этого оторванца?» Их было человек шесть – вполне хватило бы разом налететь, дать подножку и завалить фраера в дождевую канаву.

А он, как ни в чем не бывало, непринужденно, улыбочиво мельтешил чемоданчиком, заглядывал под оконные занавески детского сада, потом долго пялился в глубь двора, на его сарайчики, голубиную решетку, пестрые постирушки на веревках – глядел с въедливым интересом, будто выцеливал что-либо слямзить.

– Вы тут живете? – спросил он, не переставая подозрительно озираться.

– А тебе чево? – набычился Серега.

– Да так просто...

И вдруг, отерев о штаны ладошку, протянул ее сперва Сережке, потом всем остальным и каждому по-приятельски, со встряхиванием,

пожал руку, называя при этом свое имя: «Ванюха», «Ванюха», «Ванюха»...

– А ты что, настоящий футболист? – примирительно спросил Махно. – Бобочка на тебе клубная... Или где-нибудь с веревки сдернул?

Парень ничуть не обиделся на ехидный выпад Сереги, а только еще больше и расположительней растянул губы в улыбке.

– А в чемоданчике взаправду буцы? – настырничал Махно. – Покажь! Никогда близко не видел!

– Да нет там ничего! – Ванюха переложил чемоданчик в другую руку. – Так, барахлишко всякое. А эту футболку я у одного спартаковца во Мценске за финяк махнул. Вместе с чемоданчиком.

– А Мценск – это чево?

– Город такой... Сначала Орел будет, а потом уже Мценск. Это если отсюдова ехать... А если сюда, то – наоборот, понял?

Серега, конечно, ничего не понял, но согласно кивнул.

– Я там в детдоме жил, – пояснил Ванюха.

– Урка, что ли?

– Ну почему же – урка? – рассмеялся тот. – Я в прошлом году на конкурсе детских домов второе место по фаготу занял.

– А это чево?

– Фагот? Это такая деревянная дудка с клапанами. И с тростниковым язычком. Тросточкой называется. Когда дуешь – тросточка и телеблется, мозжит, значит. Получается звук. У фагота свой звук, фаготовый. Его ни с кем не спутаешь.

Ванюха поставил чемоданчик на землю и, зажав нос большим и указательным пальцами, нагундел мотивчик из «Лебединого озера». Звук получился глухой, гнусавый, будто возникший под ватной шапкой. Слышать это было забавно и непривычно, и все дружно рассмеялись.

– Чево, чево это? Как ты назвал?

– Так звучит фагот.

– А ну, Фагот, подуди-ка еще! – развеселились пацаны. – Ловко получилось.

– Ну, я только показать, – уклонился Ванюха. – Фагот это тебе не бузиновая сопелка. Он может выдать сорок два звука – от си-бемоль контроктавы до ми-бемоль второй октавы. Во сколько!

– Ух ты! – просто так удивился Сережка. – А мы думали: ты шпана. Тогда как же финяк? Что на футболку променял? Откуда он у тебя? Скажешь, нашел...

– Да не-е. Мы их сами делали. Когда по слесарному занимались. Втихую от воспитателя. Столовым ножиком разживемся, а ручку к нему из всякой всячины набираем: из старых телефонов, костяных гребешков. Алюминий за серебро сходил, если надраить. Ножики с наборными ручками хорошо шли, братва на курево зашибала. Или меняли на чего-нибудь.

С того момента, как Ванюха зажал нос и попытался показать, как звучит фагот, его почему-то больше не называли по имени, а тут же окрестили Фаготом, и тот, нисколько не противясь, легко принял это близкое и даже льстящее прозвище, каковые имел каждый. Ну, скажем, Серега, за то, что с началом летних каникул напрочь переставал стричься и к осени зарастал свалывшейся папашой, был обозван батькой Махно, чем оставался весьма доволен и горд.

– Слушай, Фагот, а ты к нам по какому делу?

– Хожу вот, мать ищу.

– Потерялась, что ли?

– Десять лет не виделись.

– Как это?

– Долго рассказывать.

– Ты что, из дома убежал?

– Да не, не так... Мы тогда в деревне жили. Тут, где-то недалеко. Не помню названия.

– Ну и чево?

– Ночью отца забрали и увезли куда-то. Потом добро наше вывезли: хлеб, скотину. Это мать мне рассказывала, когда мы по станциям куски собирали. С нами еще двое пацанов было, братья мои. Как звали, тоже не помню. Меньший – совсем пеленочник, еще грудь сосал. А грудь-то у матери – сморщенная кожа. Орал до посинения. Бывало, мать трясет тряпичный сверток, а сама тоже плачет. К тому времени я уже кое-чего кумекал: сам попросить мог, а то и стибрить чего на станции у бабульки: огурец, оладик картошешный. Небось, посчитав, что без нее я уже не пропаду, она выждала, когда поезд тронулся с места, подхватила меня под закрылки и запихнула в побежавший тамбур. «Прости, сыночек!» – услышал я вдогон ее

сорвавшийся выкрик. И вовек не забуду, как она, прижимая к груди спеленутого братишку, другой рукой, щепотью крестила застучавшие колеса, будто посыпала их чем-то.

– А ты чево же? Взял бы да выпрыгнул...

– Ну да... Поезд уже вон как раскочегарился! Когда далеко отъехали, проводница нашла у меня за пазухой измятую бумажку. Мать моя не умела писать, кого-то попросила назвать в той бумажке мои имя, фамилию, год и месяц рождения. Должно, заранее обдумала, что со мной сделать. Ведь у нее на руках еще двое совсем никчемных оглоедов осталось.

«А бумажку эту ты береги! – сказала тогда проводница. – Без бумажки ты никто, понял? Снимай-ка штаны, я к ним карман подошью. Там будешь ее хранить».

В служебном купе она налила мне кипятку, дала кусок сахару и настоящую белую булку, а сама принялась метать карман, которого у меня дотоле еще не было: его заменяла побирушная сумка.

Во Мценске на вокзале проводница сдала меня дежурному по перрону, а тот переправил в тамошний приют. А когда вырос, принялся писать, запрашивать. И вот только теперь сообщили, где моя мать... Я и приехал...

Фагот достал из заднего кармана казенную открытку, сличил написанное в ней с обозначением на уличном фонаре.

– Все сходится! – еще раз уверился он. – И улица, и номер дома. Значит, где-то тут она, матушка моя!

– А зовут-то ее как?

– Катя! Катерина Евсевна!

Сереге растерянно заморгал.

– А фамилия какая?

– Да Чистикова она! Екатерина Чистикова.

– погоди, друг... – Сереге еще больше раззявился смущенно. – Дак я и сам Чистиков! Пацаны! Скажите ему, что и я Чистиков! И вот он, Миха, тоже... Который меньший, который после меня родился... Что же получается? – развел руками Махно и озернулся на сотоварищей, будто ища у них какого-то последнего слова истины. – Выходит, ты – братан мой? А я – твой! Родня друг другу?

– Выходит, так! – Фагот радостно соглашался быть братом этому чумазому и до сих пор босому (октябрь на дворе!) забияке с багровым,

рубленным шрамом на подбородке – прошлым летом он подкрадывался к залетному чужаку, сорвался вместе со ржавой водосточной трубой и ударился подбородком о край дождевой бочки. Потом месяц ничего не ел, кроме жиденькой каши.

– Ну, тогда давай еще раз поздравкаемся! При свидетелях! Ведь мы давеча хотели тебе морду набить. – Серега ступил навстречу Фаготу. – А ты братаном оказался! Во дела! Миха, и ты давай подходи: он и тебе теперь свойский...

Тем моментом кто-то из пацанов стукнул в крайнее оконце надворного строения, где теперь обитали уцелевшие Чистиковы, и следом, будто заполошная курица, вылетела тетка Катя, то есть то, что оставила от нее лихая судьбина – маленькое, щупленькое существо в косом платочке, вся какая-то серенькая, ветошная от мелкой крапчатости своей ситцевой застиранной одежды. Она еще издали распахнула бесплечие ручки, будто готовясь повителью обвиться вокруг нашедшегося сына, но вместо объятий упала перед Ванюхой на колени и цепко, страстно охватила его ноги, воткнувшись в них лицом и содрогаясь в тихом бессловном плаче.

До появления Фагота никому из обитателей этого переполненного странноприимного дома не было ведомо, что у тетки Кати, тихой, покорной женщины, помимо двух мазуриков – Михи и Сереги – был где-то на стороне еще и третий сын, которого она сама, своими руками придала безвестности и беспризору. Лишь в глубокой ночи, за сдвинутыми занавесками извлекала она со дна деревянного ларца бронзовый старообрядческий складенек с житием Пресвятой Девы Марии и покаянно выкладывала заветному образу собственный грех, прося Матерь Божью уберечь, не дать загинуть большенькому отроку.

Младшие побродяжки, Серега и Миха, оставшиеся при бездомной матери, убереглись от мора тем, что в самую голодную добрые люди пожалели Катерину и взяли ее в заводской детский садик истопницей и посудомойкой. Ей было дозволено для своих детей соскребать со стенок котлов пшенные пригарки. Кастрюльные сполоски Катерина тоже не выплескивала зазря, а добавляла в них подзаборную крапиву, овражную сныть или щавелевые побежки. Иногда такой похлебкой она потчевала и других пацанов своего подворья.

Постепенно петля повальной голодухи ослабила свою затяжку. К Польскому походу витрины магазинов повеселели от выбора конфет,

печений, обсыпанных маком баранок и причудливо заплетенных хал. На перекрестках открылись павильоны с мороженым, розовым морсом и сельтерской водой. Над уличными забегаловками красовались намалеванные раки и пивные кружки, оплывшие кучерявой пеной. В табачных ларьках, еще издали заманчиво пахнувших своим товаром, вновь появились дорогие коробчатые папиросы: «Казбек», «Ялта», «Наша марка», «Дерби» и «Герцеговина Флор», вкус которых вездесущая пацанва уже извела по окуркам, подобранным возле изысканного тогда кинотеатра Щепкина. Видных посетителей он привлекал буфетом с фарфоровыми кувшинчиками ликера «Кюрасо», симфоническими новинками, исполнявшимися в верхнем фойе, и алым бархатом амфитеатра.

Фагот как-то быстро и непринужденно, без всяких претензий втиснулся в свою новую жизнь, как будто всегда тут и был.

Десятиметровая комнатенка, в которой ютилась Катерина с двумя ребятами, имела единственное оконце, выложенное в старинной метровой кладке, отчего подобила божьей обители. К тому же окно было заставлено по-зимнему сдвоенными рамами, умалявшими свет и не пропускавшими воздух. Проживать вчетвером в таких условиях сделалось тесновато. Но неисчерпаемая Катерина и тут нашла выход. Свою узенькую послушницкую кроватку она отдала старшенькому, а Махно и Миха, как и прежде, остались на топчаннике, устроенном под столом: сверху столешница, а под ней дощатый настильчик для спанья. Сама же перебралась в детское заведение, где на кухне у печной стеночки приспособила раскладушку. Проявляя понимание, заведующая садиком дооформила Катерину еще и ночным сторожем, чтобы та могла ночевать на кухне с полным основанием, вопреки запретам общественного надзора.

Продолжать учебу в школе Фагот не стал: не хотел снова школьного занудства, зубрежек, вызовов к доске, контрольной писанины осточертевших еще в режимном Мценске. Вместо школы он облюбовал себе Механический завод, что располагался неподалеку, сразу же за Пролетарским сквером. В отделе кадров его взяли без всяких препон, тем более когда узнали, что он прежде играл в духовом оркестре. Такие люди профкому были нужны, и Фогота зачислили учеником токаря-универсала с предложением приступить к своим обязанностям хоть завтра. Под изданный приказ его провели в

бухгалтерии и нежданно-негаданно тут же выдали четвертной – новыми, хрустящими пятерочками.

Фагот, выйдя за проходную в приподнятом настроении, купил домой гостинцев: шоколадных конфет «Южная ночь» в звездной обертке, белых мятных пряников, изображавших лошадок и петушков, засахаренных маковок в клетчатых плитках, два сорта «Микад» с клюквенным и абрикосовым вареньем, словом, постарался выбрать то, чего ни он, ни Катерина, ни братья никогда в жизни не ели вволю, от души. А самой матери в подарок высмотрел фильдеперсовые чулки. Катерина поделила гостинцы всем поровну и с радостной голубизной в глазах поставила во дворе самоварчик. Чулки же, ужаснувшись их невесомой паутинности, тут же заперла в свой заветный ларец.

– Куда мне такие? – упрекнула она Фагот. – Только зря потратился. От ногтей сразу же изорвутся. Мне бы в резиночку. В самый раз. Вся таковская. А эти нехай лежат до скончания. Может, тади и нарядят к Господу явиться...

– Ты мне брось это! – повелительно осудил Фагот. – Сейчас и носи. Подумаешь, невидаль!

– Да куда ж мне носить-то? У печек да котлов шлендраться?

– А мы с тобой давай в Совкино ходим. Как раз «Волгу-Волгу» показывают.

– И не выдумывай даже!

В следующую получку Фагот уже щеголял в настоящих брюках с заутюженными стрелками и задним кармашком на пуговице. А заодно постригся. Правда, стричь ему было нечего, еще не больноросло, даже парикмахерша развела руками. Но он, как все подростки, торопил свое время, спешил посолиднеть, покраше выглядеть и потому велел маленько поправить сзади, подрубить пейсики. Зато теперь от него шикарно пахло одеколоном. Пацаны завидовали этой его настырной взрослости. Серега же Махно, бывший батька всей дворни, беспрекословно уступил Фаготу эту свою предводительскую должность и даже был готов передать ему в полное распоряжение голубятню и всех своих турманов, которых любовно подбирал и сколачивал в дружную, слетающуюся стаю. Но Фагот резонно отказался от голубей:

– Это ж надо с утра шестом махать! А мне теперь, браток, к семи на завод.

Но самое ошеломительное произошло на другой день ноябрьских праздников. Ошиваясь в Первомайском саду, гремевшем музыкой, полыхавшем кумачом, Серега и Миха со приятелями нечаянно напоролись на Фагота. Он сидел под полосатым тентом летнего павильона за белым столиком в ловком сером куропатчатом пиджаке с красным бантиком над грудным карманом – весь какой-то не такой, не виданный прежде: праздничный, сияющий, разговорчивый. Но пацанов удивил не столько сам Фагот, ни даже настоящая, наполовину отпитая бутылка пива, пузырившаяся воздушными кубиками, сколь сидевшая напротив него живая, настоящая девашка с желтой косой поверх голубого плащика. Совсем юная девашка сидела в профиль, у нее был маленький пупсиковый носик, который в момент улыбки то и дело прятался за округлую щеку. Вишенно-спелыми губами она с неторопливой праздничной усладой слизывала мороженое с витой десертной ложечки.

Почти непрерывно играла музыка, перемежавшаяся с бодрыми песнями, где-то неподалеку хлопало на ветру праздничное полотнище, и потому вовсе не было слышно, о чем весело и оживленно разговаривал Фагот со своей подружкой. А так хотелось услышать хотя бы по одному словечку: что он сказал, что она ответила... Ведь никто из них еще никогда в жизни по-человечески, по-взрослому не разговаривал с девчонками, тем более не сидел вот так рядом за белым столиком. От одного вида этого мраморного столика с пивом и вазочками с мороженым пронизывало чувство волнующего озноба, тем более – от позолоты девичьей косы.

Наконец Фагот своим оживленным взглядом запнулся о всклокоченного Серегу, тотчас погас лицом и приподнялся из-за столика, поднятой рукой давая понять своей спутнице, что он на минутку. Подойдя к пацанам, Фагот сунул руку за лацкан, извлек зеленую трешку и, вручив ее Сереге, шипяще произнес:

– А ну брысь отсюдова! Подглядывать мне!

– Уж и поглядеть нельзя... – обиделся Серега.

...В том году музыка играла в Первомайском саду в последний раз. Не успели прибраться после октябрьских праздников: смотать лампочную иллюминацию, собрать в кучи опавшие листья, как после сентябрьской мобилизации в городском воздухе снова повеяло тревогой. На этот раз паленым донесло с Карельского перешейка. Как

объясняли тогда, белофинский барон Маннергейм отклонил нашу справедливую просьбу несколько отодвинуть общую границу на запад, с тем чтобы обезопасить от конфликтных случайностей многолюдный Ленинград. Маннергейму вежливо разъяснили, что такую подвижку надо сделать еще и потому, что Ленинград почитается как колыбель Революции, в нем собраны бесценные реликвии: стоит легендарная «Аврора», на башне броневика возвышается вдохновитель всех наших свершений товарищ Ленин. Казалось, чего бы упрямяничать? Ведь все убедительно, обоснованно. Тем более что не за так просят отодвинуться: не за здорово живешь, а взамен предлагается хороший кусок в другом месте Карелии, гораздо больший, чем на перешейке. Но Маннергейм, паразит, начисто отказался говорить на эту тему. Даже третьеклашке было ясно, что Маннергеймка не прав, и в школьных туалетах его поносили во все тяжкие, а в карикатурах у подлого барона выкалывали глаза. По-хорошему следовало бы проучить этого прохвоста. Так и не поняв, с кем имеет дело, он сам вскоре напал на наших пограничников: обстрелял заставу из орудий... Кто ж такое потерпит? Мы и не потерпели.

Ночами по городу снова понесли повестки. На этот раз уже никого не возвращали из-за мобилизационного перебора.

Тем временем по школам прошла негласная кампания: мальчишек-старшекласников по одному приглашали в кабинет, где за директорским столом сидел военный с голубыми петлицами авиатора. Он приветливо предлагал сесть, даже пододвигал папиросы, расспрашивал про учебу и вдруг задавал вопрос, не желает ли приглашенный продолжить образование в авиационном училище, где будет все так же, как и тут, лишь с добавлением некоторых технических дисциплин, но зато всем абитуриентам выдается летное обмундирование и даже портупея, что, разумеется, весьма немаловажно для молодого человека. В заключение резидент в голубых петлицах просил подумать и никому не рассказывать об этом их разговоре.

Некоторые пацаны выходили из кабинета какие-то отсутствующие, никого не узнающие, будто уже парили в заоблачной голубизне. Нам, мелкоте, тоже хотелось в летчики, но на тайные беседы нас пока не приглашали, поскольку семиклашки в сталинские соколы пока еще не требовались.

И мы, никому не нужная школьная шантрапа, на большой перемене отпраплялись во двор, где в глухом его конце предавались игре в любимую стеночку по трюшнику за пядь: «выпядил» – твои три копейки, «недопядил» – трюшник с тебя.

Финская кампания предполагалась тоже быстрой и необременительной подобно Польскому походу, из которого, почти ничего не потеряв, разве что самую малость, да и то от непредвиденных случаев, личной нерасторопности или несвежей пищи, войска вернулись бодрые и посвежевшие, с трофеями в заплечных мешках, подобранными по пути, иногда нелепыми и забавными, вроде утюга, беговых коньков, уже начатых школьных тетрадей или банки маринованных огурчиков, добытых со дна Буга, где они хранились вместо погреба.

Карельский же поход, напротив, из прогулочной кампании обернулся войной, нудной и малоуспешной.

Пока день за днем, неделя за неделей, – вот уж и новый девятьсот сороковой год на дворе, – добывалась та карельская перемога, создавшая в местных аптеках нехватку бинтов и марли, город изрядно поутих и потускнел, будто сам потерял сколько-то своей крови. Сложился и умотал парусиновый «шапито» вместе со своими шумными и дымными смертельными номерами. Многие месяцы собиравшую сотенную очередь «Волгу-Волгу», после которой каждый раз на улицу выплескивалась поголовно улыбающаяся толпа, заменили созвучной моменту пронзительной дзигановской трагедией «Мы из Кронштадта», пережив которую зритель замолкал и мрачно уходил в себя. С перекрестков куда-то девались павильоны с выносными столиками, витрины магазинов тоже потускнели, сократили ассортимент, а отпуск масла, столовых жиров и суповых наборов снова вернули к упорядоченному регламенту. Опять появились очереди, в которых часто случались недовольные выкрики: «Не давайте по стольку в одни руки! Куда смотрит милиция?» Иногда, озираясь, гневясь вполголоса, высказывали наболевшее: «Да что мы чикаемся с какой-то там Финляндией?! Ведь моська же! Всего четыре миллиона с детишками и старухами. Ну, врезали бы как следует! Проучили бы этого ихнего Маннергейма. А иначе опять до хлебных карточек доцеремонимся».

Через финские гранитные доты и надолбы наши войска перевалили только к весне сорокового, заплатив за это одоление почти триста тысяч... но, к сожалению, не рублей, а человеческих жизней... Хотя о таких несоразмерных потерях тогда не сообщалось, было стыдно признаваться в этом перед остальным миром, но и так, без признаний, было нетрудно догадаться, сколько стоят финский лед и камень.

Вообще в том злопамятном сороковом мы не раз принимались ультимативно помахивать пороховницей. Едва вывели дивизии из-за поверженной линии Маннергейма, как тем же летом направили солдатские кирзачи в Прибалтику, где тамошние правители, заключив с нами договора о дружбе, сами же тем часом заигрывали с Германией. Сходили, освободили. Одновременно весьма удачно порешили вопрос и о румынской Бессарабии, присоединив ее после долгого и незаконного пребывания за нашими пределами. А заодно протянули руку помощи и Северной Буковине.

Историки потом напишут: «Все эти районы могли быть использованы агрессорами как плацдармы, приближающие их войска к жизненным центрам Советского государства». Вроде бы все получалось. Фортуна благоволила нашим высоким замыслам.

В долгожданное, давно просчитанное утро Фагот спешил к проходной своего завода. Он проснулся в легком, приподнятом настроении, которое всегда сопутствует ожиданию каких-либо перемен. Бодрости прибавлял и морозный, хрусткий снежок, легший, должно быть, окончательно, до самой весны. Он выбелил Пролетарский скверик, который всякий раз охотно пересекал Фагот по пути на работу. Над бетонным кольцом фонтана снуло склонились засахаренные изморозью ивы. Оставшаяся на дне лужица неспущенной воды подернулась ледком оконной ясности, на котором кто-то, опередив его, уже успел оставить в легкой пороше следы мальчишеской пробежки.

Убеленные крыши окрестных домов, отражая зоровой свет, добавляли утру дополнительное и какое-то радостное сияние. Ощущение светлой утренней чистоты и собственной легкости было столь велико, что Фагот, взойдя на ступени проходной, перед тем как

открыть дверь, невольно, шаркающим движением, отер подошвы своих ботинок.

В профкомовском зальчике, уже заполненном народом, на возвышении за долгим красным столом сидел Ван Ваныч – местком, он же председатель квалификационной комиссии, и сама комиссия – представитель из отдела кадров по профобучению Гвоздалев, мастер цеха Ничевохин и Фаготов наставник дядь Леша. Ван Ваныч вертел перед своими утолщенными очками эту самую КС-16, которую было поручено изготовить Фаготу в порядке экзаменационного задания. Такую же деталь уже всюю точили несколько других токарей цеха, но Фагот имел с ней дело впервые. Для чего она предназначалась, он не знал, и даже наставник дядь Леша, помогавший освоить рабочий чертеж, отвечал уклончиво и неопределенно: «Я и сам не в курсе...» И, понижая голос, будто говорил одному только Фаготу, приоткрывал самую малость: «Оборонный заказ! Так что ты, парень, старайся!»

Деталь оказалась не ахти какая, на первый взгляд – продолговатый фланец, но зато с двухступенчатой внутренней проточкой. В самом узком месте – всего полдюйма. Попыхтеть, конечно, пришлось. Две заготовки спортачил. Но потом ничего, получилось. А уже следующие пошли легко, даже приятно было добавлять подачу.

Фагота пригласили на помост. Он мазнул ладонью по непокорной макушке и, весь в трепетном смущении, не вошел на сцену как положено, по трем ступеням, а одним подскоком запрыгнул на помост перед самой комиссией.

В зале засмеялись.

От Ван Ваныча поделка перешла в руки кадровика Гвоздалева, который даже взглянул через патрубок на свет в окошке. После мастера цеха деталь принял дядь Леша, но рассматривать ее не стал и первым высказался по существу вопроса:

– Ну, чево? Резцом парень владеет. Прогоны чистые. Точность – по нулям. Такая тут и не требуется. А он, вишь, постарался: довел до классности. Я бы сделал не лучше...

– Владеет так владеет, – согласился Ван Ваныч. – Так и запишем. На третий разряд все согласны? Нам сейчас каждая пара рук дорога.

– Да чего там! Вполне заслуживает... По работе видно.

Ван Ваныч через стол вручил Фаготу свидетельство о присвоении ему разряда, крепко отечески пожал руку, и, когда тот, на ходу пряча

заветную зеленокорую книжицу, собрался было спуститься в зал, председатель комиссии окликнул вдогон:

– Погоди, еще не всё. На вот... Это – мера всей твоей жизни.

И вложил в ладонь Фагота новенький, ясно блеснувший штангель.

Потом, в коридоре, Ван Ваныч зазвал Фагота в свой кабинет и, обняв его за плечи, обдавая упаристым теплом подмышки, заговорил:

– А насчет твоей дудки, про которую ты все спрашиваешь... Гобой, кажись?

– Да нет, фагот.

– Ну, теперь все едино. Ты пока с этим не докучай. Не до свистелок нам теперь. Вишь, что в мире творится. Гитлер целую Францию заглотил. Кто знает, куда он дальше направится? Благо бы – на Англию. Там до нее совсем близко. А мы тем моментом подготовились бы, как следует изгородились... Хорошо, что успели Западную Украину с Белоруссией освободить. Вон ведь куда граница ушла! – Ван Ваныч ребром ладони широко махнул по сукну столешницы, показывая пареньку, как далеко отодвинулась граница. – А фагот тебе еще будет: куда он денется?

Та большая война ворвалась внезапно и сокрушительно. Она враз опрокинула на своем пути все эти территориальные нагромождения, как пустые тарные коробки. Что и говорить, удар был ошеломляющий, будто рубанули между глаз свинцовым кистенем. У нашего буденноворошиловского командования мигом померкло в очах, зашумело под маршальскими папахами, так что от Черного до Балтийского моря дыбом встали роковые вопросы: «Что делать?» и «Кто виноват?»

Уже через неделю танковые клинья Гудериана вышли к Днепру.

Но так бывает: даже смертельно опасную травму пострадавший воспринимает не сразу, а на первых порах не ощущает самой боли и пытается вести себя по-прежнему, будто с ним ничего не произошло.

Так и с целыми странами, особенно с такими обширными, как наша.

Нечто подобное произошло и с нашим городом. Даже суровое, проникновенное обращение Молотова не вывело людей из нежелания верить тому, что произошло. По крайней мере внешне многое еще делалось так, как свершалось и день, и два, и неделю назад.

Как всегда, в привычном узнаваемом тембре прогудели заводские гудки; неподалеку, на Дзержинской, перезванивались трамваи с утренним рабочим людом; по прибазарным улицам скорым бежом торговли на коромыслах несли огородную снедь: вымытые бликующие огурчики, пучки перьяного лука, гроздья нежно-розовой, совсем юной редьки, штабельки перевязанного укропа, оставлявшего после себя долгий шлейф аромата.

Возле Троицкой церкви по давнему обычаю, поди с тех пор, как на крутояре возвысился этот храм, приходские пастухи, сменяя друг друга, подудывая на рожках, из века в век со смежных улиц скликали стадо. В это утро оно, сонно мычащее, поредевшее, изживаемое временем, под чириканье касаток, продолжало сходиться перед белой умолкшей звонницей...

Жизнь шла своим привычным чередом: еще никто не торопился рыть оборонительные окопы или выносить из школ ученические парты, чтобы заменить их железными госпитальными койками.

Сереге проснулся в своем сарайчике, где под лестницей в голубятню он приладил себе полочку для спанья. Дощатая стенка уже лучезарно полосатилась щелями от взошедшего солнца. В прогретой голубятне нетерпеливо урчали голуби в ожидании еды и воли. Серега зачерпнул корец проса и, поднявшись по ступеням, плеснул бегучего зерна в продолговатый лоток. Обдавая маховым посвистывающим ветром, птицы шумно кинулись к лотку. Когда голуби насытились, он выцелил своего любимца по кличке Белое Перо, придержал в горсти концы его обоих крыльев, а для остальных голубей отворил косую планчатую решетку. Турмачи повалили на свет, от нетерпения все так же суется и толкаясь. Пойманный Белое Перо ущипнул Серегу за палец, но, доверясь добрым рукам хозяина, успокоился и перестал вздергивать плечиками. При каждом встряхивании он покорно распускал веером свой упругий хвост, обнажая среди аспидно-серых перьев единственное белое перо, делившее веер почти на равные половины. Взмелькивание этой белой вставки всякий раз приводило Серегу в счастливое изумление. Наличие белого пера в хвосте считалось в голубином мире высшим шиком, а сама птица составляла изрядную ценность.

— Ну что, покажем класс? — влюбленно сказал Серега, прижимая головку птицы к своей щеке.

Середь двора, по-прежнему придерживая концы крыльев, он во весь мах, как бросают мяч при игре в лапту, запустил жожака строго над собой. Тот как мог дольше протянул свой бескрылый лет и, когда иссякла инерция заброса, очутившись выше всех окрестных крыш, резко выбросил оба крыла. Голубь тут же принялся набирать высоту, громко, азартно хлопая концевыми перьями, как бы приглашая остальных следовать за ним.

Оставшиеся на голубятне турмачи принялись было крутиться возле голубок, и Серега поднял всех на крыло сначала шестом с тряпичным мотовилом, а потом и забористым свистом в два пальца. Стая, выстроившись полукружьем, начала набирать высоту, слаженно, в одном ритме взмахивая крыльями.

Заслышав свист, во двор набрели и остальные закоперщики: Миха-братан, Николка и Петрик Трубаровы, двое с соседнего подворья и Пыхтя из дома через дорогу.

Ребята, наблюдая за голубями, разлеглись на кучерявой спорышевой муравке. Уже через полчаса стая дружно взмелькивала под самыми облаками, что порознь, белыми громадами, с лентой тянули к северу.

Отсюда, с дворового пустыря, на белом лучше виделись темноперые турмачи, на синих просветах белокрылые птицы были заметнее.

Заспорили о погоде. Толстяк Пыхтя уверял, что такой денек с просинью в облаках больше нравится голубям: летать не жарко, приглашенное солнце не спит, не мешает среди множества крыш и дворов видеть свою голубятню.

– Ну да, сказал! – не согласился Серега. – Наоборот, турман не любит летать под тучками. Всегда старается сбросить лишнюю высоту.

– А чего ему сбрасывать-то?

– Сапсана остерегается. Когда небо ясное, турману вокруг себя все видно. Тогда он и летает в свое удовольствие. А за тучками сапсан может подобраться. От него летом не уйдешь: только камнем вниз. Бывает, голубь вовремя не вырулит и насмерть бьется о землю.

Ребята приумолкли: послышался отдаленный невнятный рокот.

– Гром, что ли? – предположил Пыхтя.

– Вроде не должно. Небо не грозовое. Если быть грозе – голубя с крыши не сгонишь, – авторитетно успокоил Серега.

Рокот быстро нарастал. Уже улавливались его глуховатые перепады, и пока пацаны пытались определить, что это такое, из встрепанного верховыми ветрами одинокого облака вдруг вырвался самолет и несколько мгновений летел открыто, на виду у всего распростершегося под ним города. Он летел чуть в стороне и не так высоко, не выше пятисот метров, как раз на уровне Серегиной стаи, так что был четко виден весь его прогонистый профиль.

От внезапности и явной чужести самолета ребята вскочили с земли, и, хотя бомбардировщик виделся всего несколько секунд, прежде чем снова нырнуть во встречное облако, многим удалось разглядеть и запомнить его приметы. Был он странно окрашен в желтое и зеленое, что придавало ему сходство с летящей рептилией. Оба моторных капота были далеко выдвинуты вперед, между ними помещалась лобастая и взгорбленная пилотская кабина, за стеклами которой кто-то из ребят даже разглядел будто бы самих летчиков.

Вид у самолета был какой-то устрашающий. Наверно, конструкторы заботились не только о том, чтобы он летал, но и о том, чтобы угнетал своим обликом все живое, попавшее под узкие сапсаны крылья.

Но больше всего поразила и ужаснула главная его примета: на долгом фюзеляже, ближе к хвостовым рулям, отчетливо проступал черный крест, отороченный белым кантом. Нанизывая на себя облака, то исчезая в их рыхлой белизне, то снова выныривая на солнце, самолет облетел всю городскую пристанционную округу, потом, сделав разворот, еще раз промелькнул своим желтым ящерным брюхом в самый раз через то место, где все еще трепетала стая Серегиных голубей. Он не строчил из пулеметов, не бросал бомбы, но и в него тоже не стреляли, не поднимали истребителей, которых, по правде, тогда на наших коровьих лугах еще и не было из-за нехватки таковых или неглавности направления.

Чужак летал молча, безнаказанно вглядываясь в настужь распахнутое бытие города, его враждебное присутствие в небе, наверное, впервые дало всем видевшим эти черные кресты леденящее ощущение реальной и близкой войны.

В тот день из четырех пар голубей домой вернулись только две. Турмачи опускались на конек голубятни порознь. Последней была голубка Лыска, напарница Белого Пера. Она объявилась перед самым

закатом, вся еще перепуганная, недоверчиво озирающаяся. Когда Лыска уже потемну наконец переступила порог летка, Серега не стал запирасть голубятню, оставил планчатый рештак распахнутым. Но Белое Перо так и не вернулся – ни в этот вечер, ни с восходом нового дня...

В конце августа с той, военной стороны через город зачастили товарняки с демонтированным заводским добром. В тесовых обивках под брезентовыми пологами и просто под навалами древесных веток везли снятые с крепежа станки, целые узлы разобранных агрегатов, какие-то фермы, занимавшие сразу несколько платформ. Среди этого груза во всевозможных щелях и пустотах скопились беженцы, которых называли странным и трудно произносимым словом «эвакуированные». Из-за плохой проходимости дороги многие эшелоны опасно задерживались на запасных путях, и тогда «эвакуированные» разбредались по станции и прилегающим улицам в поисках туалетов, кипятка и какой-либо еды. А возле недвижимого поезда собирался самопроизвольный базарчик, где местные бабульки и пацаны выменивали всяческие вещички на неказистую снедь. Особенно выгодно шла мена с беглыми евреями, пробиравшимися в глубь страны с многодетными семьями аж из самой Польши, из ее восточных городков и местечек, оставленных нашими войсками.

Среди прочих беженцев они выделялись хорошо пошитой одеждой, но были изнурены дальней дорогой, суматохой пересадок, налетами вражеской авиации. Никто их специально не эвакуировал, не заносил в списки, не выделял мест в поездах: они были сами по себе. У них всегда можно было разжиться чем-либо из заманчивого польского шмутья и обихода. Пацаны чаще всего выменивали непривычное заграничное курево. Особенно в ходу были длинные табачные палочки с коротким мундштучком под названием «Фемина», на коробке изображалась огненная красотка с папироской в слепяще белых зубах. Петрик разжился перочинным ножичком со множеством причиндалов, а Пыхтя на ведро ночью выкопанной чужой картошки выменял, например, шикарно хлопающий портсигар с оттиском на крышке какого-то позолоченного лысого дядьки, в котором Фагот предположил папу римского.

Вскоре, однако, поток беженцев внезапно прекратился, будто у этого потока где-то перекрыли вентиль. Это означало, что долго и

беззаветно обороняющийся Киев все-таки пал... От раненых бойцов, успевших вырваться из киевского окружения, пошли слухи, будто впереди теперь нет никакого фронта и что в нашей обороне образовалась дыра километров на двести, куда вот-вот устремятся фашистские танки.

Становилось ясно, что надвигалась неотвратимая драма в судьбе нашего незащищенного города. И коли не было штыков – он ошметинился лопатами.

Они зазвякали и засверкали возле школ, у дверей учреждений и заводских ворот. За город, на окрестные холмы и высоты, двинулись сотенные колонны оборонокопателей. Кроме лопат рекомендовалось также запасти носилки для перемещения грунта, кирки для рыхления слежалых глин и корчевки древесных корней, ведра для приготовления горячей пищи, клеенки от непогоды, а главное – бодрость духа и веру в окончательную победу.

Одновременно сколачивались отряды гражданского ополчения. Фагота зачислили в истребительный отряд из двенадцати человек во главе с присланным выздоравливающим младшим лейтенантом Зайнуллиным. Он все еще припадал на раненую ногу, но за командование отделением взялся неотложно и с бодрой требовательностью. В обязанности отряду вменялось охранять производственную территорию, выслеживать лазутчиков и диверсантов, а также привести в действие взрывные устройства под заводскими объектами, о которых пока никто не должен знать.

По вечерам отряд собирали в сквере для прохождения боевой подготовки. После построения и списочной переключки Зайнуллин попарно направлял отряд по внутреннему периметру сквера, после чего принимался за боевые приемы, заставляя курсантов деревянной винтовкой, вытесанной в заводской столярке, колоть мешок с соломой или же бросать на дальность и точность металлическую болванку. Настоящее оружие выдавать не спешили, как объяснил Зайнуллин, до особого распоряжения.

– Будет надо, тогда и дадут.

– А если и взаправду – диверсант? – дознавался Фагот. – А у меня – сосновая деревяшка?

– Разговорчики! – оборвал младший лейтенант. – Ты сперва этой научись, понимаешь. – Оружие, может, в другом месте нужнее.

Столицу, понимаешь, надо защищать...

Винтовки все-таки в отряд привезли. Зайнуллин распределил их поименно: против каждой фамилии проставил номер оружия и дал расписаться. Фаготу и еще одному пацану из литейки, Федьке Чухову, расписаться не дали, потому что в ящике оказалось всего десять винтовок, а бойцов в отряде было двенадцать.

— А мы как же? — обиделся за двоих Фагот.

— Что ты, понимаешь, все качаешь!? — вспыхнул Зайнуллин. — Ну нету, нету пока. Поступят — и вы получите. Это тебе не дров напилить... Давай, я одну винтовку на вас двоих запишу?

— Не надо! — отказался Фагот. — Я свою хочу.

— Ну, тогда жди.

После этого разговора с Зайнуллиным обиженный Фагот перестал ночевать дома, коротая глухую темень в цеху на ворохе обтирочного тряпья. Он выжидал, пока все разойдутся, а вахтеры запрут проходную на засов, запускал свой бесшумный токарный станок и, посвечивая себе притененной переноской, принимался мастерить задуманное. Сперва он пытался изготовить обрез под винтовочный патрон. Но эта штукавина требовала сложной фрезеровки, а старик-фрезеровщик, закончив смену, запирали инструмент в значной печурке, открыть которую Фагот не сумел, хотя и перепробовал всякие исхитренные отмычки. А просить Кузьмича выстрогать ему заготовку затвора, которую он потом напильником довел бы до ума, так и не решился: побоялся, что Кузьмич станет допытываться: пошто да к чему, а дознавшись, ехидно высмеет его затею. Он умел так сощуриться, так покачать головой в замасленной камилавке, так потрогать лоб заказчика, что сразу убеждал в напрасности и никчемности замысла. Вместо неполучившейся Фагот из полудюймового гаечного прута вырезал новую ствольную заготовку, оставив нетронутыми все шесть граней. Так гляделось внушительней и убойней. Долгим наварным сверлом он прошел в граненом отрезке ствольный семимиллиметровый канал, но не насквозь, а в конце оставил хороший надежный цеяк. У дна просверленного хода, там, где начиналась торцевая заглушка, он надфелем пропилил запальник, после чего тонко заправленным пробойничком протюкал в этом месте пороховой ход. Оставалось вытесать деревянное цевье, что он и сделал из круто изогнутого кленового корневища.

Получился отличный самопал, походивший на старинную пистолю.

Грянула первая военная осень. Октябрь пришел без милостей, без золотого листопада. По неубранным полям с остатками колхозной техники едкий сиверко кувырkal бесприютные жухлые листья. Сеялся непроглядный и нещадный дождец, обративший сельские немощные дороги в безысходную погибель.

Наступать стало немцу в убыток, но и нам обороняться – тоже не доход. Однако немцу поделом: он позарился на чужое, а вокруг нас все нашенское, святое.

В траншеях и противотанковых рвах, опоясавших дальние и ближние подступы, почти без сна и роздыха под вражескими налетами выкопанных, высеченных и вырубленных в иссохших глинах и обнаженных мергелях тысячными усилиями горожан, теперь с ненастьем хлюпала мутная жижа и начали оседать и рушиться насыревшие стенки накопленного. Но регулярные войска что-то не спешили занимать приготовленные для них оборонительные рубежи. Лишь разрозненные ватажки ополченцев, которые потом назовут полками, перемогались под дождем в окопных канавах с одними только винтовками и зажигательными бутылками да еще, может, двумя-тремя станкачами. Их самоотверженную отвагу не собиралась поддерживать армейская артиллерия, которой почему-то вовсе не оказалось в распоряжении гарнизонного начальника. Ну а как же обороняться без артиллерии? Не одними же винтовочными пшикалками да огородными лопатами?!

...А враг тем временем приближался. Уже был взят город Льгов, что всего в полутора часах езды на машине. Несмотря на осенние хляби, опоясывая полукружием, будто заводя огромный невод, в нашу сторону двигался 48-й танковый корпус, поддержанный дивизиями 34-го армейского кулака, а на Фатеж, что вообще в пятидесяти верстах, нацелилась 9-я танковая дивизия.

У озябших, промокших ополченцев оставалась надежда на 13-ю армию, которая, будучи сама в окружении, вела ожесточенные бои совсем близко от Курска – в соседних брянских лесах. Верилось, что еще одно усилие, и она наконец вырвется на свободу. Но уповали на нее напрасно. Из свидетельства члена Военного совета армии генерала

Козлова: «После неимоверно трудного марша в условиях холодной осени промокшие, истощенные от недоедания, ведя бои днем и ночью, причем далеко не всегда ясно представляя, где находится противник – впереди, справа или слева, воины 13-й армии... вышли... из окружения в составе 10 тысяч человек». Уцелевший отряд был лишен техники, транспорта, боезапаса и продовольствия.

«После всестороннего анализа сложившейся обстановки (нескончаемый дождь со снегом, непроходимое бездорожье, полное отсутствие горючего, налеты авиации, вылазки противника), – вспоминает далее генерал Козлов, – Военный совет армии 17 октября принял трудное для себя решение: уничтожить автотранспорт и другое имущество, сковывавшее маневры армейских подразделений. Моторы автомобилей простреливались бронебойными пулями, а сами машины пускались под откос в глубокий овраг. Артиллеристы гаубичного полка, выпустив все снаряды по скоплению противника, последним выстрелом приводили орудия в негодность, в канал ствола насыпая песок».

В таком виде армия заняла рубеж Фатеж – Макаровка, выполнив свою главную задачу: вырваться из лап фашистов. Но оказать помощь Курску она уже не могла и сама нуждалась в пополнении, техническом обеспечении и просто физическом и моральном восстановлении.

Вместо нее на курские рубежи направили 2-ю гвардейскую дивизию, которая сама только что с большими потерями вырвалась из окружения и, следовательно, не имела полного личного состава и необходимого вооружения. Ею просто жертвовали, бросая на растерзание во много раз превосходящему противнику.

Судьба этой дивизии, как и самого города, была решена в пятиминутном телефонном разговоре Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина с первым секретарем Курского обкома партии П.И. Дорониным:

Доронин: – Обстановка под Курском тревожная. По данным разведки, на город наступают три фашистские дивизии. Оборону Курска ведут вторая гвардейская дивизия и бойцы народного ополчения, вооруженные в основном стрелковым оружием.

(Доронин умолчал, что не каждый ополченец имел винтовку, а многие вышли за город с охотничьими ружьями и бутылками с горючей смесью. Вторая же гвардейская «дивизия» тоже выступила

налегке без минометов и артиллерии, которых у нее попросту не было.)

Сталин: – Под Москвой тоже сложилась исключительно тяжелая обстановка. Необходимо, товарищ Доронин, усилить сопротивление врагу, укрепить полки второй гвардейской дивизии за счет коммунистов и комсомольцев. Силами народного ополчения необходимо прикрыть отход дивизий Красной Армии на новые боевые рубежи.

На другой день приказ Главнокомандующего не тратить боеспособные войска на защиту Курска был действительно получен по секретной связи, и в ночь на 27 октября, то есть за пять дней до появления противника у городских стен, части гарнизона покинули места своего расположения. Вместе с ними оставило город и перебралось пока в авиагородок и все областное руководство, прихватив с собой работников кухни и буфета: не сидеть же у костра и не варить в ведерке гороховый похлебанец!..

Когда стало ясно, что ждать помощи неоткуда, было отдано еще одно страшное распоряжение: город поджечь, все стратегически важное взорвать! Но рубежей не покидать, а продолжать до последнего противостоять немецкому наступлению.

И взрывники принялись за работу.

Умерщвление города во многом похоже на насильственную многострадальную смерть человека. Тут и там в небо вскидывались пыльные кирпичные выбросы. От ударных волн, льдисто звеня, сыпались и разлетались оконные стекла. Рухнули в воду искореженные фермы и опоры железнодорожных и шоссейных мостов. Потрясали землю и воздух тротилловые закладки под силовыми установками, трансформаторами и столбами электропередач. Взлетевший на воздух соляной склад на улице Радищева запорошил солью дворы и крыши окружавших его домов. В центре занялись пылем служебные здания и магазины, гудящий огонь выедал до кирпича мудрые кабинеты горкома ВКП (б). Дымные мебельные языки пламени, роняя на мостовую хлопья полыхающих штор гостиничных номеров, где некогда останавливались Горький и Маяковский, вырывались из карминно раскаленных и потрескавшихся рам наружу и жадно объедали ветви близких лип и вязов. К гигантскому всеобщему костру присоединились пожары на мельницах и крупорушках, на фабриках и

лесных биржах, на больших и малых складах и продовольственных базах. Было облито керосином и подожжено зерно на многокорпусном хлебном элеваторе. Особенно зловеще и смрадно, застыла полнеба округлыми клубами, полыхала нефтебаза, время от времени выфыркивая из этих черных клубов багровые вспышки взрывающихся газов. Смешавшееся воедино общее полотнище дыма тяжело пласталось над сирой осенней землей на многие километры за горизонт, укрывая собой уходящие на восток войска и навьюченные вереницы машин, покинувших авиагородок... Каждый день в дымном небе появлялся наш «Су-2», одномоторный бомбач, он же разведчик. Самолетик туда-сюда пролетал над городом, видимо, наблюдал и фиксировал на пленку, что и где горит и хорошо ли занялось.

Осада города началась вовсе не так, как представлялось пацанам, уличным гаврошам, которые уже изготовились к многодневному планомерному обстрелу из орудий и минометов, свирепым налетам пикировщиков, перемежавшихся с волнами атакующих пехотных цепей. Все оказалось как-то буднично и неинтересно.

В этот день Фагот вместе с несколькими членами отряда заводской обороны продолжали демонтировать и приводить в негодность оборудование цехов. Посередине двора горел большой костер, куда бросали папки с чертежами многолетних заказов, снятые со станков электромоторы, бухты запасной высоковольтной проводки, пластмассовые переключатели, промасленную обтирку, чтобы костер не гас, не ленился трудиться. Пламя каждый раз меняло свою окраску в зависимости от того, что в него было брошено. Дым то серел и шипел от чего-то малогорячего, то начинал закручиваться в бурые завихрения. Из столовой уборщица баба Паша приперла целый столб вложенных одна в другую алюминиевых мисок. Она собиралась было бросить их тоже в огонь, чтобы оплавилась и пришла в негодность, но ей не дали это сделать, чтобы не замедлять горение, а вручили лом, которым она принялась долбить посудины, азартно приговаривая, должно быть, адресуясь к вражеским солдатам: «Вот вам! Вот вам! Натe, ещeте теперя!...»

Заводской дым смешивался с уличными дымами, было тяжело дышать, слезились глаза, першило в горле, и Фагот время от времени выбегал за ворота, чтобы отдышаться и одновременно послушать, что делалось там, на передовой. Но за воротами было так же дымно и

непроглядно, особенно от пожаров на близкой городской товарной станции, питавшейся специальной железнодорожной веткой. Со стороны московских шпилей и Казацкой слободы доносились нестройные, разрозненные, как бы лишенные злобы, винтовочные хлопки, которые потом надолго затихали, и было не понять, кто куда стрелял и кто куда девался.

Помимо территориальной обороны, куда входил Фагот, на заводе сколотили еще и ополченческий отряд, комиссарить в котором райком назначил кадровика по фэзэошке Гвоздалева. У Зайнуллина закончился срок пребывания на излечении, и его тоже куда-то забрали, а руководство дворовым отрядом передали дядь Леше, недавнему Фаготову наставнику.

Отряд Гвоздалева, состоявший из восемнадцати добровольцев, занял оборону на северной окраине, где-то возле трепельного поселка, и теперь оставшиеся тут волновались и переживали: «Как там наши?!»

Но уже под вечер Гвоздалев неожиданно объявился в заводском дворе. На его груди, на шейной петле висела забинтованная рука с алым подтеком выше кисти. Но сам он по виду нисколько не унывал и находился в приподнятом и даже в каком-то радостном возбуждении.

– А-а, пустяк! – усмехнулся он, когда баба Паша, глядя на повязку, принялась сердобольно квохтать и страшиться глазами. – Малость зацепило! Зато мы ему дали как следует! Век будет помнить!

– Ты, голубь, присядь, отдохни! – тоже радостно засуетилась баба Паша, пододвигая к кострищу резной дубовый главбуховский стул, вынесенный на сожжение. – Небось от самого трепельного пешком шел?

– А на чем же? Трамваи уже не ходят.

– Тади садись, рассказывай, как и что было. Какие они хоть, немцы эти? Больно страховитые?

– Да обыкновенные, бить можно.

– И как же вы?

– Ну, притопываем себе в окопчиках. Холодноовато, конечно. С самого вечера ждем незваных. Огня, как тут у вас, не распалишь: передовая. Часу в восьмом развиднелось. Глядим: на шоссе мотоциклы с колясками тыркают. Штук пять, а то и больше: не очень было видать. И все немцами облеплены. Поставили мотоциклы под деревья, а сами рассыпались цепочкой и – к нам, сюда на поселок. У каждого на шее

автомат, на голове каска: лиц не видать. Идут, негромко переговариваются. Офицер молча делает рукой какие-то знаки.

– Страхи-то какие! – баба Паша обжала щеки ладошками.

– Кто-то из наших возьми и пальни. Другие тоже начали стрелять. Надо было подпустить поближе. А они не утерпели... Первый раз воюют.

– Дак и ты впервой!

– Я тоже. Но я хоть «звездочку» в лагере водил... А все равно удачно получилось, немцы залегли, а потом вскочили и бежать. Один захромал. Посели на свои мотоциклы и драпанули с шоссе куда-то направо. Наверно, поехали искать, где место послабее. Наши аж «ура» закричали: так мы им врезали!

– А тебя как же поранило-то?

– Да это с мотоцикла из пулемета прострочили, вроде как на прощанье. Меня вот в руку, а одного нашего насовсем. Васина из литейки.

– Олежку? – ужаснулась баба Паша и опять обжала щеки ладошками.

– Ну, он, он. Обещался родным сообщить. Пойду вот схожу. Решили там и похоронить.

– Да уж на кладбище бы, по-хорошему!

– Тоже скажешь: до Никитского вон сколько! Как понесешь? Это же гроб надо! Да человек восемь с передовой снимать, чтоб напеременки нести. А теперь каждый человек на счету: вдруг опять полезут? Дак они и полезли! После обеда на шоссе танки показались. Штук десять. Хорошо, что с насыпи свернули, видать, пошли на Знаменку. Мы потом в той стороне сильный бой слышали. Конечно, тоже не прошли, наверняка понюхали кукиш.

Гвоздалев здоровой рукой попялся за пазуху, достал вчетверо сложенную бумагу.

– Нате вот, почитайте... Совсем свежая. Нарочный оттуда принес...

Это оказался «Боевой листок» за первое ноября, написанный от руки на типографской заготовке. Листок взял дядь Леша и, морщась от дыма, стал читать всем:

– «Отважно сражался истребитель танков Дзержинского полка комсомолец Вячеслав Звягинцев. Он погиб, но не пропустил на своем

участке танков».

– Гляди-ко! Молодец-то какой! – похвалила баба Паша и тут же пожалела: – А погиб пошто?

– Погиб – зато не пропустил! – разъяснил Гвоздалев. – Теперь это важнее всего.

– Погиб – стало быть, пропустил... – жестко возразил дядь Леша и вернул листовку Гвоздалеву.

– А вот, Андреич, ответь мне старой по всей правде, – допытывалась баба Паша, пытаясь заглянуть в глаза Гвоздалеву.

– Чего говорить-то? – насторожился тот.

– Удержите немца али побежите? Скажи как на духу...

– Да ты что? – снова расслабился лицом Гвоздалев и даже облегченно заулыбался. – Ну ты, баб Паша, даешь! Такое говоришь! Честное слово...

– А чево?

– Так и думать-то нельзя! Как это – побежите? Какое мы имеем право?

– Ежли про это и думать нельзя, то пошто всё палите да взрываете?

– А чтоб им не досталось!

– А тади опять – пошто горелое да порушенное защищаете? Вон хлеб керосином облили и подожгли. Стало быть, оставаться не собираетесь.

– Таков закон войны. Чтоб врага не кормить. Иначе нельзя.

– А народ чево есть будет? А дети малые?

– По закону войны народ перед лицом нашествия уходить обязан. Ибо сказано: кто не с нами, тот наш враг.

– Куда ж мне за вами бежать: у меня и ноги-то в ботинки не лезут...

– Да не ерепенься ты! – посоветовал Гвоздалев. – И не болтай лишнего...

– Чего уж тут лишку? Вон народ всё тащит. На кожзаводе мокрые вонючие кожи – на драку, на взорванном соляном складе соленую землю, соленую щебенку нарасхват... Стало быть, больше не верят писанному да говоренному. А я, дура, все сижу, все на что-то надеюсь... Надо хоть этот стул домой снести: буду помнить Ефремыча, как мы у него на облигации подписывались.

– А насчет немца – не пустим! Не пустим! – Гвоздалев примирительно и весело похлопал по бабыпашиной спине. – Когда шел сюда – центральная улица вся в баррикадах! Люди ничего не жалеют для этого...

Завод не работал: расплавленно не светился окнами в ночи, знакомым, с бархатной хрипотцой, каким-то фаготовым голосом не звал к станкам – молчал и не дышал уже несколько дней, с той поры как сделала свой последний выдох котельная, демонтировали и куда-то увезли силовые трансформаторы. Тогда же вывесили приказ о роспуске коллектива, за исключением охраны, из которой несколько человек отдали в ополчение. Фагот тоже порывался, но его оставили в заводском охранном наряде, поскольку он, к огорчению, так и не получил своей винтовки.

В конце приказа крупно, заглавно было напечатано на машинке: «Спасибо за работу, товарищи!» Каждому, в последний раз переступавшему порог проходной, давняя потомственная вахтерша Афанасьевна возвращала личный жестяной номерок – на память, чем окончательно ввергала людей в щемящее чувство. Некоторые пускались обнимать Афанасьевну, осыпать прощальными поцелуями, задавая почти один и тот же вопрос, будто вахтерша заведомо знала, что ответить:

– Неужто больше не вернемся?..

Женщины из цехов, а больше из отделов управления уносили с собой оконные цветы. Не чуя беды, зеленые любимцы продолжали цвести как ни в чем не бывало, особенно доверчивые гераньки, источавшие свой уютный, примиряющий запах.

Но и после приказа в цехах и на территории вроде ненароком все еще появлялись люди, наверное, из тех, кто не сумел сразу отбросить напрочь привычное. Многие помогали строить баррикаду, прикрывавшую подступ к проходной со стороны тыльной улицы Карла Либкнехта, название которой кто-то тайно вымарал на всех домах.

В основу баррикады легло спиленное на углу дерево. Его растопыренные ветви принялись забрасывать всяким заводским хламом: порожней тарой, карбидными бочками, кухонными столами и столовскими табуретками, в литейке разобрали торцовый пол, наковыряли толстых кряжей и на тачке свезли в ту же кучу, туда же

бросили и самое тачку. Все это засыпали токарной стружкой, которой порядком накопилось на заводском задворье. Получилось что надо: высоко и внушительно.

– Ну, наварнакали! – оценил наведавшийся старый фрезеровщик Кузьмич, завсегда зривший против шерсти. – Что твой торт!

– А чего не по-твоему? – поинтересовался Ван Ваныч – местком, тоже оказавшийся здесь якобы по делу.

– Эта ваша городьба ни одной пули не задержит. Потому как внутри пустая. А надо бы класть мешки с песочком.

– Да где ж мешки взять-то? – Ван Ваныч запачканной рукой поддержнул разношенные очки. – Да и песок тоже?

– Тогда нечего и затеваться...

– Ну как же – была разнарядка...

– Разнарядка... – ехидно усмехнулся Кузьмич.

– Ладно тебе, – как всегда и всех, примирительно похлопал Кузьмича по плечу Ван Ваныч. – И так сойдет. Немец с ходу не перелезет – тоже дай сюда.

– А ты чего тут? – поинтересовался Кузьмич. – Все руководить тянет? Еще не наводился руками? Твои приятели-рукомахатели уже, небось, за Щигры утрехали?

– Еще успею...

– А то гляди, попадешь, карась, в ихнюю вершу – не поздоровится. За Дальними парками уже стреляют...

– Да вот вспомнил: в кабинете карту с флажками забыл снять.

– Места последних боев проставлял?

– Было интересно, где и что. А теперь не надо, чтоб карта осталась висеть. Да еще с флажками...

– Ну еще бы: такой позорище! Флажки-то в нашу кровь мокнутые!

– Хотел позвонить, да забыл, что телефон больше не работает. Пришлось самому... А ты по какому делу?

– Я, Ваня, не по бумажной надобности. Парок-то из котлов выпустили, манометры свинтили, водомеры побили, а про гудок забыли. Пойду, думаю, сниму. Не хочу, чтоб немцу достался. Вот не хочу – и всё! Конечно, можно и его сничтожить: молотком по свистку жахнул, и делу конец. А не могу я так – как по-живому. Я по этому гудку полжизни деньки считал... Вот ключи взял, пойду свинчу да заберу домой. А вдруг опять понадобится?..

Ночью, пока окрест было тихо, Фагот отпросился сбегать домой, на всякий случай попрощаться с матерью: не исключалось, что вот-вот и его охранный отряд вступит в бой. Катерина бессловесно всплеснула руками, когда он появился на пороге незапертой двери в свете тоскливо мерцавшего ночника. Она ткнулась лицом в его телогрейку и только теперь подала свой тихий, на краю шелеста, голос:

– Дымом пахнешь...

– Да вот, палим... А где братья?

– Те всё по городу шарятся. Вчера Серега где-то полмешка проса раздобыл: голубей кормить. Говорю: будет ли тебе с голубями вожжаться – война кругом. А он, упрямец: голубям тоже есть надо. Они в войне не виноваты... У нас тут наверху дедушка живет, без одной ноги. Сам-то он на землю не спускается, потому, может, ты его ни разу и не видел. Он все больше в окно глядит. А зиму, от Покрова до Пасхи, сидит взаперти. Так у этого дедушки есть самодельная коляска на четырех катках. Серега выпросил эту каталку и вот, как смерклося, укатил с ней куда-то... Говорил, будто на швейной фабрике народ машинки курочит, дескать, если успеет, то он одну привезет... А Михаил – тот себе шарится: вчерась картузом рокса разжился. Может, помнишь такие конфетки: рисунок насквозь виден. Где ни откусишь – там опять эта ж картинка: грибок или вишенка... А еще карманы конфетных оберток набрал: теперь из них фантики заламывает – с ребятами в кон играть. Так, ветер в голове... А вот не удержишь! Все на чужом помешались. Пусть бы одни дети по недомыслию, а то и взрослые туда же: магазины бьют, аптеки растаскивают, пуговицы, и те сумками волокут... А кто запретит, кто остановит натуру, дорвавшуюся до греха?! Властей нетути, милиция разбежалась. Серега говорит, будто по Дзержинской ветер вместе с конторскими бумажками тройки да пятерки носит... Люди гоняются, друг у друга отнимают... А у меня вся душа выболела: где их, непутевых, носит... Дак за чужое и подстрелить могут...

– Ладно, мать, отыщутся. Есть захочется – прибегут.

– Ты, может, тоже поешь? Я борщичка наварила.

– Да некогда мне! – Фагот озабоченно взглянул на ходики.

– Я моментом! – засуетилась Катерина возле примуса. – Там у вас теперь и вовсе ни крохи. Вон как обрезался.

– Да пока обходимся. Муки разжились. Лепешки печем, чай кипятим.

Катерина налила тарелку горячих щей, возле положила ложку и несколько вареных картофелин – вместо хлеба.

– А-а! – не устояв, крикнул Фагот и, сбросив телогрейку, подсел к манящему вареву.

Ши, несмотря на их жаркость, он выхлебал с поспешностью бродяги. Катерина не дала ему отодвинуть тарелку и подлила еще. И пока он вычерпывал добавку, она, созерцая торопливую еду, тихо радовалась этой его жадности.

Собиралась налить еще и чаю, но он, отстранив тарелку, сложил руки на краю стола и хмельно, отрешенно, уронил на них голову. Катерина хотела было перенести сына на топчан, даже просунула руки под мышки, но поднять не смогла, а только нащупала на крестце под рубахой что-то жесткое, непривычное. Она бережно высвободила из-за его пояса незнакомый предмет и, поднеся его к ночнику, поняла, что это что-то военное, стреляющее.

...Фагот очнулся, когда за окном начало сереть.

– Что ж это я? – испугался он и, увидев на столе самопал, торопливо спрятал его под рубаху. Потом схватил коробок спичек, потряс им возле уха и сунул в карман.

– Ты же не куришь... – заметила Катерина.

– Скажи братанам, пусть не проса, а спичек побольше раздобудут...

И, торопливо застегивая ватник, заговорил:

– Слушай, мать. Сегодня вечером от заводских ворот машина пойдет с теми, кто хочет уехать. Может, и ты надумаешь? Вещичек у тебя почти никаких. Соберись по-быстрому. Ребята пусть помогут.

– Нет, Ваня, – вздохнула Катерина. – Хватит с меня: наездила, находилась. Сам все знаешь. Вот есть у меня в белый свет единственное окошко – других уже не хочу. Нету на это сил. А ты, сынок, ступай! Я тебе уже не подмога. Все теперь будет без меня. Отныне у тебя одна мать – Мать Божья. Надейся, Ваня, на нее.

– Ну, тогда я побежал! – Фагот неловко, полусогнуто ткнулся губами в Катеринину запавшую щеку. – Меня, наверно, ищут уже...

Он бежал по улице, почти не воспринимая ни знакомых домов, ни самой местности с отцветшими газонами, покинутыми табачными и газетными будками, опрокинутыми уличными скамьями и мусорными тумбами. Иногда возле магазинов и прежних закусовых под ногами хрустело битое витринное стекло...

Он бежал и, будто почтовый голубь, неосознанно чувствовал лишь одно направление своего бега.

В той стороне, где находился завод, шла беспорядочная стрельба. Среди поредевших винтовочных хлопков все чаще слышались короткие всхрапы автоматов, как если бы вспарывали серую рассветную наволочь. Время от времени в хмурое предзвездье, прослоенное дымами затухающих пожаров, вскидывались красные и зеленые ракеты, наполняя вислое небо и мрачные после ночи окрестности обманной красотой блуждающих всполохов. Фагот тогда еще не знал, не мог знать, что на языке сражений зеленые траектории указывают, куда следует двигаться, красные – на неожиданные препятствия, на очаги сопротивления. Фагот только про себя отметил, что зеленых ракет было больше, чем красных.

Ближе к Пролетарской площади навстречу Фаготу все чаще стали попадаться куда-то спешащие, озирающиеся мужчины. Некоторые из них, должно, чтобы избавиться от сквозной уличной прямы, торкались в запертые подъезды и калитки, растворялись в неразберихе проходных дворов. На аптечном углу, наспех перевязанный прямо по всклокоченным волосам встречно бегущий человек озлобленно выкрикнул:

– Куда, дурак?! Там же немцы! Всем велено отходить...

«Где – там же?» – не понял Фагот и, не успев уточнить «где именно», ответно еще пуще прибавил бегу и тут же очутился между двух тускло мерцавших рельсов на главной трамвайной улице.

Ниже, в нескольких шагах, на рельсовом спуске, под висячим знаком трамвайной остановки навзничь лежал убитый с на сторону разбросанными руками. Живот его в голубой рубашке круто возвышался меж распахнутых пол пиджака, а на сизой картошине носа меркло светились толстые близорукие очки, и Фаготу почудилось, будто это был Ван Ваныч-местком. При виде убитого он невольно пригнулся и поднырнул под нависшую крону плакучей ивы. Перебегая от дерева к

дереву в Пролетарском сквере, он испытывал гнетущее чувство от того, что опаздывает куда-то или уже опоздал вовсе.

Он собрался было прошмыгнуть к близкой баррикаде и за ней укрыться, но та была разметена на два вороха, с проездом посередине. Под разбросанным баррикадным мусором виднелись еще двое, не то убитых, не то раздавленных гусеницами.

У него воистину обмякли ноги, когда из-за последнего дерева, что укрывало его возле чугунной ограды, сквозь обникшие древесные пряди он вдруг увидел у самого порога проходной фашистский танк. Сперва Фагот принял его за полуторку, которая должна была вывезти из города заводских беженцев, но сквозь путаницу никлых ветвей разяще обозначился белый немецкий крест в черной окаемке.

– Ничего себе полуторка! – возразил Фагот самому себе.

Танк был по самую башню заляпан вязкой осенней грязью, словно покрытый бугорчатой крокодильей шкурой. Между гусеничными катками и рессорными блоками намоталась хлебная солома с еще неотцветшими желтыми ястребинками и придорожным осотом. В башенном люке с откинутой крышкой высился танкист. Он был в нашенской ватной телогрейке, но в своей разлатой каске с каким-то знаком на левом виске. Позади башни желтела притороченная плетеная корзина, из которой танкист брал и хрустко кусал и ел янтарное яблоко. Он жевал не спеша, с видимым наслаждением, как едят вызревшую курскую антоновку.

Немец аккуратно огрыз семенной стержень, оглядел его со всех сторон и, убедившись, что выедасть больше нечего, размахнулся и запустил огрызком в крону ивы, укрывавшую Фагота.

Может быть, этот надменный и самодовольный жест врага был последним толчком, после которого Фагот извлек из-за пояса свое оружие, всегда заряженное и готовое к выстрелу. Он вставил в запальник обломок спички с полноценной серной головкой, после чего осторожно раздвинул ветки, просунул между ними граненый ствол и все так же расчетливо, с холодной неприязнью навел мушку на перекрестье глаз и носа танкиста. Утвердив покрепче ноги, он чиркнул серником коробка по коричневой округлости спички. Жестко, рубленно грохнул выстрел, заполнивший сплетение веток сизым и кислым спичечным дымом. Не дожидаясь, пока дым рассеется, Фагот пустился бежать от ограды, рассчитывая спрятаться за бетонным обводом

фонтана. Но в тот миг, когда он вознес себя над цементным кольцом, вдогон раздалась автоматная очередь, и он, вскинув руки и выронив самопал, рухнул вниз на заплесневелое днище фонтана.

...Его никто не искал, даже тот, в кого он целился, и Фагот еще долго лежал в донной мокроте, скопившейся как раз под ним и уже обогрязавшейся от набежавшей крови. Он то приходил в мутное сознание, то снова терял его, все чаще и дольше. Лишь спустя несколько часов из дверей угальной аптеки, разграбленной и зиявшей черными провалами недавних окон, вышла женщина в белом халате, с брезентовой сестринской сумкой через плечо. В поднятой кверху руке она держала марлевое полотенце и озабоченно махала им над головой. Таким образом она добралась до Фагота, пощупала пульс и наложила йодовый тампон на грудную рану. Потом подняла его голову и положила ее на свое колено. Через какое-то время Фагот приоткрыл глаза и бледными, спекшимися губами попытался что-то сказать.

– Лежите спокойно, вам нельзя затрудняться. У вас серьезное грудное ранение. Сейчас придет наш человек, и мы попробуем перенести вас в провизорскую.

Фагот напрягся и снова попытался заговорить. Медсестра наклонилась к его лицу.

– Попал я или нет? – услышала она горячий шепот. – Только одно слово: да или нет?

– Кто попал? В кого попал? – не поняла сестра, но увидев оброненный пистолет, наконец сообразила, о чем ее спрашивают. И убежденно заверила:

– Да попал! Попал! Молчи только...

Костер на ветру

Ровный майский ветер, напористый и упругий, нагрянувши из теплых краев, разбередил, раскачал старые ветлы, и те, оживая от долгого оцепенения, заплескались, заразмахивали никлыми космами, соря на прудовую воду багряной чешуей лопнувших почек. Дол до краев наполнился этим их пробуждением: старческим скрипом стволов, потрескиванием просыхающих корьевых рубищ, порохом падающих стручков и прутьев, не доживших до весны. И все эти низовые шумы перекрывались заглавным, процеженным сквозь кроны, ветровым солнечным шумом, веявшим горьковатой прянью молодой клейкой листвы.

Из расходившейся раковой чащи взмыли два черных коршуна. Подставив ветру рыжие тельняшки, парусно простерев крылья, коршуны норовили отвесно удержаться в поднебесной сини. Но властный ветер опрокидывал и отбрасывал их вспять. Низвергнутые птицы, трепеща каждым пером и оглашая высь отчаянными воплями: «Кью-ю-ю! Кью-ю-ю!», скользяще пикировали в раковую глушь, с тем чтобы тут же снова стремительно взлететь и еще раз попытаться замереть на ветру в распластанной стойке, подобной гербовому распятию на старинной российской монете.

Временами коршуны как бы теряли управление собой, и тогда ветровой поток сталкивал их друг с другом. Обе птицы падали вниз в едином комке, но над самыми вершинами деревьев вдруг стремительно разлетались в стороны, после чего больший коршун, лавируя меж верхушек, с пронзительным вскриком: «Ки-ки-ки!» яростно и смертно пускался догонять меньшего.

– Вот бы пальнуть! – вожделился Авдей Егорыч, сощуренно наблюдая за птицами. – Выждать, когда они вместе сойдутся, да и сразу обоих...

– А тебе зачем? – поинтересовался Алексей, весь заплаканный от огня и дыма. – Для варева, поди, непригодны.

– А чего они тут? Мало ли других мест...

– Ну и пусть себе, – благодушно дозволил Алексей.

– Как это – пусть? Есть такая примета: где коршун загнездует, там и разор...

– Дак куда еще разоряться-то? – не согласился с приметой Алексей. – От нашего селенья всех-то мужиков осталось: я да ты! Ну, ты хоть с бабкой, а я дак и вовсе запечный сверчок – один трюхаю. Вот скоро приберемся, да и прощай, родимый хутор Белоглин. Сотлеет наша с тобой городьба, уйдут в почву черепки да пуговицы, падут на погосте последние кресты, все землей обровняется, как было допреж, до потопа, и порастет нехоженой муравкой. – Алексей переломил о колено ракитовую сушинку, подсунул ее в костер. – Однако ж ты, Авдейка, не скоро угомонишься. Хоть мы и погодки, а мужик ты справный, доси бреешься. Вон и челюсти стальные вставил... Стало быть, намерен еще долго хлеб перемалывать.

– Ну, понес, понес!.. – досадливо покривился Авдей Егорыч и перевел взгляд с коршунов на свои валенки, заправленные в глубокие мокроступы, на носках которых поигрывало солнце.

– А я, кажись, последнюю весну колтыхаю, – весело оповестил Алексей. – В глазах уже черные мушки начали летать. Гляжу как-то в окно, еще зимой: что такое? Неужто скворцы прилетели? Вверх-вниз шальной стаей носятся. Перевел глаза на печь, а они и по печи тако же!

– Это бывает, – согласился Авдей Егорыч. – От магнитных бурь. Або с перебору. В таком деле рассол помогает.

– Дак оно, может, и лучше, ежели я первый сапоги откину, – дробно засмеялся Алексей, весь сморщась печеным яблоком. – Хоть буду знать, что ты меня на бугор отволокешь. А я тебя, братка, извини-прости, никак не осилю: в тебе, небось, поболе центра дармоедины-то? Так что живи давай...

Алексей, долгий, жердеватый, весь в костлявых остряках, с козым ошметком сивой изреженной бороденки, и впрямь был ветх и квел с виду. Под его щипаным ватником не просматривалось никаких телес, будто одежда висела на голом тесовом кресте. И штаны его, запихнутые в бродни, тоже были пусты, так что ветер трепал и полоскал их вольно и беспрепятственно. И только живые, емкие глаза в подлобных впадинах светились цепко и взыскующе, неусыпно жаждя какой-то истины. Глядя на него, так и вязло назвать, как записано в имяслове: «Алексий – Божий человек».

Авдей Егорыч, напротив, был коренаст и грузен, багров приванным одутловатым лицом с труднодоступными глазками, затерявшимися в складках подглазий. Одет он в теплый пятнастый бушлат, опоясанный по экватору округлой тушки широким командирским ремнем с двумя рядами дырочек. Чувствовалось, что Авдей Егорыч уважал все военное, прочное, обстоятельное, и даже на фронте его серой цигейковой шапки углядывалась вмятина от армейской кокарды. Всю эту экипировку быстрого реагирования, как я узнал впоследствии, Авдей Егорыч приобрел наездами в районе, на привокзальном базарчике в загульные времена дембелей.

Избы – беленая под очеретом Алексея и щелеванная под шифером Авдея Егорыча – стояли друг против друга по обе стороны ставка на взгорьях, поверх низинных ветел. Выставляет ли Алексей новый скворечник или развешивает по плетню для просушки вентеря, красит ли Авдей Егорыч оконные наличники или охаживает ульи в задворном вишеннике – все, как есть, зримо, что деется у супротивного соседа. Так что, когда на Алексеевой стороне заметался по ветру белесый дымок, в скором же времени объявился и Авдей Егорыч.

Я был смущен, что присевший у костра Авдей Егорыч оказался тем самым человеком, который вчера насыпался на меня на плотине. Не успел я сойти с велосипеда, а лишь только опорно опустил уставшие ноги, дивясь переменам, тому, как неузнаваемо урезался зеркалом, зачернел обнажившимся коряжником пруд за время, пока я тут не был, как за моей спиной, будто и в самом деле сваясь с неба, восстал вот этот пегий десантный бушлат.

– Та-а-ак! – устрашающе предварил он дальнейший разговор. – Разрешение имеется?

Я вздрогнул и обернулся растерянно:

– Н-нет... А что? Какое разрешение?

– А вот! – указал он пальцем. – Тут сказано, какое...

Я посмотрел в то место, куда мне указывали.

Высоко на раките висело жестяное объявление с восклицательным знаком, оповещавшее о том, что ловля рыбы в оном пруду строго запрещена и что за нарушение сего – штраф – пятьдесят рублей. К числу «50» впоследствии был добавлен мелом еще один ноль, должно, означавший поправку на инфляцию.

– Ты что, дядя?! – сразу завелся я. – Штраф-то за что? За прорванную плотину? За те твои черные пеньки?!

– Ничего не знаю! – напирал бушлат. – Не положено – стало быть, нельзя.

– А-а, пошел ты...

Мы громко заперечили, зажестикнули руками, не слушая один другого. Уже опасно заискрился матерок, и я не знаю, чем бы все закончилось, если б не Алексей, прибежавший на неладное.

– Что за рукопашная? – спросил он, хватая ртом воздух. – Это ты, Авдей Егорыч, шумишь? Кого заловил?

– Да вот... шлятся тут всякие... – гневно пожаловался бушлат, ища подмоги у прибежавшего.

Но тот, должно быть, углядев в моих глазах зеленую тоску, душевный конец света, умягченно сказал:

– Да чего там! Пусть маленько посидит. Все равно ведь не ловится. Ветер-то какой!

– Ветер – не ветер – нельзя, сказано, – упорствовал бушлат. – Закон есть закон.

– Ну все, защемило грыжу, – отмахнулся Алексей. – Пошли, мил человек, на мой берег, я найду тебе место.

– Ну, Леха... – взъярился бушлат. – Супротив все делаешь... Гляди, дособачишься...

– Ладно, не газуй на ровном...

Алексей сделал мне знак рукой и зашмурыгал сапогами по усохшей колчеватой глине грейдера. Я послушно повел за рога свой велосипед. Отойдя подальше, он воспел не своим, испорченным голосом:

– Зако-о-он! Зако-о-он! Сельсовет из себя корчит. И бушлат с ремнем для этого завел. А дай ему десятку, он и замолчит...

– Он что, от рыбнадзора?

– Да какой там! Когда пруд стоял в полном зеркале – сторожем числился. А плотину сорвало – заодно и его отстранили:

– Чего же он тогда?

– Да это он сам по себе. И насчет штрафа – тоже брехня. Сам же старое объявление и приколотил. Лестницу аж со двора приволок – чтоб повыше да не оторвали. Ну да на моем берегу его штраф не действует..

– Как это?

– А тут такая история, – пояснил Алексей. – Когда от пруда одна чуть осталась, Авдей и говорит: «Давай, мол, Алексей, остачу поды напололам поделим». – «Это зачем?» – спрашиваю. «А затем, говорит, – что ты почти каждый день вентерю ставишь, а я иной раз по неделе дома не бываю. А когда меня нету, небось, и под моим берегом шарисься. А ежели разделимся, тади, дескать, все по справедливости будет: ты лови под своим берегом, а я – под своим». Вижу, Авдей под себя гребет: его сторона поуглубистей, там и русло от прежнего ручья проходит. А где русло – там и главный ход рыбы. Мне же отошла вся луговая, мелкая сторона с пеньками и с мертвостоем. Ладно, думаю, черт с тобой, взяли и поделили.

Алексей обернулся поглядеть, иду ли я, не отстал ли? Дождавшись, подхватил велосипед за левую рулевую поручню – вдвоем, мол, ладнее.

– Ну, да я за крупным карасем особенно не гонюсь, – не противился он разделу. – Мне и мелочь не в убыток. Я сперва сушу, опосля толку в ступе, муку делаю. Для муки все сгодится. Есть мне ничего нельзя, кроме болтушки. Карасиной мучкой и живу. А еще – детскими порошками. Такая моя планида... Ну а тот, Авдюха, накопит корзину и – в район на базар. В бизнец ударился.

Алексей привел меня на тесовое помостье, где я и провел остаток дня в тщетной попытке что-либо изловить на свою пару удочек. Упрямый ветер допоздна гнал косую зеленую волну, гулко и надоедно плескавшуюся под настилом, клал набок поплавки, дугой выгибал лесы, и было ясно, что при такой качке все живое убралось с мелких мест.

Ночевал я у Алексея в сарайке, на сеновале, а проснувшись на заре и выглянув в чердачное оконце, понял по неспавшему ветру, что и сегодня не будет никакого толку.

– Да, незадача... – жалел меня Алексей. – Да ты останься, останься на пару-то деньков. Глядишь, потишает. Майский карась скоро весь на мель пойдет.

Я развел руками, мол, ничего не поделаешь, надо ехать.

И тогда Алексей сплавал на своем дощанике, похожем на поильное корыто, тряхнул в коряжнике вентерек и привез-таки

полведра мелочовки, среди которой попался и один с лапоть, пузцом и дородной сутулостью похожий на захолустного столоначальника.

– Нет, нынче нема делов, – сокрушался он, встряхивая в ведре неказистую добычу.

И вот мы сидим у воды под заслоном белооблитого черемушника. Рьяный костер, будто осьминог, далеко выбрасывал свои огненные щупальца, нехотя пробовал несъедобное ведро, подвешенное на рогулинах, и, отыскав подкинутые сушины, жадно обволакивал их и не отпускал, обращая в тлен и пепел.

Ведро долго не закипало, но наконец забулькало, запарило сушеным укропом, и Алексей, спустив в него карасей, убрал огонь и оставил уху настояться и подобреть на малом жару.

– За ложкой сходить, али ты со своей пожаловал? – поинтересовался Алексей у Авдея Егорыча.

Тот промолчал, задетый, и только натужно покрякал.

– А мы тут решили поминальную ушицу состряпать.

– По какому делу? – не понял Авдей Егорыч.

– Ну как же... Через два дня великий солдатский день... Али забыл?

– А я вижу – дым, дай, думаю, погляжу, кто там балует... На той неделе утку у меня уперли. Гляжу, перья под кустом нащипаны.

– Ага... С дозором, значит. Ты ведь тоже обмотки мотал, давай, входи в долю.

– Я обмоток не носил...

– Ну да, ну да... Конвой завсегда в сапогах, это верно. Дак, может, войдешь в долю? Наша уха, твоя выпивка.

– Я на минутку только, – уклонился Авдей Егорыч.

– А то – давай? За нашу Победу. Перваку, небось, уже выгнал?

– Да не гнал я ничего! – Авдей Егорыч засопел и в сердцах оперся о колоду, готовый подняться.

– Сиди уж... – Алексей придержал его за плечо. – Я ить вижу: уже принял маленько... Ну скажи, принял?

– Не брешу. Откуда видно-то? Я в трубку не дул...

– А зачем – в трубку? По глазам вижу...

– И что ты видишь?

– Шибко бегает они у тебя, моргают.

– Я всегда такой. Когда ветер, я и моргаю. Врачи признали: слезная железа ослабла.

– Ну да, ну да! Ослабла... Вот смотри на меня, а я по часам сверю, сколь разов сморгнешь. Самый верный способ! Давай, смотри мне в глаза, – смеялся Алексей.

– Да чего мне на тебя глядеть? – сплюнул Авдей Егорыч. – Может, на тебя смотреть – не только заморгаешь, а и зажмуришься...

– А-а, забоялся! – Алексей довольно погрозил пальцем.

– Ну, было у меня на донце, ноги берег растереть... – прижался Авдей Егорыч.

– А я разве что? Я ить не в укор, я – в поддержку компании. Одному пить грешно, убого. А на миру – душа нараспашку, как на исповеди! Вот и уха в самый раз поспела. Схожу, ложки принесу.

Вместе с некрашеными ложками-самоделками Алексей принес в рушнике и разложил на опрокинутом тарном ящике все, что нашлось в избе об эту скудную пору: несколько штук бочковых огурцов, несколько уже тронувшихся в рост луковиц, черную хвостатую редьку, связку вяленых карасиков.

Я притянул к себе рюкзак, извлек встречно свою долю: пару плавленных сырков, кусок вареной колбасы, серый батон хлеба, набор полиэтиленовых туристских стаканчиков и бутылку «Столичной».

– Куда с добром! – возликовал Алексей и в свою очередь выловил из ведра и рядом, как безвременно погибших, разложил на рушнике белоглазых отваренных карасиков со смиренно сложенными по бокам плавниками, а в большую эмалированную миску начерпал знойно парившей ухи и поставил посередине, чтобы всем было доступно и ловко доставать ложками.

При виде этой щедрой столешницы, источавшей простой и крепкий дух огурцов, лука, крупно напластанной редьки и горячего варева, смешавших свои ароматы с запахом близкой черемухи, горьковатого ракитового ветра и взопревшей подножной земли, на которой все мы тут сидели и пылал наш костер, – от всего этого отмякла и занялась всепрощеньем душа и возжелала всеобщего братства и согласия.

Алексей расторопно распечатал бутылку, разлил по мягким манеркам и оповестил дрогнувшим голосом:

– Ну, мужики! Давайте вот за что... Мы с вами еще вон сколь прокоротали... Можно сказать, весь оборот жизни прошли... А те, братки наши шинельные, уже полвека где попало лежат... и по России, и по-за ее пределами. Кто под братской плитой, а кто и вовсе неприбранно... Давайте помянем их, бессловесных и безответных...

Мы с Авдеем Егорычем, сидевшие рядом на одной колоде, отрешенно, каждый глядя в свою чарку и бормоча виноватое «пусть будет пухом...», выпили свое. Не выпил только Алексей. Держа перед собой стаканчик, он отошел с ним в сторону, отвернулся, свободной рукой расстегнул ватник, задрал на животе рубаху и, как можно было понять по его движениям, вылил свою водку куда-то под одежду.

– Что это он? – удивился я.

– А-а... – хрустя огурцом, сказал Авдей Егорыч. – Он всегда так... В лейку сливает. Говорит, будто ранение у него такое.

Жалость ознобила меня, но Алексей, как ни в чем не бывало, повернулся со светлым лицом и, шутливо расправляя на стороны будто бы намоченные усы, весело похвалил:

– Хороша, родимая! Соколом пошла!

Я скорбно глядел на Алексея, забыв о еде, и он, перехватив мой сострадающий взгляд, добродушно загостеприимничал:

– Ешьте, ребята! Юшку стербайте! Она хороша, пока горячая. А меня простите, что я не с вами. Нельзя мне за столом, при людях. Не обращайтесь внимания. Эх, да чего там! Гляди, какая красота! Солнушко! Небушко! Землица проснулась! Ужли не. диво!

Отхлебавши ухи, выпили и еще, на этот раз чокнувшись об Алексееву чарку под добрый знак: «Побудем живы!»

Алексей, все так же отойдя в сторонку и отвернувшись, слил свою долю под расстегнутый ватник, а следом сцедил туда и ушницу из припасенной баночки, предварительно выбросив ложкой картошины и вареный лук.

После двух стопок Алексей заметно охмелел, благодатная улыбка не сходила с его лица. Он снял ватную ушанку, огладил книзу, на лоб, взмокшие седые волосы и, подставив вощенное лицо солнцу, зажмурился блаженно. И было видно, как на опущенных округло-выпуклых веках бились синие жилки – секунды бытия.

В весеннем азарте, утратив обычную осторожность, над нашими головами, бреюще, так что виднелись поджатые желтые лапы,

стиснутые в кулачки, пронеслись один за другим все те же два коршуна. Черные птицы с упругим посвистом крыльев провиражировали в нервном зигзаге, правя свой стремительный лет чутким креном выемчатых хвостов. И разносилось окрест резкое, однобокое, рвущее ракитовый шум: «Ки-и! Ки-и! Ки-и!»

– А ить это мы с тобой, Авдейка! – объявил Алексей, поводя взглядом за коршунами до того момента, когда они вновь круто взмыли ввысь и там замерли друг против друга в мгновенном противостоянии. – Который поувалистей, погорластей – это ты.

– А ты какой же? – вяло отозвался Авдей Егорыч.

– Я – вон тот, что поплоче, поощипанней...

– Ну-ну... Чего еще наплетешь?

– Всё, как у нас: сколь живем, столь и шпинаешь ты меня, сживаешь со свету.

– Ну, понес! Понес! – голос Авдея Егорыча обрел раздраженную трубность. – Ну и язык у тебя, Лешка! Минуты не пройдет, чтоб ты не намутил, не набрехал чего-нибудь. От языка твоего и весь несклад твоей жизни, вся худоба.

– Язык мой теперь свободный! – засмеялся Алексей. – Я им не ем, содержу в чистоте, только для разговора. С хорошим человеком – по-хорошему, с худым – по-иному...

– Это когда ж ты со мной по-хорошему балакал? – разгорался Авдей Егорыч. – Ты ж не можешь, чтоб сказать по правде.

– Это не язык мой, а уши твои кривят, прямое на кривое переиначивают. Почистил бы...

– Ну вот, ну вот! – Авдей Егорыч досадливо охлопал свои коленки. – Опять же брехня! Уши мои справные, никогда не отказывали. Комар за десять шагов летит, а я уже чую...

– Небось, на вышке натренировался... – весело предположил Алексей. – Это верно, туда тугоухих не поставят.

– Мели, Емеля! – огрызнулся Авдей Егорыч. – Ну и трепло ж ты, паразит! Что ни слово – все с вывертом, все враслопырку. Ты и про себя все напрочь врешь... Тут с нами посторонний человек сидит. Расскажи, расскажи давай, как ты будто бы один-разъединственный целую роту немцев разогнал... Вот давай свою брехеньку, а человек пусть послушает и скажет...

– Ну, было такое... – кивком подтвердил Алексей, жмурясь, закрывая глаза от солнца. – Ну, может, и не рота, а довольно их было.

– И как три танка захватил?

– Немцы сами их бросили...

– Хе-х! Как же это так – бросили?! Увидели тебя – и драпанули?

– Все верно... – лукаво кивнул Алексей.

– Ну, умори-ил! Во дает! – Авдей Егорыч откинулся так, что сронил с лысины шапку, зареготал язвительным хохотом. – Почище Васи Теркина. Тот этак-то не брехал, край знал, докуда можно. А ты безо всякого края. Да за такие дела тебе Героя с ходу надо бы давать. А у тебя и худой медали нету. Чего ж командование-то не оценило?

– А его там не было...

– А кто же был? Кто-нибудь да видел?

– Никто и никого...

– Один ты, что ли?

– Один я...

– Ну, елкой твою мать! – развел руки Авдей Егорыч. – Ну, что ты с ним будешь делать?! Врет, а ты терпи, слушай.

– Ладно, коршуна! – вмешался я. – Давайте на костер плеснем. А то искры больно летят...

С этим действием все были согласны, после чего, улучив благодушную минуту, я попросил Алексея все ж таки рассказать толком, как на самом деле было.

– Это где же, на каком фронте?

– Да какие там фронта! – поморщился Алексей. – Только начали выгружать наше пополнение – вот тебе юнкера. Ну, и началось!.. Остались мы без жратвы, без боеприпасов да так и подрапали налегке... Только прикажут окопаться – немец уже эвон где: то справа, то слева обошел... И опять – дай бог ноги...

– Где хоть это было-то, ну, места какие?

– А леший его знает! В каком-то поселке, кажись, опосля Бобруйска. Я ить и не помню, где мы там блукали. Отходили все больше ночами. Глядишь, там горит, там полыхает, а какие города, какие поселки – кто знает? Карта солдату не положена, ее и у командиров не было. Разве где школьную подберет. А днем от самолетов по кустам ховались, лесами и пёхали...

– Ну и как же все получилось?

– А что получилось? – не понял Алексей.

– Ну... насчет того поселка?

– А-а... – поскуchnел Алексей. – Да то был и не поселок вовсе. Так, пеньковый заводишко, кастрикой заваленный. Ну, а получилось как? Шли мы на переправу, совсем в другом месте от этого заводика. Где-то севернее немец завис над нашими тылами, было велено отойти за реку, чтобы не потерять последние пушки и все колесное. А на переправе – пробка на полторы версты: грузовики, трактора, упряжная артиллерия, телеги, беженцы с тачками, скот, пешей солдатни полно. Крик, ругань, бабы галдят, коровы мыкают... Небритый комендант нагана из рук не выпускает. Слава богу, хоть дождь моросил, самолеты не летали... Ротный побежал выяснять, а мы на всякий случай свернули в обочные сосенки.

Сидим, передыхаем, покуриваем, переобуваемся, портянки сушим...

Смотрим, ротный обратно бежит, планшетка по бедру хлопает. С ним какая-то бабенка в шинелке, между полами белый халат промелькивает. Ротный еще издали кричит нашему помкомвзводу: «Агапов! Бери десять-двенадцать человек, поедешь вот с ней... с этим товарищем».

«Товарищ» оказалась в годах, под береткой седые волосы, худая, опавшая, нос, как у вороны. Глаза, вижу, зареванные, небось, с комендантом ругалась, а может, и еще по какой причине ... Стало как-то нехорошо, тревожно на душе: куда? что? А ротный наставляет: «Управитесь – догоняйте! Я коменданту записку оставлю, где нас искать. А про остальное – вот она все скажет. Вы теперь в ее подчинении. По званию она капитан, так что давайте...» А чего давать-то? И та ничего не говорит, а только торопит: «Товарищи, побыстрей обувайтесь, пожалуйста!» А сама долгие пальцы, сведенные стропильцами, всё к серым губам подносит...

Ну, мы, двенадцать человек, обулись, закинули за плечи вещмешки, Агапов прихватил «дегтерю» с двумя запасными дисками, потопали. Невдалеке санитарная газушка стоит с красным крестом на боку. У шофера голова забинтованная, сукровица на виске проступила, из-под бинтов опасно в небо косится, видать, не нравится это людное место, машину не выключает. Спрашиваем его: «Куда хоть

едем?» – «Да тут, говорит, недалеко. Мост надо поправить». Ну, мы повеселели: работать – не стрелять, дело подходящее.

Поехали. Вскоре затрясло, закачало, шофер запереключал скоростями на ухабах. В заднем оконце замелькали сосны. Ясное дело, какой-то глухой дорогой едем. Потом деревья перестали мелькать, стало опять видно одно небо, в оконце посветлело, наволочь поднялась и дождем больше не дробило по крыше. Машина прибавила ходу, должно, выехали на открытое, на колевую дорогу.

Слышим, стук кулаком из кабины, шофер орет благим матом: «Мессера! Все из машины!»

Мы посыпались из железной будки, разбежались кто куда, попадали в траву. И правда, два «мессера» друг за другом над самой землей, и сразу: «Тра-та-та-та! Ба-бах!» Мелькнули белые кресты, обдало бензиновой гарью, забарабанили комья взорванной земли. Еще два самолета промчались чуть стороной. В один миг немцы исчезли за лесом и где-то там опять: «Шара-ах! Шара-ах!» А потом еще: «Бах – бабах! Тра-та-та-та!..» Должно, лупили уже по переправе.

Отряхнулись мы, залезли в кузов, а там три светлые дырки в потолке...

Алексей потянулся за сушняком, бросил несколько коряжин на тлеющие угли и помахал шапкой, добываясь огня.

– Ну, приехали мы на этот пеньковый завод, вышли из машины. Не поселок, а так – поселишко. Налево – сам завод – долгое кирпичное строение с веселой купецкой лепотой, позади – склады, всякие службы. Направо – улица из нескольких домишек. А между ними – вроде как площадь с бюстом Ленина и Доской почета. На Доске еще целы портреты стахановцев. А внизу – речка и тот самый мост раскуроченный.

Глядим, «мессера» и тут побывали: дымился, догорал один из складов, по всему двору курились ошметки извергнутой огнем пеньки, сам двор воронками исклеван, а на задах две женщины в белом что-то копают лопатами... Наша капитанша как остановилась, так и осталась стоять, обхвативши руками беретку. Увидели ее те две женщины, бросили копать, прибежали с криками: «Ой, Анна Константиновна! Что тут было! Что было без вас! Вот, видите, что наделали, сволочи?! Иванькова насмерть убило! Помните, что без двух ног? Вот, копаем... Остальные, слава богу, целы, в другой склад перенесли».

– Это что же – госпиталь был? – догадался я.

– Ну да! – кивнул Алексей. – Полевой санбат какой-то дивизии. А где сама дивизия – никто не знал. Связи с ней не было никакой.

Собрались было медики эвакуироваться своими силами, вот тебе немецкий самолет. Покрутился, выглядел тамошний мост, снизился и саданул фугаской. Бомба вырвала под тем берегом метров двенадцать, раскидала настил, повалила опоры. Сами раненые кое-как перекинули над провалом две латвины. Там, за рекой, верстах в десяти, была какая-то станция. Туда они и потопали, кто как мог: кто на костылях, кто в обнимку. С ними ушли провожатыми два санитар и несколько семей из поселка. Добрались они до станции или нет, никто не знал: санитары назад не вернулись. В поселке остались одни тяжелые, человек сорок. Лежали они в заводских складах, прямо на пеньковых тюках. Пенькой их и перевязывали вместо ваты. Провизия тоже кончилась, кормились с брошенных огородов пустыми капустными щицами, мятой картошкой да подсоленным отваром из-под нее... И у нас с собой ничего...

– Да! Положеньице! – посочувствовал я.

– Потому начмед, та самая Анна Константиновна, и решила починить мост, чтобы за несколько рейсов вывезти всех тяжелых на своей санитарной машине. Хотя бы до той самой станции. Тут было ближе и безопасней, чем колесить в объезд, через войсковую переправу.

Ну, оглядели мы этот мост. Бомба раскурочила его основательно, главное, повалила опоры. С правой стороны все сваи как бритвой срезало. Видать, центнера на два жакнула чуха. Двенадцать метров прогона – дело не шутейное. Надо было нить новые сваи або подводить козлы. А сперва – материал припасти – напилить сырья или же разобрать подходящее строение. Чем попало мост не залатаешь. Да все это снести на берег, обмерить, опилить, затесать стыки – легко сказать! Возни порядочно. На все ушло бы дня два-три, а то и поболее. А время-то тикает, душу щемит: немец ждать не будет, пока мы управимся. Разведка его шныряет, нюхает, где слабинки да пустоты в нашей обороне. Так что каждую минуту в тревоге. Все, бывало, прислушиваемся, не стреляют ли где... А каково тем, бедолагам, что на пыльной пеньке в темном сарае обездвиженные лежат? Ими вовсе мир с овчинку, жизнь на волоске.

– Ну да ладно тебе! Я ж не плясать тебя заставляю. Ты – помаленьку да полегоньку, а там – и побежишь, знаю. Все равно зря сидишь: все, что я тут балакаю, ты ить слышал. Неинтересно тебе это, враки мои.

– Экий ты, паразит, настырный! – Авдей Егорыч однако встал, нарочито кривясь и морщась, и молча поковылял к плотине.

– Только, слышь, приходи! – крикнул вдогон Алексей. – А то возьмешь и запрешься на завалку. С тобою станется... А я зря ждать буду.

– Ладно, приду, – не оборачиваясь пообещал тот.

– Ну что... – вернулся к рассказу Алексей. – В июле дни длинные, солнце еще токмо заводскую трубу начало задевать, а мы уже с плотом управились. Вязали прямо на воде. Три телеграфных столба упластали вдлинь, штук двадцать пятиметровок с сарайки уложили поперек, где проволокой скрепили, где скобами. Нашлись две порожние бочки из-под горючего, их по краям приторочили, чтоб не было боковой качки. Через речку перетянули веревку. Вережка, правда, лохматая, в один жгут, но – как получилось. Отпихнули чуток, держим баграми, шофер по накинутым лавам тихонечко-тихонечко тронул машину, смотрим, плот осел, в санитарке все-таки более двух тонн весу, вода показалась меж бревен, но ничего, обошлось. Ну и оттолкнули мы с богом. Шофер с плота веревку перебирает, мы, раздевшись, бредя в воду, баграми придерживаем, пока глубина позволяла. Потом отпустили, само пошло. Машина благополучно переправилась и выехала на ровный берег. Куда хлопотней оказалось с ранеными. Медперсоналу надо было переписать, подготовить личные дела, а нам – сперва вынести из склада, потом с носилками – а их оказалось всего пара – спуститься к реке, перенести по доскам на плот, уложить, на том берегу опять перекласть на носилки, подняться на берег, переместить в машину. Это ж тебе не мешки, а живые люди, они стонут, матерятся, хватаются за руки, закусывают губы от каждого неловкого движения. Так что пока переправили партию, пала глухая ночь. В машину запихивали уже потемну, шофер жег зажигалку и светил в лючок из кабины. Четверых тяжелых поместили прямо на полу, на пеньковой подстилке, двоих пристроили на подвесных боковых койках, а кто мог сидеть – тех устроили на откидных сиденьях – всего вошло десять человек. А их осталось еще тридцать. Правда, двое умерли уже при нас. Стало быть

– еще на три таких ездки. Это ежели и дальше все обойдется... Да еще не было известно, куда их девать на станции. Поэтому в первый рейс поехала сама Константиновна, не спавшая уже какие сутки.

За день мы тоже вымотались до упаду, даже на гору больше не пошли. Сестра-хозяйка принесла нам ведро горячей картошки, поели без хлеба, покурили да и легли у воды, благо, пенька и тут выручила: натаскали ее изрядно, чтобы устлать плот.

Часу в четвертом побудил нас автомобильный гудок с того берега: наши приехали! Зашевелились мы нехотя, кажется, вот-вот только заснули, во всех костях гуд, ломота после вчерашнего. Реки не видать, должно, туман сел, гимнастерки набрякли, зябкий дрожак бьет. Зачиркали зажигалками, закурили. Слышим, по лавам, по остатку моста шаги: Константиновна топает. Подошла, закурила с нами. Красный жар махры высветил ее острое, обрезанное лицо с резкими тенями на салазках. «Ну, как там?» – спрашиваем. «Бомбят, сволочи! Возле путей одни горелые коробки. Пока положили в школе. Да там и без наших уже полно раненых, кто откуда. Начальник станции обещает отправить при первой возможности. Вот, говорит, если не разбомбят вагоны с колючей проволокой, к вечеру разгрузим, ими и заберем.

Константиновна увидела взбуровленную пеньку и прямо-таки пала на колени: «Ох, товарищи, я тут полежу минутку... Если что – разбудите... А вы начинайте, пока сверху не видно...»

За рекой, над лесом, проступила вялая бледность – вставала новая заря. Мы подхватили носилки и побрели в гору – начинать еще один неведомый день.

С плотом мы управились еще до солнца. Загрузили машину, и та ушла.

А ровно в шесть, будто по графику, снова загромыхало. Уже не на севере, а на северо-востоке, как в большую обложную грозу. Видать, немцы, проспавшись и попивши кофею, принялись за свою работу – заводить свой железный невод. Через недолгое время они сведут его концы, вытряхнут богатый улов и довольно, старательно пересортируют, кого – куда: раненых добьют, живых погонят в лагерь, собак перестреляют на шапки, скот отправят на колбасу, а железо – на переплавку...

А вскоре по реке густо повалила поруха: вырванная с корнем осока, древесная щепка, совсем свежие ракитовые ветки, доски,

ощеренные гвоздями, бревна... Осевши на один бок, сундуком пронесся тюк прессованного сена. По нему туда-сюда бегала суетная трясогузка, тикала долгим хвостом. Следом огрузло, нахлебавшись воды, опрокинутая вниз дном проплыла, посверкивая лакированным козырьком, армейская фуражка с красным околышем, может, даже и генеральская... Спустя к опорам моста прибило гнедую лошадь. На ее вздутом, мокро блестящем боку посверкивали латунные бляшки на ременной шлее... Никто не знал, откуда несло эту погибель – река-то длинная... После вчерашних «мессеров» от той переправы, где мы были вчерашним днем, такое же месиво поплывет в этих местах, только спустя двое-трое суток. А еще дня через три закачаются на зеленой воде всплывшие трупы...

Машину решили не дожидаться, а сразу начали носить раненых для следующего плота. Правда, было опасение, что могут налететь самолеты. Но и в складе держать людей – хорошего мало, тем паче, что один склад уже сгорел от бомбежки. «Уж ежели погибать, – говорили сами раненые, – дак лучше здесь, на бережку». Они лежали в исподнем, прикрытые шинелками, и было видно, как после сарайного мрака радовались разгороженной воле, просторному небу над головой. Угостили куревом, расспросили, нет ли среди них земляков. Все они оказались нашего, шестьдесят третьего, корпуса, разрозненного лесами, и теперь не знали, где он и что с ним. Да и мы тоже про то не ведали...

И вот тут, пока мы балакали, над крышей завода метнулась красная ракета, и сразу полоснуло долгой пулеметной очередью. А втемеже еще и еще раз...

Мы переглянулись оторопело, будто не понимали, что это такое, хотя каждый про себя ждал, ходил, жил и спал с этим... Первым вскочил Агапов, заорал, вздулся шеей: «Двоим остаться, остальные – за мной! Где винтовки, мать-перемать, сколько говорил, иметь при себе!» – хотя сам был тоже с пустыми руками.

Винтовки наши были наверху, да и чего их, казалось, таскать с горы да в гору. Зато и взбежали мы, порожные, что было духу. Сестры вместе с Константиновной тоже высыпали на заводской двор. Прибежали, схватили оружие, смотрим, в чердачное окно пулеметчик Кукода высунулся, не то перепуганный, не то обрадованный. «Товарищ сержант! – кричит он Агапову. – Только что немцы были!» – «Как –

были?» – «На двух мотоциклах с колясками. Один мотоцикл я сразу срезал, а другой умотал, гад! Пыль поднял такую, аж не видно, куда стрелять... Но зато того я садану-у-ул! Аж кверху коляской завалился!» – «Ладно, заткнись! – помрачнел Агапов. – Теперь жди привета!»

...Наконец вернулся Авдей Егорыч, не ко времени перебивший рассказ Алексея. Цигейковую шапку он сменил на красный вязаный «петушок» с веселым махорчиком, делавшим его просторное багровое лицо забавно заостренным кверху и похожим на кочета с зазубренным гребнем. Он извлек из кошель и выставил на тарный ящик неполную бутылку, заткнутую газеткой, шмат сала, банку румяных маринованных помидоров пополам с желтыми перчиками.

– Ну, жани-их! – восхитился Алексей. – Хоть на полтинник чекань!

– В шапке жарковато стало, – польщенно сказал Авдей Егорыч. – Вот, принес прошенное...

Алексей потетешкал в руках бутылку с желтоватым питьем: – Ты уважил бы, медком сдобрил-то...

– Разбавил, разбавил, – заверил Авдей Егорыч. – Не видишь, что ли?

– Ну, тогда порядок в отставных войсках! – объявил Алексей и, сощурясь, прицельно разлил по стаканам. – Давайте, служивые!

Бесшумно торкнулись чарками, Алексей, прихватив помидор, как и прежде, пошел за черемуховые кусты залить свою дозу. И уже возвращаясь, отбросив выжатую помидорную шкурку и освобожденной рукой запихивая в штаны рубаху, на ходу продолжил прерванное.

– Ну, такое, значит, дело... Всем скопом, женщины тоже с нами, пошли смотреть подбитый мотоцикл. Честно сказать, никто из нас, разве что Агапов, не видел убитых немцев. Бить – били, а битых не видели, потому как всё назад да назад... Лежат ли они над люлькой крест-накрест, во всем своем виде чужие, страховитые, какими бывают приконченные волки. Который за рулем, так и окорячивал сиденье, прижатый машиной. Сам – в темных, глухих очках под насунутой каской, руки в долгих кожаных перчатках похожи на скрюченные лапы. Второй вывалился из люльки навзничь, придавил нижнего, каска съехала на затылок, было видно рыжее лицо, забрызганное

веснушками. А ресницы белые, как у молодого кабанчика. Веки не успели прикрыть остекленные глаза, и они пусто таращились на всякого, кто в них заглянет... Немцы были в черных комбинезонах, рукава закатаны по-за локти. На обоих черные автоматы, какие-то ребристые коробки, а на шее – желтоосмыганные бинокли. Одна из сестричек, Татьяна, заглянула за мотоцикл и сразу отпрянула: «Мама моя, страшные-то какие! Как с чужой земли!»

Мотоцикл оказался простреленным и непригодным. Агапов попробовал отвинтить люльковый пулемет, но что-то не получилось. Тогда он снял с убитых автоматы, вытащил из-за голяшек запасные ложки, велел принести ведро и слить из бачка горючее: «Разольем по бутылкам – мало ли что...» Из карманов выгреб курево, зажигалки, серые немецкие копейки. Потом снял с обоих часы и одни, покрасивше, протянул Татьянке: «На, носи!» – «Да вы что? – отстранилась она. – С убитого?» – «А я возьму! – твердо сказала Константиновна. – Мне часы нужны, пульс не по чем мерить. Оботру спиртиком – небось, и мне не соврут».

– Это же горе, какие мы были вояки! – всплеснулся Алексей. – Часы разглядываем, монетки, фотокарточки из ихних кошельков: «Глянь-кось! Это тот, рыжий, должно, со своей невестой!» – «Фу ты, краля какая!» – «А это очкарик с охотничьим ружьем и собакой, гляди, битыми петухами обвесился». – «Это не петухи, это фазаны, птицы такие». Таращимся этак, мишуру вырываем другу друга, а сами на открытом месте собрались-то, да еще женщины в белом, далеко, небось, видать... Тут и шарахнула мина, совсем близко вскинулась рыжим, пыльным кустом. Ясное дело, первая пристрелка! Сейчас за тем бугром немец подкрутит ручку, и следующая мина как раз будет тут... «Бегом! – заорал Агапов. – Перебежкой, перебежкой! И сразу ложись!» Едва мы отбежали и попадали, как вот тебе три мины, одна возле другой, аж мотоцикл перевернуло кверху колесами. И началось, началось, голуби вы мои!.. Лупил, лупил по дороге, начал бить по заводу, вылетели все наружные стекла, подломилась и повисла на одной жилке железная заводская труба, разворотило крышу. Пулеметчик Кукода кубарем слетел с чердака. Ладно, в склад не попало...

Минут этак пять немец бегло крошил и рушил, а потом замолчал – посмотреть, как себя поведем, чем ответим? А чем отвечать? У нас

всего-то один «дегтярь», остальные – винтовки. Ну, еще два трофейных автомата. Правда, некоторые легкораненые поступали сюда со своим оружием, и Константиновна прятала его в подвал. Там нашлось еще несколько винтовок, сколько-то подсумков с патронами и кучка лимонок и противотанковых гранат. В общем, не густо.

Пока было тихо, Агапов собрал всех на короткую планерку, распределил, кому и где держать оборону. Порешили больше не связывать себя с санитарной машиной, а вынести раненых всех до единого из склада, переправить их на ту сторону, а остатки моста взорвать, чтобы немцы не могли его починить. Пока они наведут новый, мы будем уже далеко.

Мне и еще одному – Хлопову – досталась дорога – на тот случай, ежели появится какая техника. Другого въезда в поселок не было. Агапов выдал нам по бутылке бензина, сказал, что больше нету, остальное горючее Константиновна велела отдать шоферу, ему, мол, каждый грамм дорог. А еще осталось по противотанковой толкушке РПГ. Агапов спрашивает: «Бросал когда?» – «Нет, – говорю, – не приходилось...» – «Все просто: вырываешь чеку, вот эту вот штучку, а рычажную скобу, вот она, зажимаешь ладонью. Смотри, до броска не отпускай, а то могилу под тобой выроет, а хоронить будет нечего... Усек?» – «Ну, усек...» – «Повтори!» – «Да ладно, не забыл». – «И вот еще: граната увесистая, дальше двадцати метров не кинешь, так что не трусь, не швыряй раньше времени. Поближе подпускай, чтоб наверняка. Все понял?» – «Да вроде все...» – «Ну, вот и давай... Оставаться тут, пока всех не отправят. Отходить по зеленой ракете, как договорились».

Стали окапываться, рыть ячейки, каждый себе. Хлопов – у того края дороги, я с этого, со стороны завода, метрах в трех от его угла, так что мне сразу две стены видно: и ту, которая к немцам, и которая на выгон, где Ленин стоит. Земля иссохшая, глыбистая, лопата идет туго, приходится больше рубить. Копаю, а сам поглядываю по сторонам. Впереди – клеверное поле с горбинкой, версты за полторы небом кончается. Где-то там, за гребнем, немец затаился... Глянул назад – вижу все лесное заречье, зелено, хорошо так... Плохо только – не видно моста, не знаешь, что там делается, заводская стена застит. У Хлопова позиция получше: как раз над окопом разлатый куст торчит, маскирует Хлопова, можно хоть по пояс высовываться. А главное –

видно всю переправу. Кричу ему, чтоб поглядывал туда, держал в курсе. – «Да гляжу, гляжу...» – «И чего?» – «Сестры туда-сюда с носилками бегают, кажись, последний плот собирают...»

Вдруг опять: шара-ах! шара-ах! – минами. Обвалом, без передыха. С заводского двора ключьями взвилась кострика, вороньем закружила в небе. Враз все затянуло пылью, толовой вонью поволокло... Хоп, из-за косогора выскакивают два немецких грузовика, мчат напропалую. Подскочили поближе, через борта шпрыгала солдатня и давай вправо-влево рассыпаться, цепью ладиться. Бегут, из автоматов хлещут.

Сам Агапов стал за пулемет, с кирпичного чердака, с обзорного места долгой очередью полоснул по машинам. Одна втемеже полыхнула, занялась жарким пламенем. Вторая даже не развернулась – задом, задом укатила за бугор. Слышу, запухали наши винтовки по разным местам, нескладно, разнородно. Рядом Хлопов раз за разом садит из-под своего куста. Я тоже начал стрелять, когда немцы поднимались и перебегали. Сведу рамочную прорезь с мушкой, выжду, пока фриц сам на мушку набежит, нажму пальцем – вот тебе вскинулся руками, обронил автомат... Пересуну затвор, выцеливаю нового... Ну да из винтовки много-то не настреляешь, эвон их сколько! И все из автоматов метут, будто горох пересыпают. Пули то и дело – фьют, фьют! – над головой. Вроде голодные пчелы проносятся за взятком. Рядом кирпичная стена от их очередей курится красной пылью...

Но Агапов – молодец! Уложил-таки фрицев, прижал к земле, ловкими очередями не дает им раздгону. Гляжу, шевелятся клевера, мелькают саперки: немцы принялись окапываться, лежа рубят клеверную дернину, выгребают землю из-под себя. Значит, уходить не собираются, будут ждать подмоги... Эх, побыстрей бы, думаю я про плоты, побыстрей надо б...

Посмотрел за дорогу: над Хлоповым окопом вьется дымок. Самого не видно. Небось, сидит на дне, выдохся солдатик. У меня тоже руки дрожат: не могу огнем поймать сигарку. Не со страху, а от напряжения. Оно боязно только до стрельбы, когда ждешь. Думки всякие вертятся: ежели поранят – вылезу ли сам из окопа, ну, и хуже того... Когда ж впервой тряхнет землю, тут только зубы смертно зажмешь и – давай! А вот опосля, когда все стихнет, отпустишь стянутые жилы – вот тут-то и начинает колотун забирать.

Кричу в обе ладони: «Эй, Хлопов! Живой?» – «Жив пока...» – «Много немцев набил?» – «А хрен их знает...» – «Чего делаешь-то?» – «Курю, чего еще...» – «А ты как узнал?» – «Да вон сестра-хозяйка с узлом на спине под горку скандыбает, должно, хозяйство свое на плот несет». – «А плот где?» – «На этой стороне». – «Нам бы еще полчаса продержаться...» – «А там чего?» – «А там – зеленая ракета!»

Покурили, поговорили этак, еще подладили свои окопчики, не знаю, сколь прошло времени, как немцы опять принялись долбить минами. Гадкая это штуковина – мина: от пули за всякой кочкой можно укрыться, даже за воткнутой лопатой, а эта, сволочь, и на дне окопа достанет, и хоть за каменной стеной. Она ить в отвес падает, прямо с неба, будто кара от самого Господа Бога. Убрался я в окопчик, втянул голову, но от этого еще муторней, потому как не видишь, что делается наверху. Улучил минутку, зыркнул поверх кучки земли – мать честная – танки идут! Три штуки из-за бугра вылезли, пока нас минами колотили. Один прямо по дороге, два – обочь, по клеверам который по дороге – этот точно по мою душу. Вперился в него глазами, как примагнитило. Покошусь на тех двух и – опять на своего. Говорят, так-то гадюка жертву к себе привораживает. Едва успел ухватить глазами, будто светануло у него на башне, как тут же, в един дых, с хлюпом и свистом, аж обдало сквозняком, пронеслось что-то над головой и, когда грохнуло позади, далеко за речкой, только тут понял, что это из танка. Не знаю, куда он целил, но если в меня, то взял высокогато маленько...

Танки не шибко спешат, небось, знают, что против них у нас нет никаких средств, даже паршивой пэтээрки. Останавливаются нахально, водят головастыми башнями, ищут, куда пальнуть. И бьют, особенно по самому заводу, аж в мой окопчик нападало кирпичного крошева. Вот они поравнялись с полеглими автоматчиками, те повскакивали, пристроились сзади, попрятались за броню. Они идут, а ты, как дурак, торчишь в своей ямке и ничего не можешь поделать. Вот тут и заползает в душу ознобная робость. А может, и к лучшему, ежели бы ранило... Ну, не сильно, а так, черкнуло бы по плечу или еще как... Крикнул бы Хлопову, дескать, так и так, давай помогай. И мы бы с ним, он – как провожатый, под стеночкой, под стеночкой, а там вниз – и на плот вместе со всеми... Никто ничего не сказал бы, имеем такое право. Ну, ежели так, тогда и вовсе всем крышка, и нам с Хлоповым –

тоже. Выскочит сюда танк, увидит плот с ранеными и жахнет по нему без всякой промашки. И поплывут, как тогда, по реке щепки и бревна, пеньки и окровавленные, изодранные в клочья шинелки. А дня через три всплывут и сами бедолаги и замелькают на воде их белые рубахи и подштанники, а среди них – и мы с Хлоповым. А потом уже по деревьям заголосят, зайдутся от черной юдоли бабы, прижмут к подолом своих сырых, замолкших воробушков, получивши бумажки о пропаже без всякой вести... Вот такие мысли забредают в голову, пока нечего делать. И я хватаю винтовку, зажимаю зубы и начинаю бить по своему танку в тупом расчете, что, может быть, хоть одна пуля да залетит в какую-нибудь щелку и врежет гада между глаз.

Таки досадил ему! А может, это и случайно... Как звезданет по дороге, как раз между моим окопом и Хлоповым! Да не раз, а через минуту-две еще раз, едва успел убрать голову. Окликаю Хлопова: «Эй, сосед! Живой?» – Молчит... – «Эй, слышишь?» Опять молчит. Высовываюсь, гляжу – куста как не было... А и место окопа – воронка дымится...

Вот, братцы вы мои, какова солдатская жисть... Только что курил и враз – нету, как не было... Подвел его этот чертов куст. Торчал один у дороги, показался танку подозрительным... Давай, Авдейка, улей по граммуске, не могу я этого вспоминать...

Алексей утер кулаком завлажневшие глаза, крикнул, потряс седыми вихрами.

– Ну ладно, ну ладно, все хорошо... – виноватился он, все еще потряхивая головой. – Все хорошо...

Скорбно выпили, и он, взбодрясь, зарассказывал снова:

– Метрах в трехстах немецкие автоматчики опять рассыпались по полю, открыли пальбу. За танком прятаться хорошо, да стрелять нельзя... Стало быть, пошли в последнюю атаку. Тут бы секануть по ним из пулемета, но Агапов что-то молчит, теряет время... Трофейные автоматы похоже, куда-то подевались. Слышны только одни винтовки, три, не то четыре, бахкают с поселковых заводов. Там уже и загорелось что-то, тесовым дымом несет. Ну, а что такое триста метров? Это даже если идти – и то считанные минуты. А они бегут... Правого танка я уже не вижу, скрылся где-то в огородных ракигах. А мой идет прямо на меня. Я уже вижу навешанные на передок гусеницы и даже орудийную дырку на башне... Снял каску, чтоб не маячила, не

блестела на свету. Без каски не так заметно выглядывать из-за кучи окопной земли: я русский и земля русая, нашенская. А он уже – вот он, вот он, вот он... В глазах рябит от мелькания гусениц, горячий моторный воздух маревом дрожит за башней... Нагнулся, цапнул в печурке горло бутылки с бензином. Одной ногой заступил на окопный порожек, чтобы враз вскинуться из ячейки... Ну, с Богом! Бутылка закувыркалась в небе, описала дугу, угодила в тупой лоб, рассыпалась, как ледышка. Черта с два! Как шел, так и идет! Нырнул я к печурке, схватил гранату, присевши, вырвал кольцо, мертво зажал ту самую скобу... И тут окоп затрясло железным грохотом и лязгом. Черно надвинулось днище, будто на мое укрытие насунули тяжелую плиту. Танк сбавил обороты, и гусеницы провисли над моей головой. Я успел услышать, как в его утробе глухо урчали шестерни. Теплая капля масла мазнула меня по щеке. Было мелькнула догадка, что немцы собираются меня вытащить живьем и забрать в плен... Но танк задержался лишь на самую малость, в нем что-то заскребло, заскрежетало надсадно, должно, водитель переключал рычаги, мотор взревел ярым храпом, обвислые гусеницы дернулись и заходили на месте вправо-влево. Окоп заволокло пылью и дымом, обвальная тяжесть земли рухнула на мои плечи и спину, чем-то тупо ударило по голове. Я враз обмяк и пьяно полетел в тар-тарары. Небось, брать меня в плен немцам было меньше интереса, нежели вот так закатать гусеницами, вогнать в готовую могилу, сравнять с землей!..

– Не знаю, други-голуби, сколь пробыл я в этой забытости. Но едва в моей голове, вроде как в темном погребке, занялся вялый свет, наперед всего подумалось про гранату. Не о том, что со мной, где я – об этом после пришло, а сперва про нее. Видать, заноза эта сама собой царапала меня изнутри, пока я оставался в беспамятстве. И втемеже похолодел, ознобился до самых пят, когда дошло, что граната осталась без чеки!..

Я долго не смел пошевелить даже пальцами, но потом боязно сжал их и почувствовал округлость рукоятки и упирающуюся в ладонь скобу. Оказывается, саму гранату я удерживал сдвинутыми штанинами и прикрывал животом. Убейте – не помню, почему я так сделал... Наверно, когда посыпалась земля, я испугался ее уронить и сунул под самый пах. Таким вот манером я оказался скрюченным в три погибели, и токмо ступенька, земляной окопный порог не дал мне свалиться на

дно. Ноги мои затекли, а согнутая, придавленная спина оцепенела до судорог. Ежли б меня завалило сыпучим песком с головой, верное слово, я точно бы задохнулся. Но, слава богу, что это была земля... Почти все самое крупное, комья и глыбы, заторилось на мне сверху, и потому я все-таки не лишился кое-какой малости воздуха. Голову мою сильно ломило. Но я остался живой! Живой, братцы мои! Немец не затолок мою душу!..

– Надо было, братцы, как-то выкарабкиваться отсюда. Сиди – не сиди, а рано или поздно, когда ослабну вовсе, граната сама выбросит меня из окопа. Было б спрятать чеку в карман! А теперь где ее искать? Я ить и руками пошевелить не способен. Стал я толкаться левым плечом: туда-сюда, так и этак... Земельная мелочь зашуршала, просыпалась под меня, в пустотцы, душно потянуло пылью. Перемогся малость, скопил духу и снова задвигал оплечьем. Вроде как подалось, передвинулось что-то, руке посвободнело. Тогда давай я пальцами копать, печурки делать, потом и всей ладонью грести. Гыречка по гыречке – все и из да под себя, куда можно. Целую пещерку выбрал с левого боку. Потужился спиной, раз да другой – пещерка обрушилась. Долго обирал себя и обкапывал так-то – вот тебе светушек объявился! Ах, сердешные вы мои, глянь-кось, сколько его теперь-то над нами! Дыши, радуйся – не хочу! А тогда и эта малость, дырочка светлая, вот как обнадежила, поманила меня туда, к оставленной жизни! Я не знал, что там, наверху, где немец – про то и не думалось в те минутки. И как было думать, когда я сам свою смерть в руке держу. Сперва надо было с ней совладать, а уж опосля другой смерти бояться. А она не ждет, торопит: вконец онемела моя правая ладонь, не держат гранату пальцы, вот-вот потеряю я над ними власть, выпущу скобу... Напрягся я из последних сил, давил-давил затылком, аж кровь прилила в глаза, да и скovyрнул ту глыбину, что саданула меня чуть не вусмерть. Попил воздушку, прояснил голову, давай дальше выкапываться. И выбрался-таки! Оставил там свою винтовку, лопатку саперную, вещмешок с пожитками, сняло землей сапоги, дергал-дергал, да одни босые ноги и выдернул... Но гранату не бросил.

Вылез я поверх осыпи, перехватил гранату из затекшей руки, свернулся в ямке калачом, никак не отдышусь. Была мыслишка швырнуть эту гадину куда попало. Ну да что толку: будь я тут один, а то ж немцы где-то поблизости. Сбегутся на взрыв да и прикончат

прямо в ямке. Чего ж я тади выкапывался, жилы рвал? И пришла минута глядеть, что делается на этом свете, куда деваться? Привстал на четвереньки, высунулся самую малость: все вокруг исцарапано, разворочено гусеницами, погрызы аж антрацитом блестят. Здорово танк на мне покобенился! Не жалел зла! Небось, за ту мою бензиновую бутылку... Еще чуть приподнял голову, высунулся за край – и аж потом прошибло: танки немецкие! Вот они – рукой подать! Все три стоят на выгоне под заводской стенкой. Как раз возле Ленина. И все амуницией обвешаны: на пушках, на буксирных крюках – автоматы, ремни с кобурой, фляжки-баклажки всякие. На моторных решетках штаны с френчами навалены. А возле катков – сапоги парами. У Ленина на шее тоже кипа всякого оружия висит. А самих немцев – нигде ни одного. Токмо голоса ихние слышно, долдонят что-то, регочут по-жеребчиному, вроде как на заводском дворе. И жареным мясом несет, небось, в самый раз обедают.

Ну что, куда деваться? Глянул в поле – ни живой души. Смотреть соблазно, да куда денешься, ежели вдруг мотоцикл или машина какая... И куда придешь? Идти в поле – судьба неведома... И защемило идти к реке, прямо к своим. Каких-то полтора метра, минуты две ходу. Думаю: по-за стеночкой, по-за стеночкой, только бы завод пройти, округлые ворота, потом вдоль забора и – вот он мост... Перебежать по плахам, а там уж – дудки! Ищи-свищи!

Выбрался я наверх, чувствую, шатает меня, ноги как без костей – не то что бежать – идти – и то боязно. И голову ломит. Шажок по шажку – минул голое место. Добрался до танков. Честно сказать, жутковато проходить мимо: набоялись мы этих чудищ, пока на восток уходили, наслушались про них всякого. Даже на погляд лютые. Особенно кресты пугали. И оружие – вот оно, любое. Но не имел я к нему интереса, геройствовать не собирался, не было сил. Одного только хотел – на тот берег.

Чумной, похмельно волокся я между танками и заводской стеной и самым опасным местом для себя считал ворота: всякий момент из них мог кто-то выскочить. Перед самым створом весь сажался, думаю: ежели что, то тут и брошу гранату. Но все обошлось: одна воротина оказалась закрытой, другая приотворена так, что в косой прощелок никого и ничего не видно. Стало быть, и оттуда меня тоже не видели. Ну, слава те, Господи, крещу себе пуговицу. Иду дальше, а сам все

оглядываюсь, чтоб не пальнули и спину. После танков оказалась еще какая-то крытая машина, добрался до нее, с облегчением свернул за кузов.

И получилось так, братцы мои, что не туда я глядел, не того опасался! Оказалось, вот они где скопились все, вот откуда доносило жареным... За большим грузовиком, метрах в тридцати, как раз на муравчатом выгоне, немцы голые, в одних токмо трусах скопились вокруг костра. Кто валялся под солнышком, раскинувши руки-ноги, кто кучкой резался в карты, а человека три правили кострище. Над притушенными углями копчено румянился поросенок на долгой рогатине. Перед тушей на раскладном стульце сидел очкастый немец, тоже голый, но в галифе и сапогах, с кобурой на заднице – должно, какой-то чин. На его голове косяком белел газетный колпак. Оструганной лозиной он издаля тыкал поросенка, кисло отстранялся от жара.

Мне бы, дураку, взять и отступить, спрятаться за машину. А я стою отупело – ни взад, ни вперед. И тут в ихней компании кто-то как заорет благим матом: «Рус! Рус!» И все, будто их ошпарили, повскакивали на ноги. Стоят, тоже как и я, онемевши, и в ужасе таращатся на мою гранату. Они стоят, и я стою. Токмо тот, в бумажном колпаке, не встал, а так и остался на своем стульце. И когда он потянулся за кобурой, я двинулся навстречу...

Шел я теперь с одним намереньем – подступиться поближе и жахнуть в самую кучу. Ить, все едино концы мне... Тот, в колпаке, вытянул в мою сторону наган, и я увидел, как он дымнул и дернулся в его руке. И тут же еще раз... Но я ничего не почувствовал. Должно, промазал от нервности. Больше он не стрелял, может, не было чем или испугался, что я не падаю. Вид у меня, конечно, ежели б на себя глядеть, был еще тот: весь расхристаный, рожа в земле, волоса дыбом, босый, а в руке – граната. Очкастый немец подскочил, опрокинул стулец и засверкал сапогами. И все остальные побежали тоже. Я слышал, как орал кто-то: «Рус хвантома! Рус хвантома!» Я не знаю, что он кричал, но помню это и доси...

Один табун голых немцев сыпанул в поселковый проулок... На топот и крики выскакивали те, которые шарились по дворам. Они были в амуниции, с оружием, но, захваченные садомом, драпали еще пуще голых и безоружных. Другие, вместе с бумажным колпаком,

помчались вниз, вдоль заводского забора. Колпак раза два пытался перескочить забор, но ограда была сколочена из отвесных досок с острьяками наверху, и колпак, не сумевши одолеть заплот, пускался догонять убежавших. Я знал, когда они свернут за угол, то и там будет такой же долгий забор и деваться им некуда, пока не обегут всю загородку. Явись мне в ту минуту автомат, я бы перестрелял их всех, как линялых куропачей. Но мне и без автомата было злопамятно глядеть, как мелькали ихние переляканные пятки.

Под гору идти стало легче, тело само тянуло вниз, я податливо шлепал босиком по пыльному спуску, но, братцы мои, за всю свою жизнь никогда больше не было длинней дороги, чем эти несколько сажен до моста!

Наконец-то ощутил теплые доски настила! Было в этом приветном тепле памятное от моего далекого хутора Белоглина, от его горниц и амбарушек, от прясел и мостков, и я впервой побежал, гонимый воспрянувшим сердцем. Мост кончился бомбовым провалом, я ступил на пляшущие латвины и, когда увидел под собой береговую осоку, поустойчивей утвердился на досках и что оставалось сил швырнул гранату в пройденное.

Я успел схватить, как в черном выбросе дыма и грохоте мост вздыбился ощеренными бревнами, но втемеже тяжкий удар в бок сшиб меня с досок и я загремел в осоку.

Угодил я в жидкую грязь и потому не утонул и не разбился. Но огненная боль жгла всю правую сторону, распирала ребра и уходила вглубь, под самую ложечку. Меня затошнило, я дернулся животом и опростался кровавой брюквой, которую мы с Хлоповым грызли в своих окопчиках. Я потянулся к больному месту и нащупал рваную щепу, вонзенную между ребер. Двумя руками я потянул ее вон и почуял, услышал даже, как она хрустнула и обломилась. Я зажал рану ладонью и, цапая осоку, принялся отползать от моста, пока не уперся в брошенный плот, и залег под навесом бревен. Поздними сумерками я перегрыз обрывок пеньковой привязи, мокрый, продрогший, с колотьем во всем теле взобрался на бревенчатый настил и снова потерял память. Течение само поворотило плот и понесло по реке своей волей.

Выловили меня на другой день какие-то отходившие солдатики. Нашли в ворохе пеньки. В полевом лазарете вытащили из меня

сосновый обломок, похожий на пику, и сказали, что я родился в белой рубашке: пика не задела ни легких, ни сердца, ни позвоночника, а удачно, дескать, прошла мимо них и проткнула один пищевод. Повезло, говорят, тебе! Редкий случай. Правда, сломало еще два соседних ребра. А чего ты, говорят, хотел? Хорошо, хоть так отделался. Ежли б не ребра, проткнуло бы тебя насквозь. Ребра, говорят, ерунда, срastутся, а пищевод залатают. Так что до свадьбы все заживет. С тем и отправили меня в российские тылы.

Ну а дальше, братцы, неинтересно: три операции прошел, что-то там зашивали, надшивали, а теперь и вовсе законопатили. Сказали, временно, походи пока так, потом вызовем. Да я больше и не пошел. Теперь и ни к чему...

Алексей замолчал, уставился в какую-то незримую точку, глаза укрылись в опечаленном прищуре. И вдруг ожили, распахнулись прежней просветленной живостью:

– А свадьбы так и не случилось! Была у меня одна на памяти. Печалился я о ней, в окопах думал. Да и теперь думаю... Не скажу ее имени, чтоб не корили. Не виноватая она, не виновата. Узнала, что я такой вернулся – гнусь да в платок сплевываю, стала прятаться, другими дорогами ходить. А потом и вовсе с глаз, в район уехала. Ну, да я и сам с понятием – нечего вязать человека... А думки-то остались, и снам не прикажешь. Еще и теперь, когда там бываю, вот защежит, вот как потянет! Хоть мимо дома пройду, старый дурень, гераньки на окнах посчитаю...

И признался весело, как не о себе:

– Меня ить долго опосля ребятишки донимали: «Щепкой ранестый!» Смешно им было, что не пулей, а щепкой. Вот бесенята! Ну, да чего обижаться? В госпитальной бумаге так и указано. Дескать, травма древесным предметом без повреждения костных тканей. А в скобках добавлено: причина ранения – со слов. А у меня одни токмо слова и остались, никаких свидетелей.

Зазвали меня как-то в школу, еще школа у нас была, чтоб я выступил с воспоминанием. Стал рассказывать, как со мной было, смотрю, ребятня, дразнильщики-то мои, перестали жужжать, потишело в классе, а потом и вовсе затаились – муху слышать. Опосля галстук на меня нацепили, ромашек поднесли. А этак недели через две вызывают в район, говорят со строгостью: ты что это про себя

небылицы распространяешь? – Какие небылицы? – Сам знаешь – какие. Мы тут справлялись... И ранение у тебя какое-то странное... Что значит – со слов? Мало ли ты чего наплетешь... Ты давай брось самовосхвалением заниматься. Тоже мне, Матросов! – Ну, меня больше и не приглашали на школьные встречи... Кто-то капнул, нацарапал писульку. Да ить кто? Вот он – Авдей, он и донес. Ему-то про себя рассказать нечего: всю войну на вышке простоял. За это ромашки не поднесут. Вот он и шепотнул, куда следует...

– Опять я! – изумился Авдей Егорыч.

– Ну да ладно, не ты, не ты! – Алексей похлопал его по плечу. – Суета все это, суета сует, сказано. Время всех уравнивает. Вот уже и геройские медали на толкучке продают. Да чего там! Давайте лучше еще раз помянем! Наливай, Авдейка! Так и не знаю, кто тогда уцелел. Поди – никто. Один я – в белой рубашке.

А коршуны всё кричали где-то сквозь майский веселый ветер, всё спорили за хутор Белоглин, осваивая новое жильё...

Дёжка

Заплутались мы было в мрачноватом Жерновецком лесу: сунемся по одной дороге – завал, ветролом навалил старых трухлявых осин, свернем на другую – уводит в низкий, сырой распадок, заросший мелкой кабаньей чащобой. В какой уже раз хватались за лопату, крошили сухостой, гатили провальные колеи, залитые черной сметаной, и так угваздались колесными выбросами, что и сами стали походить на лешаков. От долгой и бестолковой возни с машиной мы почти не разговаривали, из колеи несло удушливой сернистой вонью, источаемой, казалось, самой преисподней, а тут еще лес давил на нервы своей равнодушной, глухой, колодезной замкнутостью пространства, в котором резкий, разносимый эхом сорочий вскрик еще больше порождал щемящее чувство непролазного одиночества.

Родившись на открытых холмах, я с детства ощущал себя в лесу лишь гостем, робким и присмирившим, озираясь, невольно ожидал какой-то таившейся внезапности, а шлепки переспелых желудей, падающих с дубов на сухую подстилку, чудились мне вкрадчивыми шагами. Это потом закрепилось на всю жизнь, и я не смог бы поселиться в лесу добровольно, как живут, скажем, костромские молчаливые лесовики, довольствуясь всего только клочком неба над избушкой.

Мне же подавай небеса от края до края, всю их устоявшуюся погожую синь или всю уймищу облаков, которые вдруг объявятся у горизонта и потом, гонимые разрозненно и вольно, будто нескончаемые небесные овны. Или же апокалипсическое боренье туч-великанов, косматых, вострепанных, волочащих по земле изодранные рубища, в порыве титанических страстей подминающих одна другую с утробным и натужным ворчаньем и вдруг потрясающих Вселенную громовым многообвальным хохотом, от которого и на тебя, застигнутое ливнем ничтожно малое существо среди необъятности земли и неба, нисходит возвышающая душу причастность к буйству стихий. И ты счастлив, что испытал и пережил такое. Может, потому и не терплю я плотных заборов, теснящей дачной огороженности, за которой всегда мнится чье-то незримое око, и убежден, что никакая

душевная песня не сможет зародиться в лесу, в загороди, а только там, где «степь да степь кругом» и «далеко, далеко степь за Волгу ушла...»

И когда наконец выбрались из лесу и, заглушив издерганный и перегретый мотор, взбежали на ближайшую горушку и повалились на залитую солнцем упругую траву, мы распростали свои тела с таким блаженством, какое испытал, наверное, толстовский Жилин, вырвавшись на свободу. После сырого сумеречного леса здесь, на высоком полевом угоре, было необыкновенно светло и просторно, над нами бездонно и умиротворенно млело вечеряющее небо, а в придорожных клеверах и кашках разморенно и упоенно стрекотали кузнечики, и каждая былка, каждый полынок и богородничек, обласканные теплом и светом, щедро источали свои сокровенные запахи, которые подхватывал и разносил окрест сухой, прогретый ветер.

Мы не знали, где находимся, в какое место выехали, но из всего того, что нас окружало – из простора, горьковатого веяния трав и сияния солнца, – возникло успокаивающее чувство дома и родины, и мы беспечно задремали.

Поначалу показалось, будто это причудилось мне во сне, но когда я открыл глаза и снова увидел живое небо, стало отчетливо слышать детский голосок, звеневший бесхитростно и ломко:

И без страха отряд поскакал на врага,
Завязалась кровавая битва...

Я приподнялся над травами: неподалеку, в сизом от ягод терновнике, бродили коровы, трещали ветками, прочесывая бока о колючий кустарник, а чуть поодаль, верхом на крепком чернявом коньке в самодельном тряпичном седле восседал годов десяти пастушонок. На нем была синяя школьная олимпийка и мягкая буденовка с большой красной звездой. Не замечая нашего присутствия, вдохновляемый простором и вольным безлюдьем, он-то и распевал во всю мальчишескую мочь, никого не стесняясь:

Он упал возле ног вороного коня
И закрыл свои карие очи...

«Ты, конек вороной, передай, дорогой,
Что я честно погиб за рабочих...»

Я встал и пошел расспросить про дорогу. Завидев меня, заляпанного грязью, пастушок оборвал песню, диковато набычился. И только вблизи я разглядел, что из-под буденовки торчали девчачьи солоmistые косицы, оплетенные голубыми лентами.

– Не бойся, – сказал я как можно дружелюбней. – Это я в лесу так выпачкался. Машину толкал... А я думал, ты – мальчишка... Тебя как зовут-то?

– Дёжка я.

– Как это?

– Ну, Надежда. А если по-простому, то Дёжка.

– А-а, теперь ясно. Значит, чья-то надежда. Мамкина, небось?

– Ага, – просто согласилась пастушонка.

– И папкина?

– А папки нету.

– Ах, так... – смутился я.

Молодой конь нетерпеливо переступал передними ногами, повитыми бугристыми жгутами мышц, отмахивая мух, гулко бил по животу задним копытом, с волосяным посвистом сек себя хвостом, нервно поддергивал холкой, и темная шелковистая шкура на нем антрацитно лоснилась, играла на солнце живыми слепящими бликами. От коня крепко, хорошо и почти забыто пахло здоровой силой (как давно не был я вот так рядом с лошадьёу, какой неожиданный пласт воспоминаний всколыхнула ее близость!), и, счастливо хмелея от этого конского духа, я дружески взял конька, беспрестанно мотавшего мордой, под самодельные веревочные уздцы. Конь не потерпел моей руки и норовисто дернул и вырвал уздечку, едва не свалив меня с ног. Дёжка, однако, чувствовала себя на его беспокойной, ходившей ходуном бочкоподобной спине вполне уютно и непринужденно, будто прилипшая к телу муха.

– Значит, пастушничаете?

– Ага.

– По очереди?

– А я и вчера пасла, и позавчера... Кажин день.

– Что так?

– Люди за себя просят. Кто заболел, кому просто день нужен. Вечером постучатся: Дёжка, попаси за меня завтра. Да и мамка говорит: уважь, доча. Чего зря дома сидеть? А у меня каникулы. Ну, я и согласна. Не за так, конечно.

– За что же?

– А-а, не знаю... Мамка сама договаривается. Говорит, теплые сапожки к зиме в школу надо и платок. А я лучше б проигрыватель...

– А не боязно тебе здесь?

– Не-к!

– Ну, одна все-таки...

– Я не одна, я – с конем...

– Да, хороший у тебя конек. – Я протянул было ладошку, чтобы потрепать по гривастой шее, но конь так недобро, неприязненно покосился закровенелым глазом, что я невольно убрал руку. – Как зовут-то?

– Никак... Просто конь, и всё.

– Ну, как это – просто конь? У каждой лошади должно быть имя. Ведь оно в колхозной инвентарной книге значится.

– А он в колхозе не живет.

– То есть как это – не живет? А где же?

– А нигде...

– Как же так – нигде?

– Так вот... Где ночь застанет, там и ночует. Это мамка его заловила и на двор к нам привела. Хлебца, хлебца ему – он и зашел. Потому как мне пасти надо. Без коня пасти уморно. Не сдюжаешь. Поначалу мамка на него мешок с картошкой клала, чтоб привык. Сперва маленько насыпала, а потом побольше, потяжелей. А там и я залазить научилась. А больше никого не подпускает. Я мамке говорю, давай насовсем себе оставим. Нет, не хочет, говорит, не выдумывай. Вот до школы попасешь, а там и отпустим.

– И как же зимой, где он будет?

– А нигде... В поле..

– Один?

Дёжка неопределенно передернула плечами и посмотрела поверх меня, куда-то далеко.

– Ну, а пасти коров не скучно ли?

– Не-к... Мне нравится. Кругом – воля. Далеко видать. Самолеты летают, ленты по небу делают. Облака разные: только что было такое, а отвернулся – оно уже по-другому. А вчера цапли летали. Четыре штуки высоко-высоко. И всё – кругами... А еще хорошо песни петь. Въедешь на горку, глядишь, глядишь вокруг – красота! Так бы и полетела... Ну, полететь не полетишь, а покричать охота. Песни сами находят.

– И какие же?

– А всякие.

– Ну, а все-таки?

– «По Дону гуляет...» – слышали такую?

– «Казак молодой»?

– Вот-вот! – обрадованно закивала Дёжка. – Эту. А еще – «Выхожу один я на дорогу» – знаете?

– А как же!

– «Белеет парус одинокий»?

– Тоже знаю.

– «Пуховый платок»? – теперь уже Дёжка экзаменовала меня.

– Знаю.

– А про калину?

– «Что стоишь, качаясь...»?

– Не-е! – торжествующе засмеялась она. – То про рябину. А про калину так... – И она, придав лицу строгую отрешенность, напомнила голосом:

Калина красная, калина вызрела,
Я у залеточки характер вызнала.
Характер вызнала, характер он такой:
Я не уважила, а он пошел с другой...

– Да, это совсем другая, – рассмеялся я. – И откуда ты все это берешь?

– От бабушки. «Позарастили стежки-дорожки», «Зачем тебя я, милый мой, узнала» – это я от бабушки. Она у нас не ходила, все лежала. И голосу почти не стало. Едва слышно. А все равно пела мне. Возьмет за руку и тихо так напевает... Полежит-полежит, отдохнет и

еще споем. Это, говорит, чтоб ты меня помнила... А я, верно, я все ее песни помню, ни одной не забыла...

– Теперь уже не забудешь никогда.

Дёжка внимательно посмотрела на меня, осмысливая мои слова.

– Вот... А «Калину красную» – это я уже без бабушки, по телевизору. А еще Аллу Пугачеву знаю.

– «Все могут короли»?

– Ага! – кивнула Дёжка.

– Нет, бабушкины песни лучше.

– А то еще про маэстро, – и пояснила скороговоркой: «Я в восьмом ряду, в восьмом ряду...»

– Покажи-ка нам все-таки, – перебил я Дёжку, – как на большую дорогу выбраться. Не пойму, куда мы заехали.

– А тут недалеко. Сейчас покажу, – готовно согласилась она. – Вы только за мной поезжайте.

Я крикнул своим, чтобы сошли к машине. Насунув покрепче буденовку, взмахивая оттопыренными локтями в лад гулкому на сухой убитой дороге копытному скоку, Дёжка пустила конька впереди нас.

На маковке холма конь нетерпеливо затанцевал и зафыркал от выхлопов рядом работающего мотора, а она, натягивая поводья и обводя взглядом открывшиеся окрестности, принялась пояснять:

– Во-он, видите, от леса лог пошел?

– Так, так...

– Там наша речка Виногробль начинается.

– Ага, ага...

– Ее нигде не переедете до самой плотины.

– Так, а как же на плотину попасть?

– А вы вон по той кукурузе ступайте. Все прямо и прямо. Там дорога ведет на плотину.

– Ну, спасибо тебе, Дёжка! – помахал я рукой в открытое автомобильное оконце. – Хорошее у тебя имя! Ты и впрямь мамина надежда.

Дёжка, раскачиваясь на вертлявом, никак не желавшем стоять коньке, смущенно и счастливо заулыбалась.

– В нашем селе не я одна, – прокричала она. – Многих девочек так называют. И маму мою Надеждой зовут.

– Вот как!

– Это, рассказывают, еще от Надежды Васильевны пошло. По ее имю.

– Кто такая? Какая-нибудь колхозная знаменитость?

Дёжка что-то ответила, но нетерпеливый конь заплясал, застучал копытами и вдруг понес ее прочь от машины.

Я еще раз помахал ей рукой.

За кукурузой, по ту сторону холма, вдруг открылось большое, широко раскинувшееся село с целой системой прудов по логам и развилкам, позолочено блестящих при закатном солнце. И по этим давно мне знакомым прудам я догадался, что перед нами знаменитое Винниково.

– Братцы! – крикнул я. – Это же Винниково!

Да, это отсюда почти век назад вывезли на неуклюжей крестьянской колымаге четырнадцатилетнюю девочку, обладавшую дивным голосом, дабы по бедности определить ее за монастырские харчи в хорошее пение. Оттуда она вскоре бежала в большой песенный мир, к Собинову и Шаляпину, чтобы стать Надеждой Плевицкой.

И уже на большой асфальтированной дороге, перебирая впечатления минувшего дня, вспомнил, что и знаменитую певицу в босоногом винниковском детстве тоже кликали Дёжкой...

Нет, все же есть, есть что-то песнотворное в этих открытых небу и ветру холмах!

1985

Картошка с малосольными огурцами

Юрка гостевал у своей деревенской бабушки, сидел у окна на лавке, дожидаясь, когда в печи поспеет молодая, недавно убранная картошка. В эту пору она так хороша, что вовсе не обязательно было есть ее с хлебом, а только прикусывать с зеленым лучком, кругляшами белой щипучей редьки, сдобренной конопляным маслом, а еще лучше – с малосольными огурцами, которые, как только их принесут из погреба, враз полнили избу чесноком, укропом и смородиновым листом.

Набирая из распущенного снопа пучки ржаной соломы, бабушка скручивала из них перевяслица. Делалось это для того, чтобы солома сразу не пыхала, а горела подольше, поддерживая в печи ровный непрерывный жар. В нашем полустепном краю не всяк день топили дровами, а пока держалось тепло, обходились разной подножной всячиной: лозняком, полынком, обмолоченной соломой, тем паче на дворе нежится бабье лето, в голубом, погожем безветрии дремотно плавится паутина, а в подзаборной мураве благодатно зинзикают кузнечики. Так что до заветных дров было еще далеко.

Однако же топить соломой было колготно: от печки не отойти, не опустить руки, пока не сварится еда. Соломенные закрутки, будто живые, норовили развиваться, бабушка прижимала локтем, гася их змеиный порыв, и, выждав момент, подсовывала жгуты в печь. Веселый, светлый соломенный пламень уже в который раз принимался лизать черный, запотело лоснящийся чугунок, накрытый такой же черной сковородкой. Однако, казалось, чугунку все было нипочем, будто и не ведал он робости перед огнем, тем более соломенным, и вовсе не думал закипать. Но бабушка все подбрасывала, все обкладывала его перевяслицами, не давая огню иссякнуть, спрятаться под легкую кружевную золу. И вот наконец-то из-под сковороды вышмыгнула робкая струйка, потом рядом – другая, чугунок нехотя принялся что-то бормотать и побулькивать и вскоре уже неудержимо захвастался: «Бульба я, бульба я, бульба!» – и пустился выфукивать пузыри и выплескивать на свои округлые бока пахучую картофельную юшку.

– Ага, проняла-таки мазурика! – торжествующе объявила бабушка и сковырнула чашельником с чугунок сковородку. – Пусть еще чуток побулькотит, да и сливать будем. Картошка еще не застарелая, варки немного требует.

Проголодавшись, Юрка нетерпеливо млеет в ожидании, когда бабушка наконец-то вывалит в глиняную черепушку обжаренные паром картофелины. В лопнувших от внутренней натуги сермяжных одежках, с сахарно-зернистыми разломами, картофелины будут исходить неистовым жаром, от которого, если в нетерпении куснешь перебрасываемую с ладони на ладонь каленую барабульку, мигом перехватит дыхание, а по щекам побегут нечаянные слезы. Тут-то в самую пору гасить пожар в распахнутом рту холодными бочковыми огурчиками, еще молоденькими, пупырчатыми и хлестко хрумкающими на зубах. Пожалуй, нет еды азартнее пылающей картошки с малосольными огурцами, особенно когда за стол сядут с полдюжины едоков и примутся наперегонки скубить кожурки, дуть в ладони, запястьями утирать невидящие глаза и дышать по-рыбьи округлыми ртами. «Ай, хорошо! – вырывается то тут, то там за столом. – Вот это дак пропарило, будто побывал в бане!»

– Ай, чтой-то в поясницу вступило! – взмолилась бабушка. – Дай хоть присяду. Небось, опять прострелило. Дак и не диво: столь картошки перебрать да в погреб перетаскать. А подмоги – ниоткудова. Ты вот что, Юрко! Сбегай-ка в погреб да набери огурцов. А то я, раскоряка, и по лестнице не спущусь. А спущусь, дак и не выберусь обратно. Эко скрутило! Печку истопила – ничего, а чугунок подняла чаплями, меня и садануло. Аж не вздохнуть. Сходи, голубь, уважь старую.

– Кто? Я-а? – не поверил бабушке Юрка.

– Да кто ж у нас еще, окромя тебя?

– Во что набирать? – готовно спохватился Юрка.

Никогда еще не бывал он в бабушкином погребе. На чердаке избы бывал – ничего особенного: хлам да паутина, на сеновал лазил, тоже неинтересно, даже на старое дерево, что под окном, забирался поглядеть, кто там пищит в дупле? Но его клюнула в макушку галка, и он едва не сверзился на землю. А вот в погреб, да ещё одному, – такого никогда не бывало. Он даже почуял, как полыхнул ушами – так пришлась ему бабушкина просьба.

– Так во что набирать? – теребил Юрка бабушку.

– Вот тебе миска, наклади полную, чтоб и к обеду осталось.

Юрка схватил эмалированную миску и хотел было выскочить во двор, но бабушка удержала за руку:

– Да смотри не ошмыгнись, лестница там крутая, я и то не раз с нее падала. Особенно когда руки поклажей заняты. Ты перекладину-то ногами пощупай. Сперва подошвкой уверься, а тогда только переступай. Понял?

– Понял! – кивнул Юрка, порываясь высвободиться.

– Да погоди ты, егоза! – волновалась бабушка. – Экий ему нетерпёж! Ох, грех на душу беру... Лучше я сама как-нибудь спущусь. Дай-кось сюда миску...

– Не дам... – набычился Юрка и спрятал посудину под рубаху.

– Какой натурный! Вылитый дед! Тот, бывало, так вот упрется... Да ты хоть тварило осилишь поднять? Оно ить в три доски-пятидесятки...

– Оси-и-лю! – заверил Юрка на всякий случай, чтоб отпустила только.

– Ну ладно, егоз, ступай... Немочи мои ходу не дают, куда от них денешься. Я и так печку едва выстояла, в ногах не стало державы. А ить скоро зима, печку кажен день обряжать. Однако ж спичек тебе не дам: дверцу отворишь пошире – оно и без спичек станет видать. Солнца еще эвон сколь.

– Ладно, – согласился Юрка идти без спичек.

– Стало быть, слушай и запоминай: как, значит, спустишься, так сразу по правую руку и будет кадка с огурцами. Она сверху рогожкой прикрыта. Ты огурцы-то не буровь, а под укроп подсунься и бери с краю, какие попадутся. Где у тебя правая рука?

Юрка не знал, где у него правая, а где левая, и так просто, ни за чем, переместил миску из одной руки в другую, протянув бабушке ту, которая оказалась свободной.

– Ну вот тебе! – огорчилась бабушка. – Какая же это правая!? Грамотей! Так-то посылай тебя в темноту без спичек... Правая – вот она, запомни. – Бабушка задергала Юрку за правый рукав. – Потому и правая, что она всяким делом правит. Что бы ты ни взялся делать, первым-наперво правая рука за это дело берется. Уроки ли писать или

ложкой хлебать – все правой. И крест Божий только она творит... А левая – она вроде как в помощниках. Запомнил?

– А я все вот этой делаю, – не согласился Юрка.

– Да уж знаю, заметила... Потому и неслух такой, – смиряясь, вздохнула бабушка и зачем-то погладила Юрку по стриженной голове. – И откуда эта несправедливость у тебя? Надо бы к Мелентьевым сводить, пока еще малой, слову податливый. Пусть бы пошептала чего да попрыскала святой водицей.

– Никуда я не пойду! – нагнул Юрка голову, похожую на свернувшегося ежика.

– Ну ладно, ступай! – отпустила бабушка внука. – Да смотри там, не озорничай, не оступись часом...

Распугивая кур, набившихся в сумеречные сени, должно быть, в ожидании картофельных кожурок или еще чего-либо съестного, Юрка вылетел во двор, полный ликующего солнца. Сквозь рубаху сразу почувствовалось его приятное прикосновение. Над двором с азартным визгом носились молодые, вылетевшие из гнезд вилохвостые касатки, гоняясь за слепнями и всякой прочей мошкой, а по ветхому, иссохшему плетню, переваливаясь на бабушкину сторону, вилась и без усталости пускала загибающиеся усы соседская тыква и все еще норовила цвести, протягивая к солнцу оранжевые пустоцветы.

Погреб находился как раз возле плетня. Над его лазом высился ивовый шалашик, закиданный сверху картофельной ботвой. Здесь, на погребице, в знойный летний полдень любили сиживать и охорашиваться бабушкины куры, а сегодня, когда Юрка заглянул под навес, на теплом твориле блаженно нежилась, тоже, как и тыква, соседский кот Кудря. Он плоско, как будто одна только пустая рыжая шкурка, возлежал на боку, отбросив в сторону все четыре лапы и подставляя утреннему солнцу розовые пятнашки подушечек. При этом Кудря сладостно поигрывал коготками, то выпуская их наружу во всей цап-царапающей красе, то снова убирая в рыжую меховую пушистость. «Муры-муры», – удовлетворенно наигрывал он невесть каким способом – то ли когда вдыхал, то ли когда выдыхал воздух из своего слежалого нутра.

Коту очень не хотелось покидать укромное местечко, и он, не поднимая головы, а лишь слегка разомкнув веки, недвижно поглядывал за Юркой, не уберется ли он прочь. Чтобы не занимать

рук, Юрка определил миску себе на макушку и крадучись, осторожно потянул из шалаша хворостинку. Кудря сразу все понял, внезапно вскинулся и опрометью прошмыгнул меж Юркиных ног, так что тот даже не успел их вовремя сомкнуть, чтобы прихлопнуть этого любителя чужих погребов. Это же он, конечно, на той неделе опрокинул кувшин с топленным молоком, когда бабушка забыла притворить погребную крышку. Кто ж еще? И цыплят таскал, пока те не подросли и не перестали путать кота со старой цигейковой шапкой.

«Вот погоди, – пригрозил Юрка, – привяжу к хвосту жестяную банку, тогда узнаешь, как шастать по чужим дворам».

Поднатужась, Юрка с первой же попытки отвалил дубовый притвор на ременных петлях и, опустившись на четвереньки, заглянул в квадратную дыру. Оттуда сперто, холодно шибануло сырой землей и терпким укропным духом. Обмирая от неизвестности и любопытства, Юрка пытался разглядеть что-либо внизу, чтобы определиться, но, кроме нескольких изначальных ступеней жердяной лестницы, терявшейся другим концом где-то в пустоте, ничего больше со свету не увидел. Казалось, что там не было дна, твердой опоры, и разлило холодом и клеклой землей вовсе не из погреба, а из прохладной пустоты, из самого разверзшегося земного чрева, где обитают те самые «кабиясы», о которых не раз так жутко рассказывала бабушка. Она вовсе не хотела запугивать Юрку, а просто не знала, что придет черед, когда надо будет и ему спускаться в это «кабиясное» подземелье.

Юрка сел на край, боязливо свесил в лаз босые ноги. Погребная стылость неприятно лизнула подошвы, он поспешил убрать ступни под себя, после чего, скованный оторопью, долго сидел вот так у края погреба с миской на голове и поджатыми под себя ногами. Его даже посетила убедительная мысль, что картошку вовсе не обязательно есть с огурцами. Очень даже неплохо макнуть ее в постное масло, а затем присыпать солью.

Юрка украдкой оглянулся на кухонное окошко, не смотрит ли на него бабушка. Ему очень не хотелось, чтобы она видела его все еще сидящим на погребице. Но в окне никого не было, зато в спину ободряюще глядело солнце, и это наконец-то вывело Юрку из нерешительности. Он снова спустил ноги, зависнув в проеме на врозь раскинутых руках, стараясь нащупать под собой лестничную перекладину. Утвердясь на ней и переведя дух, он спустился на

следующую, потом таким же образом еще на одну... Погребной холод охватно стеснил его тело, казалось, он погружался в колодец с холодной водой. Все его существо онемело, напряглось в ожидании, что вот-вот кто-то неведомый и мерзкий выскочит из глубины и когтисто вцепится в голые ноги. Но никто его пока не трогал, а над головой, в квадрате лаза, все так же ободряюще голубело солнечное небо, и Юрка, перестав прощупывать перекладыны, разом, как в омут, скользнул вниз и раньше, чем ожидалось, с радостным узнаванием стукнулся пятками о земную твердь.

Здесь, на дне погреба, оказалось не столь кромешно: брезжило как будто в серое ненастное предвечерье. Пообвыкнув, Юрка даже стал различать окружавшие стены и отдельные предметы. Обозначилась, замерцала стеклом земляная печурка, заставленная тускло-пыльными банками и бутылками. Сквозь стекло проглядывали рыжие шляпки каких-то грибов, трехкопеечным размером и округлым видом похожие на засоленные пальтовые пуговицы, в посудинках поменьше узнавались улыбчивая смородина, с колким отблесковым лучиком на каждой чернявой ягоде, и багряно-алая малина, хранимая на случай простудных хворей, и припасы ягоды черемы, из которой получают отменные пироги и которые можно жевать прямо с косточками, придающими печеву особую лесную горчинку, – все это, должно, еще от тех времен, от тех сборов, когда бабушка сама хаживала и по грибы, и по ягоды. Этим летом она уже нигде не была, кроме своего огорода.

Ниже печурки, на дощатой полке, теснились глиняные горшки и горшочки и совсем крошечные махоточки с округлыми – продеть только палец – черепняными держальцами, уже отслужившие в наземной надобности, но еще пригодные здесь для хранения каких-то бабушкиных лекарственных секретов – от надсады, золотухи, черного ногтя, бородавок, застарелых цыпок, что Юрка уже заимел или мог подцепить, поскольку был великий «неслух» и бабушкина досада, как порой говаривала она в сердцах. Среди этой глиняной мелкоты выступали рослые дородные кринки, темно-кирпичные от печного загара, повязанные белыми марлечками, будто платочками, делавшими их похожими на загорелых крутобедрых молочниц, пропахших пенками и смуглым топленным молоком. Прямо же перед Юркой, до уровня его подбородка высился тесовый закром, доверху засыпанный картошкой. Бабушка перебрала ее по штучке, очистила от огородной

земли, раскатала по утоптанному токовищу на ветерке. И вот она, потом спущенная по деревянному лотку, теперь лежит в закроме. Картофелины все чистые, светлокорые, налитые молодой сытой спелостью, с густым пасленовым духом. Но Юрке почему-то жаль картошку. Может, оттого, что там, наверху, было еще тепло, солнечно, и ей можно было сколько-то времени пожить на воле, как живут еще многие травы и даже цветут себе на здоровье. Впрочем, картошка сама виновата, что ее раньше времени упрятали подземь: вместо того, чтобы еще зеленеть да радоваться погожим денькам, она, глупая, зачем-то принялась хиреть и чезнуть листьями. И солнце ей не впрок, и воля не по нутру. Вроде сама со свету запросилась в погреб. «Ну и чего хорошего, – рассуждал у закрома Юрка, – лежать вот так навалом, друг на дружке, в темноте и холоде? Особенно худо нижним. Уж и надавят бока тем, кто на самом дне! Хотя, если разобраться, верхним картошкам и того хуже. Их первыми нагребут в корзину, снесут в избу, ножом соскребут шкуру и сварят в печи: которые покрупнее – людям на прокорм, а которые помельче да ушибленные – курам и поросенку. Если бы Юрка был картошкой, он забился бы на самое дно – подальше от бабушкиного ножика и чугушка. Как-нибудь перетерпел тесноту, зато долежал бы до весны, до ростепели. И тогда его снова отнесут в огород, выроют лопатой ямку и присыпят сверху теплой землицей. А он полежит-полежит, согреется после холодного погреба да и высунется ростком – поглядеть, что нового на белом свете? И примется пускать листья и цветы, станет снова жить да поживать. Ведь впереди – целое лето! Расти да радуйся! А когда осенью опять выкопают, он, не будь дурак, снова – на самое дно, и так до следующей весны, до новой ямки на огороде...»

В соседней дощатой отгородке хранились ворошки всякой огородной всячины: оранжевые морковки, напоминавшие вареных раков, как и те – тоже усатые и клещастые; загадочные округло-приплюснутые репы, похожие на одинаково выточенные юлы, казалось, выросшие затем только, чтобы бесконечно долго, до полного слияния с окружающим воздухом вращаться на своих тонких хвостиках-ножках. А еще были редьки, покрытые грубой черной кожей, однако хранящие под этой бычачьей юфтью белоснежную мякоть, пропитанную острым кочерыжным соком, нацедив которого в

ложку и зажав в коленях Юркину голову, бабушка закапывала ему в ноздри, когда тот ознабливался и начинал хлюпать носом.

Отдельно от всех, в стареньком лукошке, как бы пребывая в особых почестях, хранилась свекла – на Юркин тогдашний вкус совершенно никчемный овощ, который он тайком выковыривал из винегрета. Однако же бабушка почтительно величала свеклу египетской варенкой, и на ее лице проступало благостное просветление. Она непременно говаривала, что будто бы этот красный бурак не просто так, а помянут в священном писании, и потому, должно быть, готовила винегрет только по церковным праздникам и никогда не выбрасывала остатки курам.

Огурцы оказались в приземистой, расклешенной книзу кадке. Юрка не сразу нашел их, а сперва запустил руку в соседнюю бочку. Но сколь ни вертел туда-сюда растопыренной пятерней, никаких огурцов, ни единой бубочки в бочке не оказалось, а только холодная вспененная вода. Юрка лизнул мокрые кислые пальцы, и ему почудилось в этой влаге что-то знакомое. Тогда для верности он зачерпнул миской, осторожно испробовал, и все больше уверяясь в своей догадке, отпил несколько глотков этой постреливающей пузырьками жидкости. В носу тотчас же защекотало, как если бы туда сунули травинку, а глаза позадернуло наволочью, так что он снова перестал различать, где право, а где лево. «Точно, квас! – не сразу прозрел он. – Вот это так кваси-и-ище!» – удостоверился Юрка окончательно. Вспомнилось, как бабушка сказала, что огуречная кадушка накрыта рогожей. Юрка допил из миски квас и, еще как следует не отморгавшись после колкой шипучести, принялся вылавливать из-под рогожи холодные пупырчатые огурчики, источавшие аппетитный дух. Но тут где-то между банок, шурша и позвякивая о стекло, посыпалась сухая земля. Юрка невольно обернулся и вдруг на краю припечка увидел большую серую жабу... Поначалу он принял ее за ком земли и даже подумал отбросить прочь, чтобы этот ком не попал в кадушку с квасом. Но, присмотревшись, заметил, что эта серая, шишковатая глыба дышит, равномерно поднимая и опуская бока, а из-под надбровий внимательно, как-то прицельно, взирают желтые, немигающие глаза с косыми, как у кошки, черными зрачками.

Юрка оторопел. Это потом он будет хвастать, что нисколько не забоялся. Но, если честно, то, конечно, маленько сдрейфил: а вдруг

прыгнет на него или еще чего сделает нехорошее? Мгновенно вспомнилось все, что было слышано о таких вот страшилищах, когда деревенская ребятня, окрестные Юркины сверстники, собираясь коротать вечер на перевернутой лодке, говорили, что если прикоснуться к лягушке, когда она раздувает свои пузыри на горле, то на руках непременно выскочат бородавки, и в подтверждение показывали друг дружке пальцы и запястья с этими таинственными вздутиями. Сказывали также, будто лягушка может так брызнуть сами знаете чем, что если вовремя не зажмуриться, то в глазу может появиться порча, а то и вовсе можно ослепнуть.

Юрка хотел было стрекануть вверх, но в эту минуту жаба раздула шею и скрипуче, но вполне отчетливо произнесла его имя.

«Юр-р-ра!» – сказала она с расстановкой, нажимая на «р». Это было так неожиданно, что Юрка, оторопев, не улепетнул вверх по лестнице, а остался у ее подножья как вкопанный.

«Юр-р-ра!» – повторила жаба, и прозвучало это вполне миролюбиво, даже как-то просяще, будто в недомогании.

– Чего тебе? – отозвался Юрка, догадываясь, что лягушке что-то от него надо и что она вовсе не собирается на него нападать.

«Юр-р-ра! Юр-р-ра!» – твердила она, будто жевала крутую резину.

– Ну чего? – совсем освоился Юрка и заговорил с жабой как с давнишней знакомой. – Ты что? Тут живешь?

Жаба, будто подтверждая, приподняла нижние веки и задернула ими оранжевые ободки зрачков.

– Дак тут же холодно! И никогда не бывает солнца, – содрогнулся Юрка. – Как в тюрьме.

– Я так-кова, я так-кова, – вздымая бока, проскрипела жаба.

– А что ты ешь? Тут же есть нечего! Одни малосольные огурцы да картоха. А банки все закрыты...

Юрка пошарил вокруг глазами в намерении отыскать что-либо подходящее для лягушки, но ничего не увидел: ни мухи, ни маломальского комарика, никто из них не хотел залетать сюда, в погреб, где всегда было холодно и темно. Юрке стало жаль жабу, такую малоподвижную неумеху, которая безысходно живет в этом погребном неуют.

В ответ жаба подняла свою медлительную переднюю лапу и, закрыв один глаз, поскребла желтым ногтем там, где должно было

быть ухо, но – которого никогда не было на этом месте.

В дверном проеме вдруг сделалось темно: кто-то заслонил солнечное небо. Юрка поднял голову, а это бабушка.

– Ты пошто не идешь-то? – зашумела она. – Жду-пожду, а его домовой нанюхал! Ну, лихо же мое! Уж думаю, не сверзился ли с лестницы, не переломал руки-ноги? Лучше б сама доползла. Хоть огурцов-то набрал?

– Набрал...

– Давай сюды.

Юрка передал огурцы и побрел следом за прихрамывающей и кряхтящей бабушкой.

– Все ладом поделал? Не начередил чего? Варенья не пооткрывал?

– Все как было. – Юрка нехотя плелся за бабушкой, за ее обширной юбкой, ходившей туда-сюда вокруг ног в пустых, шаркающих галошах.

– Дак чего долго-то? – допытывалась она.

– Да-а... Там лягушка.

– Ну и что – лягушка? Экая невидаль. Я еще в девках ходила, а она уже там жила. Это эвон сколь годов!

– Ей там есть нечего... – возразил Юрка.

– Ежели доси жива – стало быть находит.

– И пить нечего...

– И пить находит.

– А давай мы ее к себе заберем?

– Это зачем еще?

– Будет жить с нами.

– В избе – что ли?

– Ага... у нас тепло: печка топится.

– Не выдумывай. В избе святые иконы висят, а мы в дом – нечисть всякую. Польза-то от нее какая?

– Она хо-ро-о-шая!

– Да чего ж в ней хорошего-то? Небось в руки брал эту непотребу? Иди сейчас же сполосни, а то так и за стол сядешь. Признавайся: брал ай нет?

– Не брал я! – осерчал Юрка.

– А то так-то бородавок нахватаешь...

– Ее тоже Бог слепил?

- А то как же!
- А зачем, если она плохая?
- А Он всякой твари налепил по паре.
- А зачем?
- Чтобы было.
- А Он из чего их всех лепил? Из глины?
- Из глины, из глины! – отмахнулась бабушка.
- Неправда! А вот глаза – не из глины!

Вместо ответа бабушка выждала, когда Юрка поравнялся с ней, и отпустила ему подзатыльник.

- Ладно тебе! – пресекла она Юркины происки. – Фома сыскался.
- А вот не из глины!!! – упирался Юрка.

Бабушка отпустила ему еще одну затрещину, и тот, полыхнув обидой, вдруг сорвался, опрометью пустился со двора и скрылся в жарких и шершавых рядах огородной кукурузы.

Отыскался Юрка на вечернем закате, запеченный на солнце, исцарапанный цепкими кукурузными листьями. Он снял изодранные на коленке штаны, залез на топчан под косяковое одеяло.

- И не поевши... – сокрушилась бабушка.

Когда он сморенно раскидался по подушке, бабушка примирительно огладила его жаркую пшеничную головенку и, надев очки и пристроившись возле абажура, принялась штопать Юркины штаны, попутно сощипывая с них цепкие кужучки. Из единственного кармана на попе штанишек выпал стеклянный патрончик от валидола, который она прикончила еще на той неделе, а порожнюю посудинку вместе с домашним сором выбросила за сарайку. Было видно, как внутри трубочки все еще ползали две синие мухи и неугомонно царапались по стеклу желтенький кузнечик...

Красное, желтое, зеленое...

В ту весну нескончаемо дули степные ветры. Город долго не одевался зеленью, и над его нагими неприятными улицами часто вскидывались косматые завитки пыльных смерчей. После них из бесцветного омертвело неба, сухо шурша, сыпался песок, стучал по крышам мелкий камешник, а в поднебесье носилась взвихренная бумажная рвань, своим белым мельканием похожая на воспаривших голубей.

И все чаще через палисадниковую ограду к нашему кухонному окну тянулся конец батога, приводивший меня в смертную оторопь. Оглоданный иссохшей землей неведомых перепутьев, похожий на серую могильную костяшку, батожий конец некоторое время немощно, дрожливо мелькал и трясся перед оконным стеклом и, наконец, дотянувшись, визгливо царапал, скребся и тыкался в шибку. Мне делалось жутко до оцепенения, но я все же вызиркивал из-за горшка с кустиком фуксии и привороженно замирал, углядев за оградой толсто обмотанную голову побирушки с неясным ликом в глубине серого вязаного платка, напоминавшего грязный дырявый невод. Или же виделась мятущаяся на суховежном ветру ковыльная лунь непокрытой головы старца в землистом пощипанном кожухе, перекрещенном холщовыми лямками заплечной рухляди.

– Хозяин! А хозяин! – слышался усохший, больше состоящий из дрожащего выдоха, нежели из живых внятных звуков, изуверившийся голос. – Подай ради Христа...

Но подать было нечего.

Рано утром, уходя с отцом на завод, мать тормошила меня и наказывала, еще сонному:

– Встанете – доедите вчерашний кулеш, а днем – тут я вам приготовила, на столе под газеткой...

– Ладно... – морщился я, не разлепляя век.

– Смотри, Нинку не обижай: поделите все по совести.

– Да ладно, ладно же... – досадливо тянул я на себя одеяло.

Я уже знал, что там могло быть под газеткой: по паре картошек в кожурках, блюдце квашеной капусты и по заскорузлomu сухарю.

Это обеденное меню повторялось почти изо дня в день, но и это, говорила мать, тоже скоро должно кончиться. Подходили к пределу сухари, припасенные зимой, когда хлеб еще продавали без ночных очередей. Кончалась деревенская картошка. Бабушка обещала, что как только весной отобьют яму, то привезет нам еще пару мешков картошки. Но вот что-то не везли. Там у них какая-то коллективизация, у деда отобрали лошадь вместе с телегой, от этого дедушка захворал и пролежал на печи всю зиму безъязыко. Правда, в нашем сарайке имелось еще полкадки квашеной капусты. Но она столько раз замерзала и отмерзала, а теперь вот парилась в апрельской духоте, что ели ее мы с Нинкой без прежней охоты, тем паче что квашенку эту надо было употреблять почти каждый день – то во щах, а то просто так, под картошку.

– Так-то еще жить бы, – со вздохом утешала нас мать, – да боюсь, что это только цветики...

В соседнем с нами магазинчике сделалось гулко и пусто. Продавщица тетя Шура в тихие часы делала бумажные цветы и расставляла их по пустым полкам. Я почему-то думал, что это и есть те самые цветики, о которых так тревожно говорила мать.

Тихие часы наступали в магазине во второй половине дня. А в первой его небольшое пространство, рассчитанное на неспешную мелкую торговлю, гудело людом, наполнилось духотой и потом плотно спрессованных тел – давали хлеб.

В ожидании хлеба жители ближайших улиц собирались возле запертых дверей еще с вечера. Темная змея очереди ближе к полуночи постепенно оседала на землю и затихала, затаивалась в ночи в чутком и терпеливом ожидании стука колес хлебного фургона. Иногда на нашей кухонной стене вскидывались багровые отсветы. «Что это?» – спрашивали мы поначалу. «Спите, спите... – Мать успокаивающе оглаживала наши головы. – Это возле магазина жгут негодные ящики. Я тоже сейчас пойду. А то без хлеба останемся».

Хлеб привозили рассветной ранью, задолго до открытия магазина. В гулкой пустоте сквозной улицы сперва слышалось отдаленное цоканье копыт по булыжной мостовой и только потом проступал и сам фургон, вернее, выгиб дуги на светлеющем небе, а под дугой – две человеческие фигуры: возчика и продавщицы Шуры.

– Едут! – оповещал кто-нибудь громогласно, и очередь враз подхватывалась на ноги, принималась вбирать в себя разброды, уплотняться, обретать свой прежний змеиный облик.

Пока продавщица отрешенно и озабоченно, ни на кого не глядя, не отвечая на заискивающее добрословие, отпирала замок, небритый сиволицый возчик разворачивал лошадь и хрипло покрикивал: «Рас-стпись! Рас-стпись, сказано!» – задом сдал фургон к раздвижному, заставленному фанеркой оконцу. Продавщица высовывала в проем деревянный лоток, и возчик, огородив себя слева и справа распахнутыми фургонными створками, принимался швырять в лоток сразу по паре буханок.

– Шурка, считай! – предупреждал он, опасливо и зверовато оглядываясь на обступившую, напряженно притихшую толпу.

Хлеба привозили мало, а ртов собиралось несчетно, так что ожидать можно было всякого...

В иные дни в магазин завозили пачковые дрожжи или фруктовый чай – два вида продуктов, еще поступавших в вольную продажу. Чай представлял собой спрессованные и запеченные брикеты из фруктовых сердцевин, яблочных и грушевых семечек и черенков, остававшихся после варки повидла и джема. На пачках красовались румяные фрукты, окропленные дождевыми каплями, а сам чай издавал манящий конфетный дух. Но едва только разжуешь эту вязкую сластящую обманку, как рот начинала обволакивать смолистая едкая горечь, которую надо было терпеть, если хочешь хоть немного унять голод. Впрочем, этот жмых из фруктовых отбросов предназначался вовсе не для еды, а всего лишь для подкрашивания кипятка, для придания ему респектабельного чайного вида. В каждой пачке было сконцентрировано столько сгущенного грушево-яблочного дегтя, что им можно было окрасить не одну бочку горячей воды. Тем не менее чай, как и дрожжи, многие жадно и счастливо поедали тут же из отвернутых пачек, как если бы им досталось шоколадное мороженое.

За этим деликатесом всегда возникала содомская давка, и случилось однажды, что под напором набежавших людей была сорвана с места одна из секций прилавка. Пустой дощатый короб скрежетно затрещал и рухнул, притиснутые к прилавку, потеряв опору, попадали на ощеренные гвоздями доски, сзади продолжали напирать, людей неудержимо несло по барахтающимся, вопящим и стонущим под

ногами, однако никто уже не мог воспротивиться и остановиться. Напрасно увещевавшая опомниться, взывавшая к совести и всем святым продавщица, вконец отчаявшись, схватила палку, всегда стоявшую в углу прилавка для самообороны, и, плача, захлебываясь обрывками матерщины, принялась остервенело колотить по спинам и простертым рукам. Ворвавшиеся за прилавок уже терзали рогожные мешки, рассыпая фруктовые брикеты по карманам и пазухам. Палка тут же была отнята у продавщицы, а ее халат изодран в клочья, и она, едва успев ухватить картонный короб с выручкой, опрометью вылетала через подсобку во двор. Продолжая взрыдывать, тетя Шура утирала лицо уцелевшими белыми рукавами, застегнутыми на запястьях.

Мать, в тот раз ходившая на работу во вторую смену, вернулась из магазина бледная, встрепанная, без куда-то подевавшейся косынки, но фруктового чаю ей так и не досталось.

Такой же ходовой едой первой пятилетки стало так называемое саго – загадочный заменитель пшена, перловки и прочих натуральных круп. Поначалу мне казалось, что саго – это семена какого-то южного заповедного растения, ну, как, скажем, сорго. Невольно представлялись слоны, попугаи, черные нагие люди в чащобных зарослях... Но выяснилось, что саго делали в нашем же городе из обыкновенного крахмала. Получалось нечто, действительно похожее на крупу, а вернее, на разнокалиберную дробь – от бекасинника до заячьей нулевки.

В сухом состоянии саго имело скучный, серый, остекленелый вид, но в булькающем кипятке оно сразу же оживало, принималось весело носиться по кастрюле, на глазах прибавлять в размере и становилось почти прозрачным, скользким и неуловимым созданием, для овладения которым надо было иметь определенную сноровку. Эта хитроумная крупка имела свое хождение главным образом по школьным и заводским столовым, и мать иногда приносила с работы для нас с Нинкой бутылку голубоватого клейстера без вкуса и запаха, в котором обитали шустрые студенистые шарики, напоминавшие лягушачью икру. Мать поджаривала немного муки, добавляла в похлебку, и мы с Нинкой, азартно гоняясь ложками за неуловимой крупой, в один момент выхлебывали каждый свою долю.

Мать с отцом работали на одном и том же заводе, который в обиходе называли «мэрэзе», что означало: машино-ремонтный завод.

Главным его направлением был ремонт покупных зарубежных «фордзончиков» – весьма примитивных колесных тракторишек фирмы «Форд-сын», вышедших, как я теперь понимаю, из тамошнего употребления и сбывавшихся в большевистскую Россию по хорошей, золотой цене на нужды молодой заносчивой коллективизации, отказавшейся от крестьянского коня. МРЗ принимал и всякого рода штучные заказы, производил клепаные металлические емкости, брался за мостовые фермы, а также ладил кое-какое оборудование для местных мельниц и крупорушек.

Заводскому профилю соответствовали и профессии моих родителей. Отец работал котельщиком, помню его в каленой, наждачно шуршащей брезентовой спецовке, пропитанной едкой неизбывной ржавчиной. Будучи тогда еще подручным молотобойцем, отец во время клепки находился внутри емкости. От сотрясающих ударов колкая крошка окалины проникала в нательное белье, липла к влажной спине, набивалась в уши. Лицом же, выпачканным ржавой пылью, замешенной на потных подтеках, он походил на циркового клоуна. От этого гулкого молотобойного дела он еще в молодые годы сделался тугоухим, почти все переспрашивал в разговоре, а больше предпочитал отмалчиваться и курить «козью ножку». Внутренние сгибы его пальцев были покрыты жесткими роговидными мозолями, он мог держать в горсти раскаленные угли, жечь на ладони скомканную бумагу и только избегал прикасаться к моему телу, опасаясь оставить на нем царапины.

Моя мать работала ситопробойщицей, выпускала сита для мукомольного производства, и руки ее были ничуть не ласковее и приютней от бесчисленных порезов жестью, от задигов и проколов острыми язвящими заусеницами, ранившими ладони даже сквозь рукавицы. Я видел однажды, как она плакала, взмахивая и тряся кистями, дуя на руки после домашней стирки, в которой вместо мыла пользовалась древесной золой из печного поддувала.

Наконец-то перед маем всем, кому это положено, выдали давно и нетерпеливо ожидавшиеся хлебные карточки.

– Хоть по очередям не бегать. – Мать была довольна этим обстоятельством. – Причитается – получи!

Нам достались четыре месячных листа: два красных и два желтых. Листы были поделены на талоны, а каждый талон покрыт

мелкой сеточкой: чтобы никто не мог подделать, догадалась мать. Посередине каждого талона крупно, отчетливо напечатано слово «хлеб». Я с ходу прочитал его без запинки. Хлеб – и все! Сразу ясно, о чем речь. Это короткое слово прежде в моем воображении звуково походило на шлепок теста: хлеп! Так слышалось, когда наша деревенская бабушка еще недавно нашлепывала на тесовую лопату хлебные кругляши, чтобы отправить их в раскаленную печь. Теперь же это слово представлялось как бы уже испеченным, крутым и пахучим, и от одного только его прочтения становилось легко и радостно на душе. Хлебных слов было столько много, что от них даже рябило в глазах. Можно было провести пальцем слева направо или сверху вниз, и в ровном рядку будет написано: «хлеб, хлеб, хлеб...» Меня буквально распирало от привалившего счастья. Вот это так да! Мне, конечно, больше нравились красные карточки. Раскладывая их по едокам, я положил матери и Нинке по желтому листу, а отцу и себе оставил красные. Чтобы было по справедливости: мужикам – красные, поскольку они за революцию, а бабам – желтые, таковские. Но мать огорчила, сказав:

– Ты не так... Красные – нам с отцом, а желтые – вам с Нинкой.

Я заупирался:

– А почему вам – красные, а нам – желтые?

– Красные для тех, кто работает, – пояснила мать. – А желтые – для иждивенцев. Нам – по триста пятьдесят грамм, а вам – по двести. Маловато, конечно... Но зато на каждый день. А то есть еще зеленые – те для служащих. Но у нас служащих нету.

Мне не понравилось и это никогда прежде не слыханное, но чем-то неприятное слово «иждивенец», и я спросил:

– А иждивенец – это кто?

– Это который на иждивении сидит, – сказала мать.

Я невольно почувствовал как бы отодвинутость от краснопролетарского дела, свою малопригодность, что ли, как если бы от этой желтой карточки заболел какой-то желтой малярийной болезнью, от которой все делалось желто: и лицо, и глаза, и живот с пупком.

– Как это – на иждивении сидит? – переспросил я.

– Ну как... Один трудится, а другой только ест, – сказала мать. – Но это не про вас, вы еще маленькие.

Я оценивающе оглядел Нинку, ее перепачканные печеной картошкой щеки: эта ничего не упустит, тут же завопит: «А мне?» И, сделав ей хороший шлобан по носу, презрительно прошипел:

– У-у-у, ижди-вен-ка-а несчастная!

– Ты сам дулак! – замахнулась она ответно.

С получением карточек добывать хлеб стало полегче. На МРЗ открыли свой хлебный ларек, карточки проштемпелевали завкомовской печатью, чтобы никто чужой не примазывался, и теперь мать, идя с завода вечером или на завод во вторую смену, забежала в заводской распределитель и отоваривала карточки. Правда, очередь собиралась и там, все-таки на МРЗ работало порядочно люду, да еще у всех были эти самые иждивенцы. Но все же не такая страшная очередища, как в обыкновенном, ничейном магазине, куда народу набегало видимо-невидимо. И даже цыгане и всякое карманное ворье хоть и без карточек, но тоже в толчее имели каждый свой интерес...

Вскоре, однако, на карточном фронте произошли события, вживе коснувшиеся нашей семьи и моего иждивенческого бытия, в частности.

Нет, нет, никто хлебных карточек не терял. Ни при чем и карманники, которых я только что помянул всуе.

Что и говорить, утрата карточек обернулась бы для нас непоправимой бедой. Без этого, хотя и мизерного, пайка мы едва ли смогли бы продержаться до новых карточек, поскольку у нас не оставалось ничего такого, да и никогда не водилось, что можно было бы продать и как-то прокоротать две-три недели. В доме не было даже простеньких ходиков, и мы жили по заводскому гудку, который трижды вызывал поутру, один раз в обед и дважды в конце дня, во вторую пересменку. Этого вполне было достаточно, чтобы сориентироваться в пространстве дня. Другие же заметы времени, тем более такая мелочь, как минуты и секунды, вроде бы и не требовались.

Из всего, что тогда имелось в нашем жилище, самой дорогой вещью я бы посчитал примус. Он появился совсем недавно, мне нравилось, как он грел натужным голубым огнем, на его сверкающем корпусе торжественно и важно высвечивали две выставочные медали, и мне было бы жаль, если бы его продали. Далее по степени ценности следовали дубовая бочка из-под капусты, бабушкина самотканая, вся в веселых мережках, скатерть со стола, слесарная ножовка, большой

полудный паяльник с припоем и канифолью в жестяной баночке, чижиговая клетка, правда, без самого чижики, которого выпустили еще в марте, как только начали пухнуть очереди и подскочили цены на птичьи корма... Ну, может, еще алюминиевая кастрюля, совсем новая, незачерневшая, подаренная к Октябрю за хорошую ситопробойную работу.

Нет, наши карточки, слава богу, остались целы...

А случилось вот что: в заводской хлебной лавке обнаружили недостачу, продавщица что-то там напутала с талонами, и ей указали от ворот поворот, тем паче что была прислана со стороны. Решили поставить за прилавок свою, заводскую, которая по себе знала бы, почем фунт рабочего лиха.

Выбирали общим собранием, выставили несколько кандидатур, в том числе назвали и мою мать.

– Польку Носову! Польку давайте! – кричали из глубины цеха. – Надежная баба! Сита на сто двадцать процентов бьет!

– А как у нее с грамотой?! Тут грамота нужна.

Дядя Федя-завком постучал по графину карандашиком:

– Тише, товарищи! Лексевна! Ответь собранию!

Мать потом рассказывала, как ей было боязно и неловко, что на нее глядели со всех сторон и она должна была стоя отвечать на все вопросы.

– Так как у ты с грамотой? – настаивал дядя Федя-завком, в прошлом тоже, как и отец, котельщик и тоже тугой на уши.

– Я уже сказала.

– Ты погромче давай, не мямли под нос. Ты не мне говоришь – рабочему классу отвечаешь.

– Четыре класса у меня, – не поднимая головы, как бы повинилась мать.

Цех удовлетворенно загудел:

– Ого!

– Аж четыре!

– Должно, смекалистая!

– Ну так как же? – ухом вперед через красный стол тянулся в цех дядя Федя-завком. – Носову из ситного заносим али нет?

– Давай, заноси!

– Подбивай бабки!

Ближайшую свою соперницу мать обогнала на восемь голосов, и дядя Федя-завком тут же принародно вручил ей ключ от распределителя, белый халат и печатную инструкцию, в получении которой попросил расписаться.

В тот вечер я долго не мог заснуть, ворочался с боку на бок, прикидывал, что теперь будет, когда наша мать собственными руками станет отпускать хлеб. Я радовался и гордился ее новой профессией, тем, что она будет теперь ходить не в синем, а в белом халате и что к ней будут тянуться сразу десятки рук с карточками. Но, гордясь, тайно, стыдливо рассчитывал, что какой-то прибыток да должен же получиться от этого дела. Может, принесет каких-либо хлебных корочек. Есть же такие, которые сами по себе отстают от буханки. Разрежешь такой хлеб, а там, под верхней коркой, вроде как пустой чердак, гуляй ветер. Ясное дело, никто такую порченную буханку не возьмет, да и я бы не взял, возмутился бы: «Что такое?!» Вот она и останется, никому не нужная. «Отчего бы ее не взять и не принести домой? – так мечтал я сладко, обнимая подушку. – Да и так подумать: хоть в очереди теперь не стоять – и то дай сюда...»

Долго не ложились и мои родители. Они приглушенно договаривали свое на темной кухне, призрачно озаренной молодым робким месяцем. В дверной проем мне было видно, как отец, сидя на корточках перед приоткрытой печуркой, озабоченно тянул свою «козью ножку» и та пышно расцветала малиновым татарником, высвечивая задубелые пальцы с медно блестящими ногтями и большой вислый нос, в каком-то давнем деле сдвинутый набок.

– Ладно, не реви! – утешал он суровым, досадливым шепотом.

Весь следующий день нас с Нинкой распирало приподнятое настроение оттого, что где-то, облаченная в белый халат, придававший продавцам недоступно-повелительный облик, ловко орудуя то ножницами, то ножом, наша мать одаривала людей хлебом. Наше воображение было столь возбуждено, что требовало немедленного утоляющего действия, и мы тоже принялись изображать магазин, составив из двух табуреток прилавков и налепив из дворовой глины хлебных коврижек и прочего иного печева, давно исчезнувшего из обихода. Но самым главным оставалось ожидание матери. После вечерних заводских гудков мы все чаще, уставясь друг на друга

округлыми оловяшками, по-заячьи замирали, вслушиваясь в какой-либо случайный звук, донесшийся из коридора.

Наконец мать пришла. Она объявилась какая-то обыкновенная, с осунувшимся и отрешенным лицом. Молча, как бы не замечая нас, прошла мимо, небрежно бросила сумку к обножью стола и, не сняв своего демисезонного пальтишка, опустилась на наш прилавок из двух табуреток.

– А хлебушка принесла? – после неловкого молчания спросила Нинка, пока я придумывал, как узнать о самом главном.

– Нет, не принесла... – ответила мать нехотя, через силу.

– Не досталось, да?

– Карточки дома забыла, – с натужным выдохом сказала мать и, решительно встав, принялась стаскивать с себя пальто.

Я подумал, что хлеб можно было взять и без карточек, а потом дома вырезать нужные талоны, а завтра сдать их, куда следует.

Пока я мелким бесом крутился возле сумки, которую изнутри явно что-то распирало, Нинка со всей нахальностью иждивенки спросила напрямую:

– А чего принесла?

Вместо ответа мать молча подняла сумку и выложила на стол ее содержимое: свой измызганный халат, который тут же отшвырнула к печке на стирку, большой тупомордый нож, похожий на косарь, – отцу, как придет, на выточку, пачку старых газет, как она сказала, на расклейку талонов и холщовую сумку, набитую пестрой мешаниной бумажных квадратиков.

– А хлебушка? – из-за края стола оловянно вызрелась Нинка, и губы ее разочарованно сжались в горькую скобочку.

– Завтра принесу, – натужно сказала мать. – Завтра сразу за два дня получим.

Но и на другой день она опять пришла без хлеба и вынуждена была признаться, что никак не может уложиться в норму: слишком мелкие пайки приходится нарезать, особенно когда хлеб еще горяч, плохо замешен или если затупившийся нож не режет, а мнет ковригу, сорит мелким крошевом.

– Ну да ладно, сегодня давайте лепешек напечем...

Я знал, у нее в дальней, недоступной заканке было немного белой муки – берегла «на лапшицу, если кто заболит». Сегодня она

вспомнила о ней еще и потому, что нужно было заварить клейстер – для расклейки талонов.

После недолгого ужина отец, заправив «летучую мышь» керосином и прихватив магазинный затупившийся нож, ушел к себе в сарайку чинить водопроводные краны, чайники и самовары, навесные и ящичные замки, вить пружины для бельевых прищепок или высекать железные подковки на каблуки, которые потом старый красноглазый татарин, называвший отца не Иваном, а Иманом, забирал оптом для воскресной торговли на толкучем базаре.

Мать же, освободив от посуды стол, сняла с него скатерть и на самую середину столешницы высыпала пеструю кучу хлебных талонов. Разрывая газеты на осьмушки и раскладывая стопочками перед каждым, она тем временем объясняла, что и как надо делать. Потом перед каждым же поставила по блюдечку с еще теплым мучнистым клейстером.

Клеить полагалось по сотням. Я, конечно, мог сосчитать до ста и даже дальше, но, оказывается, этого вовсе и не требовалось: просто наклеиваешь десять рядов по десять талончиков в каждом ряду. Так – десять и так – десять. Десять на десять – получается ровно сто. Даже и не надо пересчитывать. Я сразу объявил, что буду клеить красные. Нинке достались желтые, а матери было все равно, и она наклеивала то зеленые, то желтые, а то принималась и за красные. Но я ревниво перехватывал ее руку и предупреждал:

– Это мои!

– Так ведь красных больше других, – говорила мать. – Дурачок, еще не рад будешь...

Наклеенные осьмушки, влажные и отяжелевшие, раскладывали на полу для просушки. И я ликовал, что мой ряд красных талонов оказался длиннее всего. Правда, мать часто отвлекалась, выходила из-за стола и то гремела на кухне посудой, то затевала стирать свой халат, который надо было к утру обязательно высушить и отутюжить.

– Ма, а Нинка талон на пол уронила! – докладывал я оперативную обстановку. – А поднимать не хочет.

– Да-а! – упорствовала Нинка. – Там темно!

– Подними, детка, подними! – наставляла из кухни мать.

– Да-а! – капризничала Нинка. – Там мыши бегают!

Мать оставляла свои дела и на четвереньках принималась шарить под столом.

– Куда же он подевался? – сокрушалась она. – Вот не хватит талона, что тогда? Придется свой отдавать.

Наконец бумажный квадратик был найден, но едва мать вернулась к постирушкам, как возникла новая проблема.

– Ма, а ма...

– Что там еще?

– А Нинка-балбеска свои талоны прямо по Сталину клеит!

– Ой, горе мое! – На ходу вытирая мокрые руки о передник, мать прибежала из кухни. – Мне ж завтра листы эти на контроль нести... А там дядьки такие глазастые! И как я не заметила... Дайте, дайте эту газетку, от греха... Не дай бог...

Пользуясь отлучками матери, мы тоже начинали подфилионивать. Клейка талонов, поначалу показавшаяся нам веселой игрой, постепенно превращалась в нудное, монотонное занятие, и уже не занимало, кто больше наклеит газетных листов. Первой сдавала Нинка. Она все чаще принималась портачить, клеить вкривь и вкось, путать желтые и зеленые талоны, а то и просто откровенно засыпать, уронив на стол свою встрепанную голову. Но правило талонной «игры» было жестко и неумолимо: весь этот ворох талонов надо было во что бы то ни стало перебрать и переклеить в тот же вечер.

Мы с Нинкой тогда еще не знали, что, едва только засереет рассвет, когда мы будем еще дрыхнуть, мать соберет с пола все эти шуршащие, изогнувшиеся листы в одну толстую кипу, затолкает в сумку и помчится в горторговскую дежурку. А там уже очередь! Сбежались такие же хлебные продавцы со всего города. Поэтому, чем раньше поспеешь на сдачу талонов, тем скорее пройдешь эту процедуру. А она занудливая и нескорая. Дежурный, сидящий за барьеркой под низким абажуром, молча, камнелико принимает очередную порцию листов, с треском перегибает их через колено и принимается неспешно, прищуренно пересчитывать, водя по каждому рядку остро зачиненным карандашом и тем же карандашом отбрасывая косточки на счетах. Потом он подобьет общий итог, что-то запишет в толстую книгу, составит под копирку акт приемки, подсунет матери расписаться. После чего прямо по красным, зеленым и желтым листам, по строгим рядам талонов, которые мы старательно выклеивали весь

вечер, пройдет вверх-вниз резиновым катком, опачканным дегтярной краской. «Следующий!» – равнодушно, бесцветно произнесет дежурный, глядя в пустоту перед собой. А мать, заполучив бумажку с указанием, сколько ей, согласно сданным талонам, разрешается получить хлеба на текущий день, уже шлепает через еще пустой, предрассветно серый и гулкий городок к пекарне, ронявшей искры из долгой жестяной трубы, чтобы пораньше заполучить, нет, не хлеб вовсе, а сперва дядю Степана или дядю Демьяна, то есть хлебного возчика. Чуть замешкаешься, и возчики будут уже разобраны. И тогда жди в проходной, пока кто-то из них освободится. Ну а те знают себе цену, не вот-то поспешат под загруз, мнутя, волынят, допытываются, в какой стороне магазин, проезжая ли туда дорога, словом, выжимают тройак, а еще лучше – буханку хлеба. Теплым печным товаром обычно расплачивались уже бывалые завмаги, спецы по сальдо-бульдо, и возчики заведомо знали, кому предпочтительнее подать фургон, а кому – попридержать маленько. Жаловаться на них – только себе в убыток, ибо против жалобщиков они поднимались молчаливой стеной всеобщего неповиновения: у одного лошадь что-то захромала, у другого – ступица на ладан дышит, третий врет, будто уже занят под другой извоз... А весовщик-раздатчик себе шумит: «Эй, кто там? Чья очередь? Что рот распялила?!» – «Так куда ж я его? Все фургоны заняты». – «А мне какое дело? Спи побольше! Выпечка подоспела – хоть в подол забирай. Горячий хлеб – поднимать надо! Твои заботы мне же и на шею». А сам показывает в раздаточное окно два пальца. Это значит, что она может оставить хлеб на часок, но за это придется откинуть две буханки на усушку...

– Нина, доченька! – заламывала руки мать. – Погоди, не спи!

– А? Что? – отстраненно, непонимающе озиралась Нинка, бледная прозрачная таракаха, у которой позвоночник на огонь лампы просвечивается.

– Не спи, не спи, моя крохотулечка!

– А я и не сплю... – не может взять в толк Нинка.

– Еще рано спать. Вон кошка еще не спит, баки расчесывает.

– Это она мышку съела, – объясняю я.

– Ладно тебе, не стражай ребенка. – Мать пригнула мою голову к столу, чтобы я впредь не умничал. А Нинку, переменяв голос, медово увещевала: – Потерпи чуть. Потерпи, моя голубынюшка! Давай еще

поиграемся. – Мать зачерпнула из тарелки горсть неразобранных талонов, приподняла над столом и разжала пальцы: – Смотри, какие красивые талончики: красненькие, желтенькие, зелененькие.

Нинка вяло посмотрела в расщелок волос на пестро мелькавшие квадратики.

– Какие твои? – заискивающе радовалась мать. – Твои же-о-л-тенькие! Иждиве-е-енческие! Ни у кого таких красивых нету. На вот тебе бумажечку. Намазывай клейком, намазывай, детка...

– Не хочу ижди-венские! – капризничала поникшая Нинка.

– А какие ты хочешь?

– Никакие не хочу...

– Как же так? – Мать растеряннo оглядела темные углы комнаты, и глаза ее налились оловянной влагой. – Как же я завтра, если не поклеимся?

Теперь Нинка, встречая вечером мать и глядя на ее брюхатую сумку, уже не спрашивала о хлебе, а покорно и горестно говорила:

– Опять клеить...

Мне же эти талоны начали даже сниться. Среди ночи проснусь, сбегая по-маленькому, думаю, ну все, теперь больше не привидятся. Но только уластюсь, прикрою глаза – вот тебе опять: красное, желтое, зеленое...

Хлеб появился в доме лишь на второй неделе, когда мать понемногу освоилась, обтерлась за прилавком, перестала пугаться гирек. Да и то какой хлеб: почему-то одни куски да обрезки, будто навывпрашивала по дворам.

– А какая разница, – утешала она. – Даже резать не надо: бери да ешь.

Ну, нам с Нинкой, желтым иждивенцам, действительно какая разница! Нам лучше такой, чем никакого.

Вскоре, однако, отец опять в ночи на корточках перед печуркой тянул свою «козью ножку» и озабоченно сипел сдавленным голосом:

– Ну ладно, ладно, буде реветь! Не могу я переносить, когда ты вот так вот... Хватит, говорю!

Тому причиной послужило вот что.

Как-то мать, прибрав магазин и сдав инкассатору выручку, направилась было через проходную домой, как на при заводской улице к ней подошли двое, предъявили корочки и попросили показать сумку.

В ней, как всегда, находился халат, пачка старых завкомовских газет, мешочек с талонами, а надо всем этим – початая тогдашняя пятифунтовая буханка черного хлеба да еще сколько-то обрезки. Спросили, что за хлеб. Мать ответила, что это ее паек за два дня. Попросили карточки, повертели, поразглядывали, сказали, что хлеб надо взвесить, соответствует ли он вырезанным талонам...

Велено было возвращаться в магазин к весам. Мать, конечно, обомлела. И даже не оттого, что будут хлеб перевешивать, с карточками сличать, сколь оттого, что ее, недавнюю ситопробойщицу-ударницу, принародно повели по улице, зорко обступив один слева, другой справа, как под арестом. Сжавшись душой, мать, однако, не противилась, не перечила, а покорно побрела назад, стараясь только не встречаться глазами с прохожими, которые, как ей казалось, останавливались и с осуждением глядели ей вслед.

То ли они, эти двое, хотели припугнуть, посмотреть лишь, как поведет себя задержанная, не выдаст ли себя чем-нибудь, а может, оттого, что мать не вырывалась, не поднимала шума и будто была со всем согласна, ее довели только до проходной и там, у самого порога, внезапно отпустили.

– Ладно, – сказали, – иди пока...

Этот обыск на улице окончательно подрубил мать. Домой она пришла бледная, молчаливая, даже не стала разбирать свою сумку, а молча легла и отвернулась к стене.

А ночью из темной кухни опять доносился возбужденный шепот, и отец, горячась, сердито сдувая с сигарки пепел, прокуренно сипел:

– Не хочешь – увольняйся давай. Иди опять на сита... Раз такое дело...

В общем, пока было решено так, что она больше не станет носить с собой хлеба, а возлагается это на меня. А чтобы не бегать в магазин ежедневно, мать будет отоваривать карточки за двое суток.

– Донесешь-то сразу за два дня? – оценивающе и горестно оглядывала она меня с нестриженных вихров до пят. Разговор этот состоялся на следующий день вечером.

– Да чего там нести!.. – Мне тогда шел уже восьмой год, осенью отправляться в школу, и слышать такое было обидно, будто я и вовсе зачуханный доходяга, не способный донести домой буханку хлеба. Есть, конечно, хотелось все время, едва проснешься – и сразу рубанул

бы чего ни попадя: хоть кислой капусты из бочки, хоть того самого фруктового чаю или магазинных дрожжей. Чего уж: тощей был, суставы на коленках проступали, как головки болтов на два дюйма, но чтобы не допереть домой пайковую ковригу – эт-та дудки!

– Ты только отпуская поболе, – хорохорился я.

– А дорогу-то хоть знаешь? – допытывалась мать.

– На завод?

– А то куда ж...

– Ха! Да мы с пацанами сколь раз туда бегали гудок слушать.

– То ли его отсюда не слышно...

– Отсюда – что! Вот там – как даванет!

– Ну ладно. Завтра, как проснешься, так сразу и подходи. Возьмешь вот эту кошелку. Открыто хлеб нести нельзя: в городе полно бродяг, враз выхватят. Слышишь меня?

– Слышу...

– А в магазин надо заходить не через проходную, а прямо с улицы. Да ко мне не лезь, а станешь в очередь. Войдешь и скажешь: кто последний? Как все...

– Ладно.

– ...а когда очередь подойдет – подашь мне карточки и деньги. Кошелек на дне кошелки лежит. Не потеряй смотри!

И вот утром, хватив теплой водицы из чайника, бегу я на завод. Пустая зануда-кошелка из чакана болтается в руке, путается в ногах, мешает бежать, а так все хорошо: прокапал небольшой дождишко, пришиб пыль, освежил квелую, запоздалую зелень, выглянувшее из серой кашицы облаков умытое солнышко приятно обнимает плечи, и только босым ногам еще прохладно шлепать по лобастым уличным булыжникам.

Бежал, поглядывая на деревья, высматривая себе липу, чтобы пощипать молодых листьев. Они без всякого вкуса и даже ничем не пахнут, но зато нежны, легко жуются, полнят рот пресной пенистой массой, и двумя-тремя жменями вполне можно приглушить голодное нытье в животе. А скоро зацветет акация, и тогда в ход пойдут белые, медово пахнущие гроздья соцветий. Вкуснотища! Но если пожадничать, перебрать лишку, то может стошнить: таится в них какая-то рвотная добавка. А там пойдут незамысловатые подзаборные калачики, те можно есть сколько хочешь, безо всякой опаски. Недаром

их еще просвирками называют, церковными плюшками. А еще – лопушьи корни, надо только не пропустить, чтоб не переросли, не превратились в лыко. А пока молодые – ничего, даже маленько сластят. Правда, губы пачкаются цепкой желтой краской, потом плохо отмываются, так что ходишь желторотиком, как иждивенец...

Еще издали начинало тянуть угольным дымком, железной окалиной, разогретым машинным маслом. Так пах наш завод. Не знаю, может быть, в моем организме чего-то не хватало, но я до упоения любил эти запахи, так же, как потом всю жизнь наслаждался креозотовым веяньем шпал и ни с чем не сравнимым духом чугунных мостов. А если угадать ко времени, то можно вблизи услышать оглушительный рев заводского гудка, от которого закладывало уши, и мы, пацаны, ничего больше не слыша, даже собственных слов, обалдело и счастливо таращились друг на друга.

Перед магазином я все-таки не удержался и сбегал посмотреть в окна заводских цехов, выходявших прямо на улицу. Нагородив под ноги тройку кирпичей и припав к пыльным стеклам, дребезжавшим от внутренней работы, я замороженно созерцал, как сумасшедше неслись трансмиссионные ремни, чем-то шлепая и мелькая на стыках, и как перед самым моим носом нескончаемо и кучеряво вилась металлическая стружка, легко, безо всякой натуги устремлявшаяся из-под толстого и как бы равнодушно-тупого резца, сперва сверкая дорогой позолотой, но сразу же густо синяя, а затем и бурея от перекала.

На эти чудеса можно было смотреть бесконечно, но рядом были еще и другие окна, и я перетаскивал кирпичи к соседним проемам, за которыми открывалась иная работа: подбадриваемые воздуходувками, непрерывно гудели горны, полыхавшие синими коронами огня, брызгавшие синими колкими искрами и озарявшие все и всех вокруг синими мерцающими бликами.

А еще хотелось подглядеть отца, и чтобы он увидел меня тоже и, воссияв, сконфуженно заулыбавшись, сказал бы друзьям-молотобойцам, что, дескать, это его сорванец, вон какой вымахал, осенью в школу отдаст. И все оставили бы работу и одобрительно закивали бы в мою сторону, выставили бы большой палец. А отец подошел бы к окну и сквозь шум горнов спросил бы знаками, мол, ну как дела, а я бы кивнул ему, как равный равному, как трудящийся

трудящемуся, мол, все нормально, иду вот карточки отоваривать сразу за два дня. Однако отец на глаза что-то не попадался, должно, как он говорил, «пребывал на территории», что означало: возился в куче железа, отбирая нужные листы для раскроя. Молодой чубатый молотобоец, обнаженный до пояса и влажно блестящий огненными бликами, погрозил мне пальцем. В ответ я высунул ему язык, и тогда он щипцами выхватил из горна раскаленную, бело светящуюся железяку и сунул ее под самое стекло. Я мигом лепетнул прочь. Конечно, можно было еще возле цехов в мертвой зашлакованной заводской земле поискать блескучих шариков от тракторных подшипников – высший класс для рогаток! – ну да ладно, в другой раз, а то теперь мать, поди, все глаза проглядела. Вот войду, а она строгими глазами спросит, мол, где шлялся, язва моей души, а не ребенок?

Очередь за хлебом видна была еще издали. Не спрашивая, кто последний, я пристроился позади какой-то тучной техни-растетехи в жарком цветастом халате. Около получаса разглядывал я на ее попе разлапистые хризантемы, разившие керосинкой, прежде чем очередь втянулась в дверной проем. Сзади меня подпирала еще одна тетка, лица которой я так и не увидел за все стояние.

Едва я ступил за порог, разом шибануло густым бражным настоем теплого хлеба, от которого меня изморно шатнуло и рот переполнился чуткой на еду слюной.

– Мальчик, не толкайся! Стой, пожалуйста, смирно, – одернула меня тетеха, не оборачиваясь, потому как повернуться ей стоило немалых усилий, все равно что повернуть шкаф.

Я вспомнил про остатки липовых листьев, прилипших под майкой к моему взопревшему телу, и, дабы сбить голодную слюну, принялся вытаскивать по одному из-за пазухи и заталкивать в рот. Но жевать обмякшие, пропотелые листья, глядя на ряды хлебных ковриг, источавших умопомрачительный запах, было просто противно, и я тихонько выплюнул пресную зелень себе под ноги и растер голыми пятками.

– Да что ты там все ворочаешься? – опять рассерчала тетеха, разившая керосином. – Ты с кем, где твоя мать?

Я взглянул в узкий прощелок между сдавившими меня телами, где по ту сторону прилавка бело мелькала моя мать, но она все еще меня не видела, и я промолчал.

– Это ваш беспокойный ребенок? – спросила тетеха, повернув голову к правому плечу, что означало, что она обращалась к позади меня стоявшей женщине.

– Вы – меня? – почему-то испугалась женщина, лица которой я не видел из-за сильно выступавшего бюста.

– Да, да! Я вас спрашиваю! Своей ужасной корзиной он совершенно издергал мои чулки!

– Нет, нет, это не мой мальчик.

– А чей же еще?

– Я сам... – глухо пробормотал я.

– Что значит сам... Ты что, один тут?

– Ну, один...

– Ты тоже за хлебом? – поинтересовалась женщина, стоявшая сзади.

– Ну, тоже...

– Может, тебе душно? – спросила она же, должно, заметив по моему лицу, что меня подташнивало. – Пошел бы да погулял пока...

– Не надо мне гулять. Я тут буду.

– Ну, тогда стой и не вертись, – задом потребовала тетеха.

В общем продвижении очереди вдоль застекленной витрины, заполненной папье-машевыми калачами и сушками, я постепенно протиснулся к открытому участку прилавка, служившему проходом для продавца, и наконец хорошо, без помех увидел свою мать за рабочим местом. В пылу непрерывного и расторопного дела, где конец одного движения сразу становился началом другого, и так без роздыха, без передышки, пока не опустеют хлебные стеллажи, мать, должно, все еще не успела заметить меня, мои вихры за краем прилавка, ибо, сколь я ни вглядывался в ее сосредоточенное и строгое лицо под белым, по самые брови надвинутым чепцом, она ни разу не взглянула на меня узнающе, будто я был чужой и ничейный. «Это же я! – подмывало меня сделать о себе знак, подать голос. – Ты что, не узнаешь меня? Это же я пришел, как договорились...» Но я все не находил подходящего случая: то она отворачивалась, чтобы взять с полки буханку, то сосредоточивалась на утиных носиках весов, то пересчитывала денежную мелочь. И я, припав подбородком к холодному жестяному листу, обнимавшему прилавок, выжидающе следил за каждым ее жестом, наклоном и поворотом.

Иногда она нагибалась, доставала из-под прилавка точильный брусок и торопливо вжикала по нему широченной плахой хлебного ножа. Дома она жаловалась на одолевшую крошку. Это – от тупого ножа, который лохматил и крошил хлеб, особенно свежий. «Крошка – она ведь невосполнима, – говорила мать. – Хлебный обрезок еще можно в зачет пайка положить. А крошку покупателю не навяжешь. Все это хотя и граммушки, да день велик...» В первые дни она приносила точить нож домой. Но его хватало всего на несколько буханок. Оказалось, жесткая зажаристая верхняя корка тупила нож не хуже кирпича. И вот теперь она наловчилась править нож сама. И делала это мгновенно, несколькими взмахами проводя по бруску то правой стороной, то левой, точно так, как правят бритву в парикмахерской. И верно, после точки мягкая теплая буханка переставала прогибаться под освеженным лезвием, а главное – не сорила крошечком.

А еще мне нравилось, когда мать удачно разрезала буханку надвое. Скажем, надо отхватить полкило – чик! – и точно: полкило! Без повторных перевесов. Но больше, конечно, мазала, и постепенно вокруг хлебной доски накоплялись куски и кусочки. Она сбывала их, как могла, порой нарываясь на раздраженное сопротивление, исходившее главным образом от женщин, а мужчины, особенно старички, брали безропотно.

Тем временем плотно стиснутая, распаренная, разящая потом и старым тряпьем очередь постепенно перемещалась, волоча внутри и меня, как влипшую муху. Чтобы было чем дышать, я прижимался подбородком к железной обивке прилавка, на котором на уровне моих глаз совсем близко виднелась россыпь хлебных кусков и кусочков. До самых близких можно было запросто втихую дотянуться рукой. Тем паче что тетки, облеплявшие меня спереди и сзади, вовсе не видели меня и не заметили бы, как я, улучив момент, мигом цапну совсем маленький обрезочек. Не тот вон, за который потребуется, может, целый иждивенческий, а то и рабочий талон, а вот этот – махотулишный и никому не нужный, в полспичечного коробка. А уж если на то пошло, то и нечего мне озирааться на бабуль. Если бы за прилавком стояла какая-то чужая тетка, тогда другое дело... А то ведь мамка моя! Разве она сможет сказать что-нибудь против, если я потянусь и просто так возьму кусочек черного хлебца?! Ведь мы же с

ней вечерами вместе все эти талоны клеили! А если что, то пожалуйста: будет отпускать мою норму, может вычесть этот кусок из моего пайка. Чтоб все по совести.

Последний довод показался мне настолько убедительным, что я, привстав на цыпочки, не спеша посунул рукой по железу к облюбованному кусочку. При этом я смотрел не на хлеб, а в лицо матери, ища ее взгляда и покровительства. Она заметила-таки мое движение, и я в ответ заискивающе приветно заулыбался, как бы давая знать, что это я, а не какой-нибудь пакостник и воришка. Мать, кажется, наконец-то узнала меня, и сердце мое от негласного одобрения пролилось чем-то сладким и теплым, и я, благодарный, накрыл ладонью хлебушек, как если бы бережно накрыл зазевавшегося на крыше воробья.

И тут что-то холодно взблеснуло над прилавком, и вмиг я почувствовал резкий удар плоско развернутого хлебобрезного ножа. Острая ожоговая боль полыхнула по всему запястью. Но я почему-то не отдернул руки – может, потому, что, еще весь полный счастливого доверия к материнскому взгляду, вовсе не был готов к этому, полагая, что произошла ужасная ошибка. С недоумением глядя в лицо матери, пытаюсь уловить в нем признаки вины и сожаления, я все еще продолжал сжимать в кулаке теплый хлебный мякиш.

Но она жестко, отчужденно крикнула:

– Убери руку!

«Ты чего? – вопрошал я ее одним только смятенным взглядом. – Это же я, я!»

– Убери руку, сказала!

От этих ее тяжких, рубящих наотмашь слов я растерялся.

Стиснутый очередью, сомлевший в ее духоте, я окончательно был раздавлен и растерт этими тяжкими, бьющими наотмашь словами и почувствовал, как ослабили и ватно обмякли мои ноги. И, утрачивая реальность, ощущая в глазах радужное мелькание какого-то размоленного стекла, я выпустил из онемевших пальцев измятый кусочек хлеба, оттянул руку и, присев на корточки, спрятался от всех у подножия прилавка.

– Да, но и так тоже нельзя – ножом! – ужаснулась задняя женщина. – Мало ли что, нож все-таки...

– Ножом, это, конечно... – тоже не одобрил кто-то из мужчин. – Это ты зря, Лексевна. Надо для таких случаев палку при себе иметь. Как в других магазинах.

– Каков, однако! – развернула-таки свой шкаф теха-тетеха. – Небось и по карманам горазд? Ну-ка, проверю, цел ли кошелек...

– Давай сюда твои карточки, – наконец раздался из-за прилавка посеревший материн голос. – Где твоя кошелка? Слышишь, мальчик? Давай, я...

– Не надо! Не надо мне ничего! – срываясь на визг, выкрикнул я и, зашвырнув пустую плоскую кошелку за прилавок, захлебываясь обидой, головой раздвигая лес ног, ринулся к выходу.

Аз-буки

*Не спрашивай меня о том, чего уж нет,
Что было мне дано в печаль и в наслаждение...*

А. Пушкин

В ту весну распустило рано, чуть ли не в половине марта, или, как определила моя бабушка Варя, аж на самого Федота, будто бы хранителя санного пути.

Возле бабушкиной избы уличный порядок прерывался никем не занятой излогой, езжий путь прогибался здесь так, что от подводы оставалась видна только одна дуга, мелькавшая в лад с конской побеежкой. Днями в эту ложбину забрела из реки ранняя вода, подтопила зимник, и бабушкину избу возницы стали объезжать стороной, огородами.

– Чево деется! – поглядывала она в кухонное оконце, выходявшее как раз в излогу. – Это же надо: сам Хведот штаны замочил! Еще недели две опосля Хведота мимо нас на санях ездить бы...

Святочтимого Федота она величала без всякого почтения, вроде как обыкновенного деревенского мужика, что-то там не сумевшего спроворить, и не на церковную букву «ферт», а на простоволосый манер: Хведот. Так же, как фонарь называла хвонарем, фуфайку – кухвайкой, а ругательное «финтифлюшка» произносила как «клинтиклюшка». За этот ее косноязычный выговор я, стыдясь за нее, потом долго считал бабушку деревенской темнотой и лишь много спустя открыл для себя, что, оказывается, в исконно славянском языке не было слов на букву «эф» и что все слова с такой буквой в своем начале и даже внутри – чужие, пришлые, не свойственные нашему звукоречию, а потому истинно славянский говор долго сопротивлялся инородному новшеству и переиначивал привнесенные звуки на свой лад. И получилось так, что славяно-русские города всех раньше сдались на милость чужестранного ферта, тогда как удаленные от книжности запредельные селеньица и деревеньки и по сей день упрямятся, не приемлют чужое, двухперстно, раскольню твердя: Хведор! Хвиллип! Анхвиса! Или: хверма, хвляга, хвуражка, тухли,

квасоль, картоха... И было мне, глупому, невдомек, что все эти искажения не от невежества, а следствие естественного, непроизвольного отторжения органов чужого слова, и проистекало оно на уровне православного раскола: тремя перстами осенять душу или двумя? С буквой «эф» осмысливать бытие или без нее?

Тем временем, поглядывая в оконце, баба Варя вовсе не сокрушалась из-за нагрянувшей распутицы, разделившей деревенскую улицу на два конца, и, кажется, была даже рада тому, что какой-то Хведот влез в лужу и замочил штаны. Помянув же о скорых «сорока мучениках», она и тут не померкла лицом в канонической скорби, а как-то озоровато воссияла всеми своими морщинками, верно своей языческой сущностью больше тяготея не к строгим порталам храма, требующим смирения, а ища и не находя своего Бога в родных займищах и кулигах, день ото дня полнившихся внешним лучезарьем, каплезвонким снеготалом, гамом, вскриками и пересвистом сорока сороков сорок, сарычей, грачей и подсорочников.

– Не успел на двор Хведот, а его уже Герасим взашей толкает, – протерла запотевшее стекло бабушка. – А Герасима – Конон, а Конона Василий поторапливает, своего места хочет... У каждого особ норов. На Василья с крыш капает, а за нос еще цапает. Ну, да цапай – не цапай, а там уж и сороки – вот они. Знай, готовь квашню, солоди жито... Кулики-сороки полетят...

Был я тогда лет пяти или в начале шестого, медово рыж, острижен наголо, со следами золотушного крапа, ушаст, безбров и конопат, с болтавшимся на единой жилке верхним молозивным зубом – словом, этакое посконное «чевокало». У бабы Вари я числился внуком-первенцем, так что, если прикинуть, то какая же она бабушка в свои от силы пятьдесят годов? По нынешним временам такие румянят тыквенно округлые щеки и носят вздыбленные гофрированные юбки выше оплывших колен. Моя же баба Варя уже тогда казалась мне законченной бабулей, Варварой Ионовной: под белым косым платочком – желтенькие швыдкие глазки в прищуре, нос утицей, привядшие губы, будто сдернутые шнурочком, чтоб, казалось, не говорила, не просыпала лишнего... Кофтенка на ней неприметная, из ситцевого мелкотравья – мышиный горошек с вязелем, но зато юбка – из грубого волосяного тканья, о которое бабушка походя наводила блеск на всякой меди, – и впрямь первая на ней одежда: без

определенных размеров, вся в вольных складках, готовых во всякий миг ринуться вправо ли, влево ли вокруг нее, и все это почти до пола, и если меня спросить, во что обувалась баба Варя, то я, пожалуй, не вспомню, потому что под этими складками, кажется, ни разу не видел ее обуви. Зато памятен ветер, который, сама будучи неказистой, ростом деду Алексею по грудную пуговицу, взвихривала своей юбкой, когда принималась домовничать, шастая бесшумно, словно витая от печи в сени, из сеней снова к печи с беремком лозовой поруби и опять за порог с переполненной лоханью, на погребницу за капустой или в горницу к лампаде за огоньком.

– А сороки – это чево?

– Это когда со всех деревень в урёму слетятся сорок сороков сорок да почнут гнезда ладить.

– А урёма – это чево?

– Лесная чащоба, которую весной половодьем заливают. Урёма, стало быть...

– Дак и чево?

– Ну, слетятся, почнут хлопотать свои хлопоты. Бывалая сорока – та прежний свой домик принимается прихорашивать, а которая впервой – той приходится новый заводить. Сорочье гнездо – не так себе, а затейливое. На него много надо палочек. Сорок прутиков – это токмо на донце, два раза по сорок – на застенки, да еще сорок – на кровлю, чтоб невзгода не досаждала. Сорочин палочки носит, а сорочиха их кладет, тот принесет – та положит, опять принесет – опять положит. Эдак с утра до вечера. Толечки заря наклюнется, а они уже за свое. И вот тебе затопорщится по болотным гривам, на недоступных деревьях, в калиновой чаще сколь пар сорок, столь и птичьих починков.

– И чево?

– Как это – чево? Вылупятся сорочата, начнут на весь свет сорочить, есть просить – вот тебе и весна! Птичья забота.

– А кулики – чево?

– А кулики, знай себе, полетят. Каждый кулик со своей куличихой. В одну ночь сорок да в другую сорок, да еще сорок. Сколь пар, столь надобно и кулижек. Пи-и-ти – пить! – эдак они с дороги просят. Издалека, поди, летели, уж намахались-то! Присядут на песочек, засунут в тинку сорок пар носов, напьются вдосталь и давай дудеть, выдувать пузыри: бу да бу, бу да бу! И оттого у них, у куликов, своя

весна получается, свои хлопоты. А от птичьей весны и нам чего ни то перепадет – хлопот и веселья.

По бабушкиным счетам до сороков оставалось еще два дня, а мне хотелось, чтобы все делалось сразу, и потому время мне короталось в томлении, похожем на скрытое недомогание. Все эти дни дедушки Алексея не было дома, с ранним светом он уходил к мужикам на деревню смолить чью-то лодку, приходил потемну, от него дегтярно разило варом, а от усов пахло водкой и сырым головчатым луком. Он ершил мою сонную голову, цокал нескладным языком и шел спать на поостывшую печь.

Бабушка, опасаясь, что я непременно залезу в мокреть и замочу ноги, не выпускала меня за порог, и я, скучный, готовый реветь, весь остатный день обретался дома, отыскивая себе сколько-нибудь подходящие шкоды. Больше всего я торчал у окна, примечая внешние перемены. Бабушка ставила передо мной блюдце с зеленым конопляным маслом, посыпанным солью, возле клала ржаной ломоть – для моей занятости, а сама, набросив на плечи ватную одежду, в который уже раз шла кликать, заманивать в сени гусыню по прозвищу Матвевна, или просто Мотя, чтобы посадить ее на гнездо. Матвевна – серая, дородная, медлительная гусыня, вдруг засвоевольничала, не хотела вылезать из большой замоины перед избой и вместе с соседскими гусями в гомоне и перебранке истово макалась в набрякшую снежную кашу, наплескивала на себя воду изворотами шеи и, довольная, вскидывалась на пунцовых ногах, восторженно простирая крылья, как бы просушивая их на хватком весеннем сквозняке.

От кухонного окна я перебирался вместе с хлебом и блюдцем к окнам безлюдной горницы, где в сумеречном углу перед невнятно мерцавшими образами разновеликих икон ровно, без вздрагиваний и колебаний, процеженный и хранимый синим стеклом лампы, блекло мерещился голубоватый пламенек, вызывавший у меня, непосвященного, трепетную робость и желание поскорее пройти мимо. И ничуть не перечая этой смиренной горничной тишине и отрешенному свечению негасимо бдящего комелька, бойко, озабоченно маятили ходики, пересчитывая и распределяя секунды: «туда-зюда, туда-зюда...», металлически подскаргыкивая, вернее, подзюкивая на правом качке.

Эти ходики считались единовластной собственностью дедушки Алексея. Всем остальным раз и навсегда воспрещалось к ним прикасаться. Он единственный во всем доме и даже в деревенском роду имел право подтягивать гирю, запускать маятник, двигать стрелками, поверяя их верность ходом харьковского экспресса, ровно в полдень громыхавшего по гулкому чугунному мосту в трех верстах от деревни и полнившего заречный лес раскатистым ревом, многократ повторенным дубравным эхом.

Ходики были приобретены в самый расцвет нэпа на одной из многочисленных тогдашних ярмарок, ломившихся от изобилия еды и добра, и сами имели весьма веселый, «процветающий» вид, который придавала им лицевая цифирная доска, окрашенная белой эмалью с разбросом по ней синих васильков.

Перед каким-либо большим праздником, когда бабушка Варя устраивала вселенскую стирку, выскребку горшков, чугунков, черепух и черепушек, кислым тестом обмазывала оба самовара – чайный и постирушный, а потом драила их шерстяной рукавичкой, дедушка Алексей тоже ввязывался в уборку: снимал с гвоздя свои ходики и шел с ними к горничному столу, всегда заправленному скатертью. Там он отдергивал ситцевую занавеску, чтобы было виднее, и, надев очки в тонкой проволочной оправе, каковые нашивал Добролюбов, и напустив на себя значимости и чина, принимался обстоятельно изучать часовой механизм, время от времени дотрагиваясь ногтем до какого-либо колесика или винтика, пробуя их на долговечность. Не найдя, что следовало бы исправить, дедушка доставал запрятанное на божнице специальное гусиное перышко, на котором оперенье в виде лопаточки было оставлено лишь на самом конце ости, макал им в пузырек с деревянным маслом и дотрагивался прозрачной капелькой до всех причинных мест в механизме, где происходило какое-либо верчение, качание или иная полезная работа.

– Ну, теперь будем ждать харьковца, – удовлетворенно говаривал дедушка, водворяя часы на прежний гвоздь.

Из двух горничных окошек виделась близкая река. Она грозно вздыбилась поднятым льдом с долгими зияющими разломами. Ледовое поле отделилось от берега сплошной черной полыньей, которая исподволь, день ото дня скрадывала береговую отлогость и уже подступила к нижним огородам, подтопила плетни, капустные ряды с

торчащими кочерыгами, и было видно, как межгрядные тропы уходили прямо в темную глубину.

– Не сѣдня-завтра вода сорвет лед, – говорила бабушка. – Того гляди, попрет во дворы...

– И чево?

– А тово! На печи будем сидеть...

В горнице я не задерживался подолгу: быстро наскучивали пустынная затаенность реки, неуют протаявших берегов, и я опять возвращался на кухню, откуда по ту сторону затопленной излоги виделось несколько деревенских дворов. Там всегда находилось что-либо живое. Вон в затишке у забора под надзором осанистого, в золоченых позументах петуха копошились куры, дружно, всей артелью выгребали что-то из-под куста, взмелькивая желтыми голеньями. По тесовой крыше соседнего сарая, по самому ее гребню, поддерживая равновесие отвесно задраным распущенным хвостом, пробирался тетки Затеихи рыжий котище. Он воровато озирался, надолго замирал в неловкой позе, должно быть, мня, будто его никто не видит, тогда как этот ворох огненной шерсти с белой помаркой на носу уже давно заметили все окрестные воробьи, и даже мне издали было видно, что крадется к скворешне неисправимый пройдоха и плут. Сама же тетка Затеиха в тени сарая, на синем куске оставшегося снега, налегке с оголенными до плеч руками истово, будто провинившегося, колотила веником полосатый половичок. А у воды толпились пацаны, краснолице галдели, меряли заберегу шестами, пускали скачущие «блинцы»... И время от времени все летели и летели на ту сторону, в лесное заречье, взмелькивали белым, будто вспыхивали при каждом взмахе долгохвостые сороки.

Иногда перед окном, когда я ел свой хлеб, появлялся дедушкин пес Сысой – неловкий лопухий увалень желтоватого телячьего окраса. Ему было всего только семь не то восемь месяцев, а он уже сшибал с меня шапку дружеским помахиванием хвоста. Дедушка Алексей под веселую руку привез его от знакомого лесничего как гончего щенка. Ружья однако у дедушки не имелось и никогда не было, тем паче что к зайцам из-за торчащих желтых резцов он относился с брезгливой опаской и сроду не ел их мяса. Для чего понадобился дедушке именно гончак, начисто не способный что-либо охранять по двору, никто не знал, да и сам дедушка тоже.

– А-а, ладно! – Он с добродушной виной махал от себя ладонью, будто кого-то отпихивал, и, смеясь, разрешал все недоумения. – Пускай себе бегают...

Сысой глядел на меня, склоняя свою огромную голову с ложбинкой посередине из стороны в сторону, обвисая то правым ухом, то левым, нетерпеливо пританцовывал передними лапами или же присаживался на зад и скреб жесткой когтистой пятерней дощатую завалинку. Глаза у него тоже тяжелые, теплые, совсем как у бабушки Вари, в них не было ни капюшки злости, а лишь открытый и ясный свет доверчивой души щенка, верящего, как и все мы, что он рожден для счастья и все ему друзья, а еще – желание пообщаться, дружески лизнуть щеку. Над каждым его глазом бугрилась темная родинка с пучком длинных волос, время от времени он вздергивал эти родинки, удивленно морщил лоб, будто недоумевал, почему я, его лучший друг, не отвечаю... И как бы испробовав все способы пробудить мое внимание, приоткрывал алую, истекающую слюной пасть, встряхивал оборками щек, коротко и резко выдыхал: «Дай!»

А как я мог дать, если был отгорожен двойной оконной рамой? Хлеб я уже доел, осталось только немного масла на самом донце блюдечка, которое я пытался собрать согнутым пальцем. Давать было нечего, и я замахнулся на Сысою, пробормотав слышанное от взрослых: «Бог подаст!»

Сысой не понял и еще раз встрянул брылами: «Дай!»

– Сказано, нету-у! – осерчал я и повернул к нему пустое блюдце. – Видишь, нету ничего? Какой беспонятный!

– С кем это ты балакаешь? – в дверях горницы появилась бабушка Варя.

– Да вон... вытаращился... Лапой скребет...

– А-а, Сысойка! Щас, щас я ему щец вчорошних... А то, говорят, нехорошо, ежели собака так-то глядит да в свое окно лаетя...

– А чево – нехорошо?

– Говорят, не к добру это... Будто к неурожаю, к бесхлебице...

Поди, и верно это: на другой год бабушка уже не выдергивала лебеду у плетня да по-за сараем, а берегла ее и даже поливала – в хлеб добавлять. Это – в тысяча девятьсот тридцать втором...

И еще она сказывала, будто перед самой войной точно так же скребся в окно Сысой, уже взрослой собакой, с понятием... Вынесли

ему похлебать, а он только понюхал, но есть не стал и сызнова принялся скрести под окном завалинку.

А после войны, в самый раз на день Победы, увидел Сысой в открытом окне дедушку Алексея, сел перед ним и завыл, срывая иссякшим голосом. А вскоре сбежал со двора и больше не вернулся... В том же году по осени ушел из дому и дедушка Алексей – просить милостыню...

В самый канун сороков я проснулся среди ночи от ощущения неуют, как если бы со мной что-то случилось. Провел языком по тому месту, где еще днем телепался передний зуб, но язык беспрепятственно провалился в ужасающую пустоту. Казалось, что дыра простиралась от уха до уха, будто настезь распахнутые ворота. Большого унижения я никогда прежде не испытывал. Я почувствовал себя таким несчастным, что, отрешившись от всего, одинокий и жалкий, ткнулся ничком в подушку и заревел. Это была моя первая серьезная потеря, ринувшая меня в бездну предчувствия собственной брениности.

– Што ты? Што ты? – сонной торопью отозвалась из своего угла бабушка.

Я продолжал гундеть в подушку, дергаться оголенными плечами.

Бабушка свесила босые ноги с лежанки.

– Иду, голубь мой! Иду...

В просторной полотняной рубахе с выпавшим на грудь крестиком она присела на край моего топчана.

– Приснилось чеве?

– Да-а! – заревел я опять, на этот раз обидевшись на бабушку, на ее непонятливость, и сердито вытрубил: – Зу-у-б!

– Ах ты мой голубчик белый! – Бабушка шершаво огладила мое плечо. – Ну, будя, будя... Горе твое не горькое. Зубки еще нарастут... Уж не проглотил ли часом?

Она запустила под меня руку, провела ею по простыне и радостно объявила:

– Ан вот он, зубок-то! Нашелся! Махонький, как зернышко! Как пошаничка! На-кось, взгляни!

Глядеть на свой зуб я брезгливо не захотел, и бабушка сказала:

– А вот мы ево щас под печку забросим...

Придерживая щепотью долгую ночную рубаху, она прытко, босогого прошлепала в кухню, тускло озаренную каганцом на припечке, что-то там пробубнила, черной тенью отражаясь в простенке, и вернулась веселая:

– Ну вот, отдала зубок... Подарочек сделала...

– Кому? – не понял я.

– А старичку-домовику, што в подпечи живет... На тебе, говорю, зуб старый, а ты нам за то дашь новый. Зубок новый, каленый, стойчей злата, прочней булата. Не будешь ослушником – дак и даст...

– А он – кто?

– Дак старичок, говорю. Этакой, меньше пальца. Но не гляди, што мал, зато серди-и-ит бывает! Коль не уважишь. Ежли што не так, ни за што печь не истопишь. Будет дымить, глаза высеет. Топишь, топишь – а картошка в чугушке сырьем громохтит... Потому как огонь без силы: руки в него сунешь – и хоть бы што... Это когда он рассерчает... А ежли уважишь – ну, тогда и хлеб спечется на славу, и каша духовита да рассыпчата... Вот завтра увидим, когда куликов начнем печь... Доволен ли твоим зубом?..

Прикорнув рядом, бабушка Варя еще долго наговаривала что-то, ее негромкие, шелестящие слова лились обволакивающей струйкой, размягчая тело, затуманивая мысли, и я покатился, покатился было куда-то в заполненное теплой тишиной пристанище, как вдруг в покинутом мной мире раздался резкий и жесткий вскрик, от которого я вздрогнул, напрягся тревогой.

– Ба-а! – позвал я, потянувшись рукой.

– Вот она я, вот она... – обняла меня бабушка.

– Это – чево? Чево кричало?

– Дак это Матвевна... Спи давай, спи...

– Какая Матвевна? – начисто запамятовал я.

– Да гусыня наша, Мотья! Никак не угомонится, оглашенная. Только сѣдни на гнездо посадила. Под лавкой в лукошке сидит. Ишь как гагакнула, аж ведра зазвенели.

– Чево ей?

– Гусей чуе. Теперь там в темноте дикие гуси летят. Переговариваются между собой, штоб не потеряться. Я не слышу отсюда, из хаты, а Мотя слышит. И как гомонят на лету, и как

крыльями посвистывают. Ей ведь тоже с ними охота. Все воли хотят, да каждого свое бремя держит...

– Ке-ге-х! – опять призывно, остро, со стальной звонцой вскрикнула Мотя, и желтый косячок ночника на выступе печи закачался ответно.

Проснулся я поздно, разморенно, с ленью во всем теле и не сразу вспомнил, какой ныне день. А вспомнив, подскочил как подстегнутый, спрыгнул с топчана и кинулся к горничным окнам в предвкушении увидеть что-то необыкновенное, что ожидалось все эти дни. Но за окном клубился серый туман, заполнивший все пространство будничностью и скукой. Порой его ватные рулоны подкатывались к самой избе, отчего в горнице делалось сумеречно, как в зимнюю вьюгу. И только когда мятущиеся клубы отступали вспять и туманная толща редела, обозначая просветленные разводы, по скоротечному золоченому сиянию в них угадывалось, что где-то в заречье, по-над лесом уже воспряло солнце и принялось за свои неотложные дела.

За космами тумана я не сразу заметил устрашающую близость полой воды. Зловеще темная под сизой наволочью, она уже не подбиралась вкрадчиво, а, вся в разводах пенных завитков и воронок, истово, напористо мчалась в нескольких шагах от завалинки, так что я поначалу даже отпрянул, устрашась этой ее близости.

– Видал, чево деется? – окликнула меня бабушка, громыхтевшая на кухне утварью. – Не упомню такой воды. А теперь вот туман доест последний снежок – того боле прибавит. Хоть берись вязать узлы да на чердак стаскивать... А дедка наш и не ночевал ноне. Все чужие лодки смолит. А своя, небось, щелястая...

В избе было натоплено, половицы ласково теплили босые ноги, сама же печь, уже прикрытая заслонкой, умиротворенно, вся в знойной истоме, еще издали двошила сухим крепким жаром, источая дух каленых кирпичей с пряной примесью ржаного хлеба.

Вид большой деревенской дёжи, уже опорожненной, заляпанной остатками теста, и это живое обволакивающее дыхание истопленной печи вернули мне чувство праздничной необыкновенности. И в то же время холодом полоснуло при мысли, что все уже состоялось без меня, что самое главное я проспал...

– А где кулики? – поспешил я выяснить в испуге.

– Ишо и не думала, – обидно сообщила бабушка.

– Как не думала? – враз разлюбил я ее. – Ты же говорила.

– Ну да не пришел черед. Сперва хлеб надобно. Буден день правит всякий праздник. В будни не поешь, дак и в святой день калачом не наешься. Вот токмо хлебушко посадила, помогай Господь. Ну-ка, семь ковриг вымесить: две займы брато, еще две – тоже не себе, остальные – наши. Это же кажную вынянчить да огладить, да на под высадить... Жаркая это затея, небось кувшин квасу испила... Так што, голубь мой, за куликов ишо не бралась. Вот передохну маненько, да и примемся с тобой за свистульки.

Бабушка присела на лавку, сложила в колени расслабленные руки с грубыми, онемело замершими пальцами, и я, глядя на них, тайно удивлялся, как можно такими корявыми пальцами что-либо вылепить из непослушного теста.

И уже убрав со стола все лишнее, выскребя ножом столешницу и высеяв пшеничную муку тонким волосяным ситом, она наговаривала мне, восторженно следившему за каждым ее действием:

– Кулик – это тебе не то да се да энто самое... Ево из хлебного остатка, из одольев не вот-то скварнакаешь. Сиволапый получится. Кулик – он ба-а-а-рин. Што лепился-то ладно да послаже был... Вот берегла запасец на случай хвори, избавь, Матерь Божья, ну да ладно, коли слово дала.

Ситечко величиной с обеденную тарелку часто, монотонно мелькало в ее руках. Бабушка удерживала посудинку одними только пальцами, тогда как сами ладони оставались свободными, коими она и подталкивала лубяной обод то вправо, то влево и так часто, что казалось, будто это вовсе не сито, а веселый плясовой бубен в ее оживших руках: та-ти, та-ти, та-ти, та-ти...

Белый ворошок просеянной муки постепенно нарастал на середине стола, мучная пороша тонко рассеивалась вокруг. Я выставил указательный палец и провел по столешнице произвольную зигзагу.

– Эт ты чево нахудожничал?

– Так просто...

– Уж большой просто так пальцем водить, – осуждающе сказала бабушка.

– А как? – я не понял строгости в ее голосе.

– Ты давай учись буквы писать. Знаешь буквы?

– Н-не-к...

– Вот тебе раз! Выходит, я – темень и ты не больно-то грамотей.

Бабушка стерла ладонью мою прежнюю загогулину и на том месте подсеяла свежей муки.

– Вот и давай... И бумаги не надо, и карандаш при тебе.

Я этим самым карандашом почесал в раздумье макушку.

– «Аз» знаешь?

– Это чево?

– Буква такая. Самая первая.

– Н-не-к...

– Пиши палочку.

Одолевая робость, я неуверенно выставил указательный палец, тогда как остальные собрал в кулак. Поразмыслив, как писать: повдоль или поперек? – я наконец решился, опустил подушечку пальца в нетронутую мучную целину и потянул на себя, образуя первую, не очень ровную линию для будущей своей науки.

– Так! – одобрила бабушка. – Теперича энту самую орясину да подопри другой... Чтобы та не упала. Понял как?

– Угу-у! – готовно кивнул я, сообразив, что от меня надобно.

– Подпер?

– Ага-а!

– Так. А теперича прибай между ними посередине тесовину. Одним гвоздем прибай к левому столбу, а другим – к правому.

– Готово! – кивал я азартно, принимая бабушкину игру и в гвозди, и в молоток...

– Ну, вот тебе и «Аз»! – она перестала нашлепывать сито и оглядела меня с пристрастием. – Запомнил?

– Ага! – поспешил я заверить, и это была правда: бабушкиного мучного Аза, самую первую букву моих долгих дальнейших университетов, я запомнил навсегда.

– А теперича пиши «Буки»...

– Где писать?

– Рядком и пиши, сперва «Аз», потом «Буки»...

На «глаголе» – этом суровом аскетическом знаке, всегда потом казавшемся мне орудием Голгофы или Аппиевой дороги, у бабушки закончилась белая мука и мое учение само собой оборвалось. Я сбегал в горницу взглянуть, оставалась ли вода в прежней поре или еще ближе подобралась к дому. Бабушка же принялась подмешивать в дёже

остатное от хлеба тесто, после чего выложила колоб на стол и заходила по нему обоими кулаками, ловко, со шлепками подтешивая и подминая один край под другой.

Но вот тесто готово, бабушка нащипала от него несколько комков, затем, все так же неуловимо мелькая и шелестя ладошками, бесформенные комья превратила в аккуратные яблочки, которые, в свою очередь прилепнув на столе, раскатала в удлиненные лепешки, похожие на подошвки – носочек пошире, пяточка поуже. На широкой части подошвки бабушка сделала несколько просечек ножом, обозначивших перья распушенного хвоста, такие бывают у голубей, когда они парят на одном месте. Два боковых отростка, там, где должна быть талия, один справа, другой слева, она отогнула на спину, уложила друг на друга и в этом месте пальцем сделала вмятину – получились как бы сложенные на спине крылья. Узкую же часть подошвки бабушка приподняла кверху, отчего птица тотчас вскинула шею и насторожилась, после чего ловкими, быстрыми щипками она обрамила птичью головку узорчатым кокошником, а двуперстиями каждой руки одновременно оттянула и округлила немного теста, так что у кулика получилось сразу два носа – один спереди, как и положено, а другой – на затылке, вроде как запасной.

– У-ух! – шумным выдохом подытожила бабушка и бережно приподняла на руке кулика. – Ну, здравствуй!

И что-то еще поправив на фигурке, сказала:

– Сбегай-ка в сени, там калина висит, глаза сделаем...

– Ух ты! – еще больше завосхищался я и, как был босый, вышмыгнул в дверь.

От вставленных на месте глаз калиновых ягод кулик и вовсе ожил, воспрял каким-то азартом бытия, словно был готов вскочить на лапки, побежать спорыми строчками, затрепетать крыльями, а то и запустить один из носов в миску с водой и протрубить свою весну. Ах, как мне не терпелось схватить птицу и помчаться с ней куда-нибудь на волю, на теплые проталины!

Тем временем бабушка принялась за следующего кулика, а я, опершись о стол подбородком, очарованно созерцал только что родившуюся птицу, полонившую мое воображение.

Единственное, что не очень нравилось мне в кулике, – это два его клюва. Как так? Почему? – недоумевал я и робко поведал бабушке о ее

ошибке.

– Неуж? – удивилась она весело, уже живя праздником, родившимся от работы, от чудотворности ее рук.

– А вот смотри: один нос тут, а другой тут, – указал я на оба клюва.

– Какой приметливый! – восхитилась бабушка. – А я дак и без внимания. Леплю да леплю. Этак вроде ладнее: щипнул-крутнул и – на тебе.

– Так неправильно! – убежденно уличал я искусство во святой лжи.

– Матушка моя этак лепила, и ее матушка... Спокон веку.

– Ну неправильно же! – горячился я.

– И пусть себе... – благодушествовала бабушка. – Лишнего не склюет...

– Ну ба-а! – совсем заобижался я оттого, что не хотели понять очевидное. – Ведь так не бы-ва-е-ет!

– А как, голубь мой?

– Все птицы должны быть с одним носом! – провозгласил я истину, обязательную для всех.

– Ну, ладно, ладно, – закивала она согласно. – Ты уж прости меня, глупую. Все так делали, и я так... Это ж все для веселья, для праздника.

И, приподняв на ладони еще одного готового кулика, запричитала напевно:

Куличок-веснячок!

На тебе зиму,

А нам лето!

На тебе сани,

А нам телегу!

Голос у бабушки тонкий, паутинчатый, с переливной звенью, пела она не шевеля губами, отчего казалось, будто пение помимо нее возникало из самой тишины. Особенно любил я слушать ее пение, когда она строчила на своем «Зингере»: ее негромкая звонца вкрадчиво переплетала мерный шелест швейного челнока.

Кулики куликали.
На кугиклах пикали.
Пикали, пикали,
Красну весну кликали.

Бабушка тронула меня за плечо: «Давай, запоминай, прилаживайся» – и продолжила закликать Весну:

Ты приди, красна девица,
Дай из рук твоих напиться.
Наконец пришла пора хлеба!

Взглянув на ходики, бабушка Варя всплеснула руками: «Ох, заигралась я!» – она даже переменилась в лице, посерьезнела, губы сдернула суровым шнурком и не проронила ни единого слова до самого конца хлебного дела. А дело было такое. Из вороха рогачей и ухватов бабушка выбрала нужное орудие – большую кочергу на долгом древке и, повернувшись к Николе, осенила себя знаменiem, словно собиралась предстать не перед печным устьем, а пред огненной пастью самого Змея Горыныча. Еще раз мелко покрестив пазуху, она решительно потянула на себя заслонку, следом за которой хлынула волна крутого жара. В черном печном нутре завиднелись глянцевитые маковки тучных ржанных ковриг, и в нос ударило помрачающим бражным хлебным духом.

Крюком кочерги бабушка подцепила крайнюю ковригу, вытащив ее на загнетку, поворочала туда-сюда, похлопала и вдруг припала к ней лицом – оказывается, затем, чтобы определить, удалась ли выпечка. Если нос терпит, стало быть, хлеб не клёклый и уже не содержит избытка обжигающего пара. Теперь ковриги можно смело извлекать из печи, раскладывать по свободной деревянной лавке, с чистого гусяного крыла побрызгать водицей, чтобы умягчить корочку, накрыть холщовым рушником, после чего оставить хлебушко благостно отдыхать и вызревать окончательно, набираться силы, сладости и смаку. Хорошо, говорила бабушка Варя, ежели бы при этом не топали ногами, не грохали топором, не хлопали дверью, не устраивали

сквозняков и вообще лучше, ежели дверь притворить и хлеб оставить наедине, без посторонних. Потому как от всяких помех хлеб никнет и мрет, как ушибленная душа.

– Ну, слава те... – выдохнула бабушка. Она обникла на лавке рядом с хлебными кругляшами, разбросала снова ставшими ненужными руками, недвижно уставилась долу и вдруг воспрянула, воссияла, как прежде: «Чево я сижу, непутевая?! Чево дожидаяся! Покамест ослабнет? Пора куликов румянить!»

Бабушкина юбка опять заволнобродила по кухне, и поди через полчаса одна из свежеиспеченных птах уже была в моих руках. С рубиновыми глазами из калины, сиявшими пуще, чем прежде, весь еще хрупкий, неотвердевший, пламенный, куличок радостно обжигал пальцы, и я перебрасывал его шершавое ореховое тельце с вкусными подпалинами на боках с ладони на ладонь, терпя жар, ликуя и пролепetyвая бабушкино присловье:

Куличок-веснячок!

На тебе зиму,

А нам лето!

Я сразу полюбил его, проникся родством и соучастием в вешнем таинстве, напрочь забыв, что у него два носа, не положенных одному едоку. И мы помчались по избе отыскивать благодать. Залетели в горницу, где все так же озабоченно прихрамывали ходики с жестяной гирькой, внутрь которой было что-то насыпано. В простенке на одиноком гвозде висели черные ножницы, похожие на присевшую передохнуть острокрылую ласточку-касатку. Бабушка кроила ими косячки для лоскутного одеяла, а дедушка Алексей под праздники обравнивал себе бороду, выворачивая глаза, будто в упряжке его конек Мальчик, косо заглядывая в квадратик зеркальца, зажатого в большой разлатой ладони, и неловко, криволапо, чаще всего мимо чвыркая стальными крыловидными лезвиями.

Мы присели на сундук, застеленный грубой домотканой попоной, ярко игравшей сочетанием черно-белых полос и красных, зеленых и голубых квадратов между ними. Для обители мы выбрали себе зеленое и голубое, потому что зеленое означало долгожданную зеленую травку,

а голубое – чистую светлую воду, заречное Линево озеро, где, по правде, я и сам еще ни разу не был, а только слыхивал...

Потом перепорхнули на окно, где действительно уже воцарилось лето, потому что там росли настоящие живые цветы, бабушкины фуксии. С подпирающими лесенками из сосновых лучинок, с синими китайскими фонариками самих цветов, выстланными изнутри чем-то розовым, нежным, сияющим, отчего казалось, будто там, внутри, и в самом деле горели, светились маленькие восковые свечи.

А за окном празднично сияло солнце. Оно наконец-то одолело туман и всю голубило небо и воду, слепяще взблескивая на оторочках облаков, клочьях уцелевшего снега, на изломах мимо проносящихся льдин и чешуйчатой ряби под вешним ветром. И не удержалась душа:

– Ба-а! А ба-а! Ладно, я на улицу?..

– Не выдумывай! – решительно отвергла бабушка.

– Ну, ладно?..

– Знаю я тебя: враз по гузку залезешь.

К бабушке я приехал во всем зимнем, а главное – в валенках. Кто же знал, что «Хведот» потопнет у ворот...

– Ну, ба-а?..

– Токмо штоб с крыльца ни-ни-ни!..

...Не бывает на свете стран слаще крыльца отчего дома вешней порой!

Двор неистово сверкал бесчисленными бриллиантами, вытаявшими из подзаборных снегов. С огородов на улицу сквозь щелястый плетень мчался гомонливый поток, полный такого же неудержимого живого сверкания.

С навеса над крыльцом, из водоотводного ковшика бегло, спеша успеть, срывалась бесконечными четками слепящая капель и била, била в выдолбленную ледышку у порога. Само же крыльцо, залитое солнцем, курилось ленивым парком, и от подсыхающих досок невнятно веяло солодовым запахом ивовой колоды.

Ты приди, краса-девица,
Дай из рук твоих напиться! —

завопил я от крыльца от невозможности молчать и воздел кулика к солнцу: – О-йо-йо-ё!

Видимо, услышав мое истинно языческое обращение к небесам, с теплой погребницы поднялся и, потянувшись, вякнув пустым нутром прямо по всем этим хрусталам и алмазам, кроша зыбкие сверкающие мироздания огромными когтистыми лапами, ко мне побрел вялый, заспанный Сысой, вовсе не подозревавший, что сегодня такой необыкновенный день. Впрочем, на середине двора он что-то заподозрил, поводит башкой и, уставясь на трубу, откуда, должно быть, все еще тянуло печевом, долго, старательно нюхал воздух, шевеля мокрой нашлепкой носа, время от времени медленно приоткрывая пасть и как бы перекладывая бесполезные челюсти в более удобное положение.

В чем-то убедившись, Сысой присел прямо в отраженное солнце, почесал задней лапой за обвислым ухом, после чего пошлепал ко мне беспечной развалочкой, еще издали завиляв хвостом. И чем ближе подходил он, тем вилял все ретивей, так что перед самым порогом принялся вихлять и всем задом.

– Привет! – сказал я ему горделиво с высоты крыльца.

Тот еще больше завихлялся и, льстиво прижимая уши, ткнулся в мой живот, потом осторожно, деликатно понюхал кулика в моей руке.

– Нельзя! – сказал я неодобрительно.

Сысой неохотно отстранился и уставился на мою руку, не сводя с нее теплых подсолнечных глаз с черными бусинками зрачков. Но не утерпел и опять потянулся мордой.

– Не лезь, дурак! – я спрятал кулика за спину.

Сысой передними лапами заступил на крыльцо и заглянул за мою спину.

– Говорю, не лезь! – повысил я голос, с трудом отворачивая прочь голову Сысою.

Сысой нехотя попятился с крыльца и, усевшись напротив, нетерпеливо, вожаденно лизнул свой пупырчатый нос длинным и мокрым языком.

– Дай! – произнес он не очень уверенно.

– Не дам! – решительно отказал я. – Его не едят. С ним играют. Он нам лето принесет! Травку и теплое солнышко!

– Дай хоть понюхать... – ерзнул задом Сысой.

– Сказано, не дам! Иди, дурак, если простых человеческих слов не понимаешь. Был балбес, балбесом и остался.

Сысой вздернул темные шишки над глазами, отчего морда его обрела скорбное выражение, и заглянул мне в глаза внимательным, смущающим взглядом.

– Ба-а! – загунял я, не поняв этого взгляда, и на всякий случай приподнял кулика над своей головой. – Сысой кулика нюхает!

На мою беду Сысой откликнулся мгновенно и решительно: слегка привстав на задних лапах, он дотянулся до кулика и мгновенно сцапал его вместе с моей рукой. Я лишь успел почувствовать жаркий охват влажной пасти и какое-то kloкочущее всасывание воздуха, а когда Сысой снова опустился на прежнее место, кулика как не бывало. А главное, на моей обслюнявленной ладони, только что побывавшей между ослепительно белыми зубами, я не увидел ни единой царапины. Оторопело, не в состоянии ничего промолвить, я глядел то на свою руку, то на Сысою, а он, обмахнув себя долгим пламенным язычищем, удовлетворенно переступил передними лапами и добродушно заухмылялся во всю свою безразмерную пасть, как бы подводя общий итог нашим препирательствам: «Ну вот! Теперь все справедливо: сам есть не хочешь – отдай другому».

И тут меня прорвало. Я заревел – заревел некрасиво, каким-то утробным ревом на самых низких басовых и сиплых нотах – так мне сделалось обидно от этой неожиданной выходки Сысои, от грубого его насилия.

На крыльцо выбежала встревоженная бабушка, принялась теревить меня расспросами.

– Да-а-а... – ревел я. – Сы-со-о-ой...

– Сысой? Укусил?! Покажи, где...

– Кулика съе-е-ел...

– Ах ты проклятуций! – Бабушка схватила в сенях метлу.

Сысой взвизгнул по-щенячьи и, подобрав хвост, опрометью рванул в огороды.

– Вот я т-тя! Наказание на нашу голову! – Бабушка гневно постучала комлем метлы о порог. – Попадись мне! Никак не наглотаешься! Я ж токмо те картоху отдала. Да сам к поросенку залез, мешанину полопал... Какова ишо рожна?

Сысой, спрятавшись за плетень, опасливо заглядывал в дырку, виновато, понуро слушал попреки.

– Ну, будя, будя... – Бабушка щепотью цапнула за мой мокрый нос и повела в избу.

– Мэ-э... – ревел я бычком.

– Не плачь: я те другова кулика дам... Ну хочешь, я кулика вареньем намажу?

Я заревел еще пуще, потому что мне нужен был не кулик-еда, а кулик-праздник, которого я полюбил и которого мне было неутешно жалко. Другого кулика я не хотел, даже намазанного вареньем. Но этой своей утраты я тогда объяснить не мог и только отвергал все бабушкины посулы и увещевания, отказался и от обеда и, забившись под косой столик в красном углу горницы, где расположился киот и горела лампада, горестно оплакивал невозполнимое, что на языке взрослых называлось «не хлебом единым»...

– А вот повой, повой, – ссорилась уже со мной бабушка, утратившая надежду выманить меня из-под стола. – Бог услышит твое вытье и накажет. Ибо сказано: грешен тот, кто плачется о самом себе... Понял?

Дедушка Алексей объявился надвечер, по косому солнцу. Он тут же вытащил меня из-под столика, пяткой ладони отер мое набрякшее лицо и молча усадил есть с ним парящие щи с сушеными опенками. Это сразу сняло все мое напряжение, и я стал ровнее дышать и видеть предметы. Перед тем как почать новую ковригу, он тоже перекрестился в моментной строгости, после чего отрезал добрую зажаристую горбушку, посолил круто, встал и вышел на крыльцо. Я слышал, как он посвистел Сысою, тот обрадованно прибежал, начал визгливо подпрыгивать, но, получив хлеб, сразу же убежал и затих на погребнице.

– Пойдем настоящих куликов смотреть, – сказал дедушка за обедом. Мы ели из одной большой черепушки, каждый со своего края, и когда дедушке попадались черные верткие опята, он перекладывал их в мою неловкую ложку.

Собирал он меня по-своему: запеленал в свой старенький полушубок, опоясал суконным кушаком и в таком шубном, пахнущем овчиной куле отнес на бревна, что лежали у ворот на улице.

Вода наливалась зарей в двух саженьях от бревен. Первым делом дедушка воткнул прутик у ее кромки. Он опасался дальнейшей прибылости и потому принес моток колючей проволоки, топор, битый кувшин с гвоздями и принялся опутывать подо мной бревна, чтобы не растащило половодьем.

– Проволока-то эта еще от Колчака, – говорил дедушка сквозь усы, из которых торчал гвоздь. – Тут ее полно было намотано. Особенно по тому берегу. Токмо ленивый не натаскал, – и засмеялся: – Теперя друг от друга городимся.

Иногда совсем близко проплывала заблудившаяся льдина, и было слышно, как она пахала и скребла дно, сотрясая берег и бревна, на которых я обретался, спеленутый и недвижимый. Я пугался ее близости и сокрытой мощи, и чудилось мне, будто это не просто лед, а огромное животное брело по дну, выставив только спину, грязную, затрушенную соломой и конскими катышами, и я окликал в тревоге:

– Деда-а!

– Тут я, тут...

Дедушка хватал острогу на долгом шесте и, упершись трезубой остью в льдину, отводил ее зад под струю. Течение медленно воротило громадину, сволакивало с мели и, подхватив, уносило прочь.

– Нечего ей тут делать, – провожал льдину глазами дедушка. – От них потом грязь одна...

Прибежал Сысой, похлебал возле воткнутого прутика, полил на него и улегся под бревнами.

Постепенно засумерило, утонул во мгле, истаял тот берег с лесным загравком на краю неба. И чем заметнее угасал день, тем ярче расцветала зоревой позолотой речная гладь с резкими прочерками бегущих льдин, кругами сыгравшей случайной рыбы.

Вот в светоносном вечереющем небе послышался гортанный переклик. Усталые звуки, иссякая, бесследно таяли в просторах безоблачной выси.

– Гуси! – Дедушка восторженно замер, прижав к темени шапку.

Я распахнул пошире полушубок и в просвет ворота увидел долгую вереницу больших тяжелых птиц, бронзово сиявших крыльями на неспешном махе. Должно быть, завидев воду, стоя начала разворачиваться, заметно убавляя высоту. Тысячная цепь, все время менявшая очертания, наконец порвалась на две ватаги, и обе, снижаясь

порознь – одна все еще бронзовая в закатном трепете зари, другая – уже подернутая мгlistой синью, – перекликались с тревожной озабоченностью, как бы боясь потерять друг друга.

– Уморились... Шутка ли – Росею перелететь! – сочувственно и уважительно сказал дедушка. – Ночлег ищут. Остров али мелкую снежницу на лугу. Вот ведь как у них строго: все полягут без сил, а сторожа будут стоять на часах, тянуть шею, зыркать туда-сюда, пока не сменит свежая вахта. Чтоб никто не подкрался.

– И волк?

– Дак и волк.

– И лисица?

– Куда ж ей, ежели кругом вода...

– А снежница – это чево?

– А это и есть снежная вода. Она хоть и мелкая, а не подойти: шаги далеко слышно.

А между тем река незаметно догорала, невесть когда сошла с нее позолоченная фольга, и вода взялась сизой окалиной, переходящей в бархатную тьму по кутным местам.

На подоконнике горничного окна желтым язычком затеплилась керосиновая лампа. Это бабушка выставила ее подсветить нашему делу.

Но дело уже было закончено, и мы оставались на бревнах просто так, отходя в ночь вместе с окружающим пространством. Мир, погружаясь в темноту, не утихал и даже, казалось, являл свое бытие с новым усердием. Невидимо струилась, всплескивала, теребила затопленные ивняки, звенела льдистой осыпью и где-то тяжело ухала земляными подмывами ночная река, тысячеголосо квохтало, цвикало, утино побрякивало, попискивало мелкой птичьей бездонное небо, и тихо прорезался, обозначив восток, ясный коготок молодого месяца.

Совсем низко, так, что мне почудилось прохладное опухание на щеках, пролетели какие-то птицы, и донеслись охватистые взмахи широких крыл: вах, вах, вах, вах...

– Чибиса пошли, – дедушкин голос почему-то отдалился.

– А чибис – это чево?

В темной утробе полушубка было тепло, дремотно, и я уже не знал, было ли то явью, когда почудилось свыше: «Братцы, туда ли мы

летим?» и «Туда, туда!» – «Тут где-то Чевокало живет...» – «Да тут он, тут! Вон окно в его избе светится!..»

Летели кулики...

1995

Жаних

Если захочется побывать в Малых Репицах, где неплохо берет ныне редкий подуст, то следует высматривать не саму деревеньку, а тамошнее сельпо, возле которого и обозначена автобусная остановка. Магазин в Репицах новый, построенный из силиката, будто из кубиков пиленого сахара, так что хорошо виден издали.

По причине торговли различным керосином магазин поставили не в уличном ряду, как до пожара, а вынесли за деревню, за телячий выгон. К тому же прежняя торговая точка располагалась как-то не по справедливости. Кто жил рядом или через дорогу, тому явная выгода. Стоило отодвинуть оконную занавесочку, как сразу видать, на месте ли Васючиха, какой товар разгружает: ежели хорошее чего, то можно и подскочить на босу ногу, занять очередь в первом десятке. А кто живал по дальним концам, те оставались в накладе: «Бывало, развезет, а ты прись, не ведая, открыто или нет. А ежели дехвицит какой, то завсегда – к самым одоньям... А теперь ладно: с любого двора магазин видать. Снует по выгону народ – стало быть, открыто; густо повалил или побежал – значит, новый товар поступил: стиральный порошок или пачечная вермишеля...»

И продавщица Васючиха (по паспорту – Васильевна) тоже довольна: вот тебе в полсотне шагов – асфальтовое шоссе, подвезти чего не по грязи, опять же товарооборот влияет и даже на культуру местного пайщика. Прежде иная репицкая покупательница – и неумытая, и непричесанная: дескать, таковское дело, все свои, некого стесняться. Теперь же спрехвала не пойдешь, потому как в магазин проезжие люди заглядывают, а то и зарубежные туристы. Натуральный мед берут, летом – яблоки, тыквенные семечки для послабления... Того гляди на фотоаппарат защелкнут...

Одним словом, удачный получился магазинчик: приветливый и место – никому не в обиду. Вот только вокруг – ни кустика, ни деревца, голимый пустырь, выгоравший в иное лето до бурой неприглядности и скуки.

– Что же такая промашка? – сетовали приезжие. – Посадили бы чего...

– Мы и хотели, – соглашались местные, – да бабы воспротивились.

– Отчего же?

– Кричат: вам, мужичью, абы кусты да заслоны. А нам ничего этого не надобно. Нам чтобы торговлю не застило.

На знойном полуденном выгоне все же обитала кое-какая живность. Семейками, во главе с петухами, бродили разномастные куры. Возле пересохшей болотины толкся гусиный выводок. Недремные папаша и мамаша зорко поглядывали с высоты своих шей-перископов, тогда как голенастые гуськи-подростки, все еще в своих светло-желтых мохерах, тыкались морковными носами в сухое, растрескавшееся днище. Они будто недоумевали: куда подевалась желанная вода, та, похожая на зеленый кисель майская лужа, на просторах которой они еще недавно весело резвились, играли в салочки? Встряхивая ушами и вяло взмывая, бесцельно туда-сюда переходил рыжий кудлатый бычок, волоча за собой на веревке железный шкворень, от которого искрометно брызгали возросшие в числе кузнечики. За бычком неотступно настороже следовали две молодые белые курочки, еще без взрослых зубчатых гребней, с округлыми голубиными головками. Едва шкворень принимался ерошить траву, как обе курочки, вздрогнув крыльями, пускались вдогонку за разлетающимися стрекунами, которые, ликуя от солнца и льющегося зноя, блаженно звенели и тирликали по всей зыбившейся маревом луговой округе.

Время от времени обитатели выгона навещали Васючихино торговое заведение. Особенно любили бывать здесь деревенские куры, которые, собрав все просыпанное на крылечке и около него, забивались под застреху керосиновой землянки, где, улегшись в уже готовые лунки, выбитые предшественницами, принимались за излюбленное банное дело. Топорща перья, чтобы открывался доступ к самому телу, они короткими вскидками то одного крыла, то другого азартно нагребали на себя горячую сухую пыль и, утолясь и обессилев, медленно опадая крыльями, блаженно замирали в сладостном забытии, задергивая серым шершавым веком оранжево-янтарные глаза.

Молодые же курочки, как бы оберегая еще мало ношенные, ладно пригнанные платица, всей своей новизной и легким облегающим кроєм делавшие их похожими на школьных выпускниц, предпочитали

более опрятное и необременительное занятие, впрочем, как и вся теперешняя молодежь. Будто на конкурсном подиуме, картинно, долговязо прохаживаясь вдоль стены, как бы демонстрируя эту свою долговязость в желтых колготках, они в какой-то момент высоко подпрыгивали, склеывая с теплых магазинных кирпичей зазевавшихся мух.

Что до гусей, то большелапые, бесперые подростки, телами все еще обгонявшие свои умственные способности, многозначительно интересовались всякой ненужностью, даже зубчатыми пивными крышками или пустыми конфетными фантиками, перебирали их клювами, поворачивая так и этак, переговариваясь и обсуждая находки детскими подпискивающими голосками, заставлявшими умиленных родителей зорко бдеть задержавшееся детство.

Тем временем рыжий бычок с неотступным шкворнем на веревке, сопя и выфыркивая зеленые травяные пузыри, увлеченно обнюхивая тарные ящики, возбуждавшие крепкими незнакомыми запахами, чесался о них боком, расшатывая и руша на себя ящичные штабеля, нимало не пугаясь этой порухи, а, напротив, как бы довольный содеянным, побрел к сельповским ступеням, чтобылизать солоноватые перила и в знак удовлетворенности оставить Васючихе теплую, парящую лепешку.

Чем заметнее калился выгон, тем все реже появлялись на нем репицкие покупатели. Васючиха уже несколько раз выходила на крыльцо, глядела из-под руки на замершую пустошь: не идет ли кто... По случаю наступившего безлюдья она уже было собралась накинуть замок, чтобы слетать по неотложному делу в родное Абалмасово (всего-то в двух верстах по шоссе и в десяти минутах на велике), как на одной из троп, что от репицких дворов во множестве сбегались к торговому центру, замаячила белым платком согбенная старушенция, сосчитывая свои дробные пришлепистые шажки долгой клюкой.

— Здрасьте! — подбоченилась Васючиха. — Леший несет эту Павловну. Небось, за пустяком или так, потрепаться...

Впереди Павловны, бойко шустрил по дорожке, выныривая из кашек и полынков, мохнатый белый завиток, из чего следовало, что Павловна жалуется не одна, а в сопровождении некой живой души ростом не выше окрестного травостоя. Этаким крутой крендель способен сотворить только собачонок, пребывающий в добром

расположении духа от своего беспечного путешествия в летний погожий день, да еще бегущий впереди хозяйки!

Перед магазином собачонок, далеко опередивший Павловну, внезапно оказался на открытом бестравном пространстве, выбитом машинами. Смущенный такой нерасполагающей переменой, а еще тем, что под стеной магазина сидели заезжие байдарочники с устрашающе вздутыми рюкзаками, испускавшими терпкий, пронзительный запах затиснутой в них перегретой резины, он настороженно замер на своих коротких и кривых ножках, и его добродушно закрученный кренделек поникло сполз со спины. Не зная, что ему делать, песик присел и вопрошающе оглянулся на Павловну, но та, приставшая от зноя и долгопутья, продолжала сосредоточенно и невидяще тыкать тропу костяно навощенным батогом.

– Жучок! Жучок! – знакомо поманил собачонка мужик-репчанин, вместе с байдарочниками тоже дожидавшийся автобуса. – Чего застеснялся, хвост поджал? Тут все свои. Иди, дурак, покурим. Ну-ка, давай сюда лапу!

Жучок, узнавая и не узнавая мужика, неуверенно перебрал передними лапками, словно обутыми в белые пинетки. Склонив голову, он бочком поглядел на репчанина, продолжавшего хрипло манить и щелкать пальцами, и, не поверив в его панибратство, на всякий случай зашмыгнул за широкую юбку Павловны, в самый раз поравнявшейся с ним.

– Зачем пожаловала-то? – с высоты крыльца, будто с трона, спросила Павловну Васючиха, мельницей вертевшая на пальце большой магазинный ключ. – Уж не за помадой ли? Я намедни целый короб «Ванды» завезла. Еще не открывала, будешь первой.

– Ой, девка! – издали причетно откликнулась Павловна, останавливаясь и передыхая. – Какие помады, какие помады?.. Насмехаешься, што ль? Мне бы постного маслица. А то чибрики затеяла, глядь – а в бутылке муть одна. Масло-то есть али зря бежала?

– Еще есть малость, заходи...

– Да вот пропасть какая, совсем никуда стала: посудку-то я забыла! Порожня приперлась. У тебя, Васильна, не найдется ли куда б налить?

– Найдем, уважим...

– Ну, слава те... А то ить не ближний свет обратно за бутылкой вертаться. Дак и пряников хотела маненько...

– И пряники имеются. Глазурованные.

– Не засохлые?

– Третьего дня завезла. Хоть губами ешь.

– Эко ладно-то. Ты, Васильна, дай-ка мне штуки три в счет пенсии...

– А почему три?

– Тот раз я у тебя семь штук одолжила. Для ровного счета дала б троечку...

– Ладно, заходи...

Павловна пересекла толоку и с оханьем и кряком взнеслась на крыльцо. Застясь бабкиной юбкой, боязно озираясь то на байдарочные рюкзаки, то на матерого гусака, вызревшего угрозным зраком, Жучок проследовал за Павловной и неумело, косолапо, задевая писей ступени, вскарабкался на высокий помост. Он вознамерился тоже нырнуть в сумеречную прохладу помещения, но Павловна не позволила, выставила в дверной прощелок свой протертый кед и назидательно, словно на паперти, сказала:

– Низя, низя нехристю. Погодь тут, я скоро.

Жучок истово поскреб захлопнувшуюся дверь и, убедившись в ее неприступности, тоненько и слезно заскулил. Но никто не внял его горестным «воплям», и он потерянно и смиренно припал боком к кованому подножию двери.

Известно, однако, что беда не ходит одна: в самый этот момент в дырку меж крылечных балясин проснулся рыжий Быча. Он тупо, бодуче уставился на Жучка, должно, пытаясь понять, взаправдашняя ли это собака или просто оброненная собачья шапка. Бычина морда с широким плоским межглазьем, поросшим упрямыми завитками, в которых запутались цеплючие катышки дурнишника, придвинулась так жутко близко, что Жучка обдало отвратительным духом сброженной травы, шумно вырывавшимся из влажных бычачьих ноздрей.

Самообладание вконец покинуло Жучка, тем паче что отодвинуться от этой мерзкой морды было некуда, и он опрометью бросился с крыльца, оставляя на ступенях мокрое многоточие...

Бдительный гусак, разумеется, не упустил случая припугнуть удирающую собачонку: изогнувшись шеей, он зашипел ядовито, распахнул ветрила и, подняв взмахами сухую перетертую траву, сделал устрашающую пробежку вдогон. Потерявшийся Жучок метнул белками скошенных глаз и, поджав хвост под самый голый живот, постанывая и повизгивая взрыдно, наддал еще пуще и, пытаясь укрыться, найти защитное место, лохматой шаровой молнией влетел под навес керосинки.

Но лучше бы Жучок этого не делал: едва он заскочил под земляной навес, как там, в терпкой пещерной прокеросиненной спертости, вдруг что-то не то взорвалось, не то обрушилось. В клубящемся перьями пыльном сумраке истошно закудахтали исполощенные куры. Суматошно толкаясь, тесня друг дружку, они с воплями выметывались наружу, больно наступая когтистыми лапами на опрокинутого Жучка. Его и самого будто вышвырнуло какой-то землетрясной силой, и он, нахлестанный крыльями и осыпанный банной пылью, очутился в жарких и жестких зарослях чертополоха, с боков обступавших керосиновое хранилище.

Все эти злоключения стряслись с Жучком в тот миг вращения планеты, когда Павловна пребывала в ублажающей душу магазинной прохладе, напоенной благоговейной, вкрадчивой кофейно-ванильной пряностью и перечно-горчичной острейшей выставленных съестных товаров, снадобий к ним и приправ, тогда как от противоположного прилавка веяло кожаном и шубно, клеенчато и одеколонно, отчего размягченной Павловне никуда не хотелось уходить, возвращаться в знойное полуденное репицкое бытие, в обветшалую избу с опревшим углом, к помятой алюминиевой кастрюле на лавке, в которой пузырилась наскобленная на терке серая картофельная дрегва. А еще было у нее желание если не потрогать всю эту магазинную благодать, тем паче – испробовать по самой малости, то хотя бы неспешно потолковать с Васючихой, поведать ей свое, выпытать ейное, особенно если вынесет из подсобки стакан настоящего заварного чая с конфеткой, как иногда случалось в прошлые разы.

Оно, может, и к лучшему, что Павловна замешкалась в магазине и ничего не видела. За это ее отсутствие Жучок постепенно отдышался в своем заключенном чертополоховом вертепе, убрал тряпично свисавший язык и несколько раз сотрясся всей шкурой, выколачивая из

нее пыль и щепной мусор. Для окончательного успокоения он поскреб сперва за правым ухом, потом за левым и, сложив перед собой обе передние лапки – белое к белому, коготок к коготку, – смиренно приник к ним головой и сквозь колючки принялся следить за магазинной дверью.

Тем временем жизнь окрест магазина приняла свое прежнее беспечное течение.

Рыжий Быча, должно быть, привлеченный запахом цветочного мыла, пытался сдернуть с бельевой веревки меж двух врытых столбов какую-то Васючихину постирушку, тоже весело раскрашенную колокольцами и васильками. Но поскольку тряпица была прочно схвачена прищепками, а веревка после каждой потяжки натужно пружинила, то постирушка, резко взлетая, всякий раз нахлестывала Бычу по упрямой морде, тем самым доставляя ему занятное удовольствие.

Рядом молодые гуськи, раздобыв кем-то обретенную сушку, азартно гоняли ее по двору. Каждый норовил ухватить и съесть находку, но сушка, выветренная до одеревенения, не поддавалась никаким поклевкам и щипкам. Своей неуязвимостью она еще больше возбуждала долговязых несмышленишек, и те, толкая друг друга, недозволенно отпихивая противника крепким шишковатым закрылком, совсем по-хоккейному носились за дырявой шайбой, орудия длинными шеями с оранжевыми наконечниками, очень похожими на фирменные клюшки. Старший Гусь Гусич со всей строгостью и неподкупностью следил за этой игрой, и на его белой, важно выпяченной груди весьма не хватало судейского свистка.

Любительницы же земляных бань, отбежав в сторону и сбившись в табунок, некоторое время испуганно тянули шеи, озирались и, квохча, обсуждали случившееся, так и не поняв, что же произошло... Но все вокруг оставалось без изменений, даже откуда-то появился оранжевоперый молодцеватый петух с золотистой прошвой по вороту – а-ля Ришелье, – сразу же некстати принявшийся ухаживать за неприбранными, всклокоченными дамами, писать по земле выпущенным крылом и совершать кавалерские загибоны, уверяя цокающей скороговоркой, будто он знает, где запрятано жемчужное зерно, и предлагает лучшей из лучших последовать за ним. От этого ловеласничанья петуха куры окончательно успокоились, но не

последовали за ним искать обещанный клад, а начали одна за другой, сторожко поднимая лапы, снова пробираться к своему банному заведению.

На все это смиренно поглядывал Жучок, ему тоже хотелось побегать на свободе, но он не смел и время от времени горестно вздыхал и, опадая боками, выпускал из себя глухое, похожее на жалобу ворчание.

А Павловна все не выходила от Васючихи, зеленая магазинная дверь по-прежнему оставалась запертой, и от ее равнодушной неподвижности делалось еще тоскливей.

Жучок уже подумывал отправиться домой один: сперва отползти на брюхе сколько-то, чтобы никто не заметил, а потом вскочить и припустить что есть духу. Но осуществить это все как-то не решался. А скорее, ему мешал невнятный навязчивый запах, иногда слабо наплывавший откуда-то издалека, с выгона. Жучок приподнял голову с лап и пошевелил закрылками ноздрей, согласно старой собачьей пословице: лучше один раз учуять, чем десять раз увидеть. Сквозь керосиновый флерок, привычно витавший над врытым железным баком, пробивалось нечто приятное, мясное. У проголодавшегося Жучка с языка побежала слюна. Он нетерпеливо вскочил и принял охотничью позу: спрямил хвост и прижал к груди переднюю лапу. Этому его никто не учил, в его роду не было ни пойнтеров, ни легавых, поисковая стойка получилась как-то сама собой. Сразу же подтвердилось: пахло действительно мясом, и не просто мясом, а мясной сладковатой томленостью. Так однажды пахла ливерная колбаса, которой, почему-то поморщась и обозвав себя старой беспамятной вороной, угостила его Павловна. Она без сожаления отдала ему порядочный кусок. Бережно и благодарно принимая угощение, он тогда боязливо вскинул глаза на Павловну: не ошиблась ли? Жучок никак не мог взять в толк, почему Павловна не стала есть свою половину, как бывало прежде, ведь та колбаса показалась Жучку особенно запашистой. Она пахла точно так же, как теперь тянуло с выгона. И, окончательно выверив направление, Жучок сделал несколько осторожных, бесшумных шажков...

Манившее место оказалось ворохом строительного мусора, оставленного здесь после открытия магазина. Куча уже задержалась и поросла мелкой сорной ромашкой. У подножья этой «исторической»

пирамиды, будто часовой, стоял навтытяжку долговязый гриб, ростом гораздо превышающий Жучка. Он-то и навевал на округу этот душный ливерный аромат.

За долгое стояние гриб состарился, остроконечная морщинистая шапка, похожая на атаманскую папаху, съехала набок, а единственная штанина пожелтела и лопнула по всей длине. В этой разверстой ране, сочившейся липкой дегтярной жижей, упоенно бражничали какие-то черные сутулые козявы.

Жадно внюхиваясь, Жучок изучающее обошел вокруг грибной ножки и наконец убедился, что крепко пахнувшая штукавина – вовсе не ливерная колбаса, а нечто несъедобное и вообще непонятное. Но запах пробирал до самого нутра, так что уступить находку он никому не хотел, а потому решительно поднял заднюю лапу и старательно побрызгал прямо на честную компанию козяв. От этого мероприятия гриб сронил свою смушковую папаху, а его нога переломилась пополам и тоже не устояла...

Павший великан испустил такой густой, обволакивающий ливерный букет, что не выдержавший искушения Жучок с глухим урчанием припал к грибным останкам и несколько раз потерся о них белым шелковистым горлом. Но не удовлетворившись этим, он опрокинулся навзничь и, постанывая самозабвенно, вертляво ерзая крестцом, принялся вмазывать в себя размятую кашицу.

Накатавшись вдосталь, Жучок бодро вскочил и, счастливо лучась глазами, возбужденно пробежался туда-сюда, испытывая необыкновенный подъем духа и желание немедленно, сию же минуту пересмотреть все отношения и восстановить справедливость. От внезапного прилива бодрости он лихо царапнул землю позади, далеко отшвырнув крошево старой штукатурки, и резво обежал мусорную кучу. Его черные ушки вскинулись острыми косячками, а хвост снова воспрял крепко закрученным бубликом.

В таком вознесшемся самочувствии пребывать на месте не было возможности, и Жучок, оставляя за собой шлейф грибного аромата, гордясь им и сам себе нравясь, пустился в пробежку по более широкому кругу, неожиданно повстречав на его периметре оранжевого петуха, ошивавшегося возле куриных бань. Петух вскинулся восклицательным знаком, вздорно, возмущенно закокословил: «Кто таков? Кто таков?» Жучок не стал представляться, заискивающе

вертеть хвостом, а решительно ринулся на кочета, так что тот перестал чиниться, надменно встряхивать гребнем, закрывавшим то один, то другой глаз, а совсем простецки побежал прочь, промелькивая сзади оголившимися подштанниками: «Не имеешь права!..»

«Н-гаф!» – вдогонку пальнул Жучок и, опять царапнув землю задними лапами, вернулся к грибному месту.

Вторую пробежку он совершил против часовой стрелки и оказался на толоке возле байдарочных мешков. Жучок с лаем пробежал так близко, что мог их куснуть, но мешки даже не шевельнулись, наверно, спали, и он лишь полаял на них незлобно, с разбега.

– Жучок! Жучок! – опять поманил репицкий мужик, шлепая ладонями по колену. – Чего шумишь? Выпил, что ли? Иди сюда, обормот.

Жучок чуть задержался, признал в мужике соседа Николая и приветно дернул хвостом. Присутствие знакомого человека придало ему еще больше решимости, и он, зачистив звончатым лаем, бесстрашно подлетел к рыжему Быче.

«Н-гай! Н-гай! Н-гай!» – колокольцем залился Жучок, припав перед Бычей на передние лапы и задорно потряхивая над собой закрученным хвостиком.

Быча разморенно уставился на собачонка туманно-синими глазами, не понимая, чего от него хотят. А когда понял, что ему предлагают что-то веселенькое, то в ответ охотно мотнул лобастой башкой с двумя рожками по сторонам, похожими на бабулины наперстки, тем самым как бы говоря: «Ты – так, а я – так!»

Жучок ловко отпрянул, забежал сбоку и добавил лаю. Быча, путаясь в собственных четырех ногах и вездесущей веревке, не очень проворно развернулся, но собачонка там уже не было. А лай раздавался с другого бока.

Быча задвигал большими шерстистыми ушами, но в этот миг его больно дернули за хвост.

«Э-э!» – обиженно замычал Быча: я так не хочу... ты вот как...

«Н-гаф! Н-гаф!»

«М-ма-ма-а...»

Этот лопухий увалень, еще не научившийся бодаться и всех принимающий за своих приятелей, однако своим добродушным

сопением так напугавший тогда Жучка, вдруг отвернулся от бестолковой собаки, не пожелавшей весело попрыгать друг перед другом, и обиженно потрусил в луговую скуку, волоча за собой царапавший землю шкворень. Жучок догнал и цапнул зубами эту убегающую забабаху, но она оказалась железной и раскаленной солнцем подобно той сковороде, которую он однажды по молодости лизнул, когда Павловна, жарившая свои чибрики на дворовой загнетке, отвернулась по какой-то потребе.

«Н-гаф! Н-гаф!» – погрозил Жучок недругу за такой подвох, но тут же плюхнулся наземь, чтобы пугнуть блоху, некстати куснувшую за самый крендель. Однако хвост оказался недосыгаемым, чего Жучок прежде не знал, и он со все возрастающим азартом завертелся вокруг самого себя, щелкая зубами совсем в малости от укушенного места.

Мудрый Гусь Гусич словно вычислил этот благоприятнейший момент, когда Жучок, вертясь, потеряет всякую ориентировку на местности. Крадучись, низко пластаясь, чиркая по земле дородным подбородком, Гусь Гусич дотянулся-таки до собачонка и ущипнул его за штанину так, что набил себе рот черной собачьей шерстью. Жучок ойкнул от неожиданности, но не пустился наутек, как полагал Гусь Гусич, а, напротив, цапнул его за крыло и вырвал большущее, с косою оторочкой перо, похожее на то, каким писал еще Пушкин. Пера было очень жаль, тем более что таких дорогих экземпляров имелось у него всего несколько, и вознегодовавший Гусь Гусич больно хлестнул Жучка вскинутым крылом, что вызвало у того прилив возмущенного лая, небывалой звонкостью заполнившего, казалось, всю округу от Абалмасова до нижних Репиц и все воздушное пространство между ними до высоты птичьего полета.

«Тфай! Тфай! Тфай-тфай-ай!»

Его белые пинетки мелькали то слева, то справа перед опешившим Гусь Гусичем, который уже начал остерегаться держать голову у земли и шипеть с этой приземленной позиции, а его угрозное шипение все чаще перебивалось обескураженным гортанным кегеком.

Дворовый шум и гам наконец принудили распахнуться кованую дверь. На крыльце запальчиво объявилась Васючиха, следом, поотстав, выбралась и Павловна.

– Что за содом?! – Васючиха перегнулась через перила. – Это чей же такой заливастый? Аж уши закладывает. Не твой ли?

– А то чей жа... – Павловна, укрываясь от солнца, потянула на себя застреху белого платка.

– Нет, ты погляди на него! – изумилась Васючиха. – Четырехлапая варежка, а гусака напрочь затуркал. Аж перо у него выпало. У меня в магазине такие же перья, только со стержнем. Ну молодец! Ну парень! И правильно! Так их, ошивал! Гони всех взащей! Сладу с ними никакого нету. То вон ящики вверх тормашками перевернут, то лепех наделают... Третьего дня один заезжий – наш ли, чужой ли, сейчас их не разберешь, вижу, машина с восемью фарами, – дак он-то нечаянно ступил каблуком на куриную завитушку да и поехал с порожка и так жахнулся, что до машины едва довололся. Вот жду из района неприятностей: мол, не чищу, не посыпаю... А мне на кой все это? Слушай, Павловна, отдай-ка мне кобелька! Ну хорош! Ну шустер! Отдай, а?

– Насовсем, что ли? – не поняла Павловна.

– Ну хоть до зимы. Пока снег падет.

Павловна переобняла клюку, но промолчала.

– Дак а на что он тебе? Чего охранять-то? А у меня сама видела, сколько всего... Да хоть бы и на двор иждивенцев не пускать... Это сегодня еще Никульшиных коз не было. Те, подлые, аж на крышу по ящикам залазят. Отдай, а?

– Не-е, девка... – не сошлась Павловна.

– А хочешь, я тебе за него бутылку масла за так налью?

– Не-е...

– Ну, вдобавок пряников насыплю? Целый кулек: ты же пряники уважаешь...

– Не надо и пряников. – Павловна, стесняясь своего отказа, прятала глаза от Васючихи, глядела куда-то далеко, за выгон.

– Такой пустяк уступить не хочешь, – напирала Васючиха. – Я ведь к тебе со всей душой... И наперед сгодится...

– А я с кем остануся? – Павловна опять поддернула платок. – Пустые углы съедят.

... Жучок, увлеченный потасовкой, наконец ухватил бабкину хрипотцу и, не раздумывая, расстался с Гусь Гусичем. Повизгивая от нетерпения, помогая себе подбородком, он единым порывом одолел высокие ступени и тотчас заподпрыгивал перед Павловной, заплясал на задних лапах. Потом заодно перекинулся и на Васючиху.

– Фу-у! – отняла руки Васючиха и сама отшатнулась. – Да от него чем-то несет!.. Нет, нет, не прыгай на меня... Фу, какая мерзость! Павловна! Да усьмири ты его!

– Это у него вроде одеколона, – ровно сказала Павловна. – Для бодрости.

– Ничего себе одеколон!

– Дак от тебя, чую, тоже несет... Всем охота покрасоваться...

– Ну, сравнила! – всерьез обиделась Васючиха. – У меня – «Ванда»! Да усьери ты его, честное слово!

– Ладно... – Павловна принялась ощупью спускать ногу с крыльца, цепко хватаясь за перила. – Спасибо за маслице, за чай-сахар.

– Да чего уж... – отозвалась Васючиха, все еще пряча руки за спину.

– Айда, Жаних! – причмокнула губами Павловна, зазывая Жучка. – Пошли в бочке купаться.

Жучок походно уложил на крестце черно-белый кренделек и, заняв место впереди Павловны, бодро и споро зачастил бело опушенными лапками, время от времени оглядываясь на бабулю: идет ли?..

Собачий наперсток

На одном из городских рынков, в крытом мясном ряду, уже много серых осенних дней обретаётся ничейная собака. Она крепких широкогрудых статей, хорошего строгого окраса: короткошерстый чёрный чепрак, тупая охристая морда с двумя светлыми точками над терновыми глазами, такая же глинистая грудь и запястья передних лап. В её облике ещё угадывались некие черты ротвейлеров, несколько размытые несоблюдением клановой чистоты. Но и поныне она сохранила родовую осанистость, с чем никак не вязались её теперешнее нищенство и бездомность. Отсутствие же каких-либо признаков убогости, пожалуй, ещё больше усугубляло её бедственное положение, ибо увечной, замызганной собачонке скорее перепадет милостыня, нежели такой вот, как эта, вполне сохранившейся нормальной собаке. К тому же она не рыскала у прилавков, не подлезала под столы в поисках случайно оброненных кусочков, не обнюхивала сумки и авоськи прохожих, как обычно вели себя остальные базарные побродяжки, а часами недвижно стояла у самого конца ряда, у последнего столика.

Она выбрала это место не случайно, не потому, что там находился добрый человек, – добрых продавцов мяса почти не бывает, особенно для такой крупной и неприветливой собаки, которая одним только присутствием отпугивала многих несобачливых, тем самым нанося невольный ущерб и убытки торговому делу. Надо полагать, лучшее место находилось в самой середине ряда. Но тамошние заприлавочники дружно и неприязненно цыкали на неё, замахивались кулаками и всякими подручными предметами – чугуновой гирькой ли, порожней пивной бутылкой, швыряли в неё подобранные яблоки, арбузные корки... В конце концов мясники вынуждали её отступить к самому краю, где противодействие оказалось минимальным, так как стоявшая за последним столиком молчаливая деревенская тетка старалась её просто не замечать, и это вполне устраивало собаку. Во всяком случае, она появлялась на этом месте, возле крайнего опорного столба, поддерживающего шиферную крышу, уже несколько дней и простаивала, вот именно простаивала в жидкой натасканной грязи, до

самого закрытия рынка. Мимо нее протискивался всякий базарный люд, в тесном проходе ее задевали кошельками и сумками, смыкали по морде лапами одежды, но она даже не увертывалась, не отступала, а лишь терпеливо прикрывала глаза, снося все эти неудобства, и потом снова глядела, глядела, глядела...

Перед ней, в каком-нибудь полуметре и далее – на всю длину прилавков – виделись бордовые пласты парной говядины; нежно-розовые с тонкими жировыми пробельцами куски свинины; разрубленные вдоль бычьей заливки, напоминавшие белизной и параллельностью хребтовых костей клавиши какого-то быкомычащего музыкального инструмента; вычищенные и ошпаренные кипятком телесно-желтые свиные ножки с изящными, остро заточенными копытцами; смуглые тушки гусей с разверстыми полостями, в которых виднелись янтарные гроздья нагулянного жира; голубоватые поленца ободранных кроликов; беспечно ухмыляющиеся пороссячи физиономии с наивно-детскими пяточками и двумя аккуратно проделанными сопелочками, в каждую из которых было вставлено по веточке петрушки; и опять – говяжьи и свиные выкладки по сортам и кухонным достоинствам.

Собака неотрывно и вожаденно созерцала всю эту живописную кладь, дурманно веявшую на нее разрубленной плотью, уже начавшей местами подвядать и оттого особенно сладко, волнующе пахнуть спекшейся кровью. Черная пуговица ее носа нервно вздрагивала, западая и вновь распахиваясь боковыми завитками, в то время как в темных глазах неизменно томила потаенная тоска.

И она глядела и вбирала в себя все это, ни у кого ничего не прося, не проявляя жадного нетерпения, не взвизгивая моляще, как иные бездомные собраты, а предавалась своей безмолвной страсти столь отрешенно, что, кажется, даже не замечала, как с шиферного навеса падала на крестец ненастная капель, разбрызгиваясь по всей черной спине мелким стеклянным бусом.

– Нет больше сил видеть это! – ни к кому не обращаясь, воскликнула задержавшаяся перед собакой женщина. – Ну что же ты тут стоишь, глупая?! Никто тебе ничего не даст. Ты хоть побегай, как другие собачки. Что-нибудь да найдешь. Или тебя недавно выгнали – еще ничего не знаешь?.. А скоро зима... Аж душа заходится... Я бы

тебя взяла, да куда: у меня и так уже трое: Тошка, да Тишка, да прилипшая Ланка...

Женщина жестко и горестно махнула рукой, как бы отстраняя от себя собаку, и побрела к выходу из мясных рядов.

Она еще походила среди зеленщиков, купила вилочку капусты и оранжевый серпик тыквы, как вдруг на сухом месте, под торговым столиком, увидела какое-то оброненное печево. Оно, это печево, лежало больше на той стороне прилавка, уже пустого, никем не занятого, и женщина, оставив сумку, не поленилась слазить под стол, уронив свою серую вязаную шапочку. Находка оказалась надкусанной булочкой с запеченной внутри сарделькой.

Довольная собой, женщина выбралась из-под прилавка, отряхнула полы нечаянно запачканного пальто, поправила шапочку и, держа перед собой булку, вымаранную томатной пастой, решительно направилась к мясным рядам.

Увидев собаку, она еще издали ликующе оповестила:

– Ну, пес, тебе повезло! Смотри, какой бутерброд! Не всякой собаке перепадает такая штука с настоящей сарделькой.

Женщина присела перед собакой в готовности порадоваться и насладиться тем моментом, когда пес увидит угощение и в его скорбных глазах воссияет благодарная радость.

– На, бери... – Она протянула булку к самой морде, так что собаке оставалось лишь слегка поворотить голову. И та повернула... Обернулась как-то нехотя, без видимого интереса, неспешно обнюхала и так же равнодушно отвернула морду.

– А-а... – догадалась женщина. – И зачем они пичкают этой пастой... Я сейчас, сейчас, моя хорошая.

Из булки, бордово сочившейся томатом, она выколупнула сардельку, отерла ее подобранной газеткой и снова протянула еду собаке.

Пес даже не пошевелился.

– Что? И сарделька не нравится? – пожала плечами женщина. Недоумевая, она откусила округлый кончик колбаски и с настороженным лицом принялась жевать. Начинка оказалась вполне сносной. Во всяком случае, ее звери не стали бы мешкать. Да и она сама тоже...

– На же! Бери! – продолжала настаивать женщина, дожевывая свой кусочек и тыча остальной сарделькой. – Видишь, я ее хорошенько обтерла, и теперь она вовсе не пахнет томатом. Я пробовала: вполне приличная вещь. Конечно, лучше, если бы она была горячая...

Но собака, казалось, больше не замечала и не слышала женщину. Вздрагивая желтыми надглазными точками, она продолжала подобострастно и поглощенно вглядываться в соседние прилавки, где как раз шла оживленная торговля и где большой двузубой вилкой поддевали и поднимали то один, то другой влажно блестящие куски мяса, так и этак поворачивали перед покупателями, после чего бросали на весы, что-то добавляли или, напротив, заменяли другим, более весомым куском. Собака ревностно бросалась глазами, ловила каждый жест продавца, и это было какое-то странное состояние, захватывающее каждую ее живую клетку цепенящим азартом, после которого она больше ничего стороннего не видела и не воспринимала. Это ее многочасовое стояние чем-то напоминало игру в наперсток, которым ловко манипулировал продавец, всякий раз показывая ей пустышку. Однако она по-прежнему искренне верила и обреченно надеялась, что уж следующий-то кусок, поддетый и приподнятый вилкой, будет непременно ее куском.

И еще раз женщина попыталась привлечь собачье внимание и даже поводила туда-сюда сарделькой по ее щеке. Не отводя глаз от прилавка, пес неожиданно приподнял верхнее огубье и обнажил ослепительный оскал крупнопильчатых зубов, как раз тех, которыми дробят кости. Следом, будто отдаленный гром, раздался глухой, глубинный предупреждающий рык, как если бы где-то на стороне провели палкой по чугунной решетке, тот самый, которые издают только ротвейлеры, и никто больше...

– Так, да? – Женщина смущенно приподнялась с корточек и, в порыве внезапной обиды и даже униженности, засунула остаток сардельки в свой рот.

Прожевывая колбаску, она оглядывала упрямую собаку с досадным недоумением, но и с оттенком подспудного уважения:

– Какой, а?.. А не взять ли его себе?..

Алюминиевое солнце

Миновав городок Обапол, а за ним – три полевых угора с лесными распадками да перейдя речку Егозку, аккуратно выбредешь на хуторской посад из дюжины домов, где и спросить Кольшу – тамошнего любознатца. А то и спрашивать не надо: изба его сразу под тремя самодельными ветряками, которые лопухом мельтешат и повивают хвостами в угоду полевым ветрам. Глядя на эти мельницы, невольно думаешь, что если побольше наставить таких пропеллеров, то в напористый ветер они так взревет, что отделят избу от хуторского бугра и вознесут ее над Заегозьем.

И еще примета: вокруг слухового окошка блескучей серебрянкой намалевано солнце, испускающее в разные стороны лентовидные лучи. На утренней заре, когда посад освещен с заречной стороны, серебрянковое солнце на Кольшиной избе сияет с особым старанием, будто и впрямь ночевало в этом веселом доме.

Но и без уличных примет Кольшу легко признать в лесу ли, на степной ли дороге, поскольку это единственная в округе душа на деревянной ноге. Тем паче нога не простая, а со счетным устройством: потикивая, сама сосчитывает шаги...

Потерял он ногу вовсе не на войне, как привычно думается при виде хромого человека, а из-за своей несколько смещенной натуры. Хотя он и родился крестьянским сыном, но сам крестьянином не стал: еще в малые годы грезил дальними странствиями и, едва встав на ноги, завербовался в ближайший отсюда «Ветлугасплавлес» подручным плотогона. Душа ликовала: лес стеной, смолой пахнет, филины ухают... Сперва ходили поблизости, а потом все дальше и дальше и вот уж на Волгу стали заглядывать. На четвертом сплавном сезоне перед Козьмодемьянском ветреной ночью дровяные связки сели на мель, и лопнувшим буксирным тросом Кольше напрочь оттяпало ступню. Полгода пролежал в Чебоксарах, что-то долбили, подпиливали и допилились до самого колена. Вернулся домой на костылях, с полотняной котомкой за плечами, в которой вместе с дорожным обиходом хранилось главное богатство и улада – лоцманские карты речных участков от Вохмы до Астрахани.

Зиму отбыл в нахлебниках, а со следующего сентября напросился в местную семилетку в Верхних Кутырьках. Рассказывал детишкам об устройстве Земли – про леса и воды, почему бывает снег, почему – лед. Кое-что сам повидал, кой о чем начитался в больницах. Школьное дело пошло душевно, вроде как снова поплыл на плоту, воскрешая в памяти извивы и повороты минувшего, а когда приобрел фабричный протез, позволявший носить нормальную обувь и отглаженные штаны, то и вовсе воспрял духом, возомнил себя полноправным педагогом и даже женился по обоюдному согласию на милой хуторской девушке Кате.

Однако жизнь неожиданно дала «право руля» и еще раз, как тогда под Козьмодемьянском, села на мель. Из школы его вскоре попросили, поскольку не имел свидетельства об образовании, а те лоцманские карты, которые разворачивал перед аттестационной комиссией в доказательство своей причастности к преподаваемому предмету, к нерукотворному устройству Земли, лишь вызвали недоуменные перегляды и шепоток за столом. В довершение он не совсем удачно, весьма по-своему ответил на некоторые дополнительные вопросы по конституционным основам и – что окончательно пресекло его учительскую карьеру – не назвал фамилии тогдашнего министра просвещения. Лоцманские карты у него тогда же отобрали как документы, не подлежащие никакой огласке, и Кольшу (тогда еще по-школьному: Николай Константинович) без цветов и даже без расхожего «спасибо», а, напротив, с молчаливой отстраненностью, как инфекционного больного, выпроводили в пожизненные колхозные сторожа.

Фабричный протез, в котором он начал было так счастливо учительствовать, не за долгим изломался вконец, его надо было куда-то везти на починку, но замешкался, а там и пообвыкся, тем паче в классы больше не ходить и брюки не гладить, и он окончательно опростился, отпустил душу, куда она просилась, да и пророс родным березовым обножьем, которое потом ни разу не подвело – ни в стынь, ни в хмарь, до самой старости одного хватило.

С годами он сделался теперешним Кольшей: перестал бриться, сронил с темени докучливые волосы, о чем выразился с усмешкой: «Мыслями открылся космосу!», по-стариковски заморщился, и только прежними остались так и не отцветшие взглядчивые глаза цвета мелкой родниковой водицы, проблескивающей над желтоватым

донным песком. Томимый хронической невостремованностью, Кольша не залег на печи, не затаился в обиде, а, напротив, открыто бурлил идеями и поисками ответов на вечные «как?» и «почему?».

– Я чего? Я не заскучаю... – повинно отводил глаза Кольша. – Глядеть бы, народ не заскучал... Страшна не та вода, что бежит, а та, что копится скукой.

Дети, даже повзрослев, продолжали почтительно здороваться с ним, а иногда, особенно в теплые весенние вечера, собирались напротив его избы и допоздна сидели на просохшем речном обрыве.

Взрослые усмешливо оживлялись:

– Кольша? Ну как же, знаем, знаем такого...

Счетное устройство на Кольшиной ноге появилось при следующих обстоятельствах.

Еще по расторопным годам, навестив Обапол, Кольша приметил в спортивном магазине некий прибор со спичечный коробок под названием «шагомер». Тяготеющий к науке и распознаванию ее тайн, Кольша истово загорелся приобрести этот портативный измеритель пространств, страдающих пересеченностью. Дрожащими пальцами («Хватит – не хватит?») он выложил на прилавок всю наличность, прибавил сверху помятый троячок из заначки, и все же средств на покупку не достало. Горестное это обстоятельство повергло Кольшу в уныние: продать с себя ничего не нашлось, кроме захватанной балбески, которую и за так вряд ли кто приобрел бы... И тогда, взяв с продавщицы слово, что никому другому не продаст, Кольша на первопопавшейся попутке рванул на хутор, одолжил недостающую сумму и успел-таки тютелька в тютельку.

Обратно шел, счастливо расслабься и добро заглядывая в глаза встречных обаполчан. Он нес «шагомер» в бережно сложенной ладони, будто изловленную птаху, время от времени прикладывая коробок к уху и с замиранием вслушиваясь, как там, внутри, что-то размеренно жило и повстиковало...

Как ни торопился, домой он доехал уже при звездах на этапном комбайне, да и тот свернул в сторону еще до Егозки. Голодный, ужинать, однако, не стал, а тут же распеленал культю и на деревянной голени складным ножом принялся углублять нишку...

Катерина потом припоминала с добродушной ехидцей:

– Вижу, в ноге ковыряется, стружки летят... Может, думаю, затеял починку с дороги... Он частенько так вот возится. Ну, я без внимания, да и время позднее, пора ложиться. Просыпаюсь ночью, а мужика нет... Свет на кухне горит, на столе инструменты раскиданы, снятые брюки на табуретке лежат, а самого нету... Тут, конечно, не улежишь. В чем была, в долгой рубахе, босая, вышла на крыльцо. Подождала сколько-то – нету и нету... За то время мерклая луна обежала четверть дома: где было светло, там стемнелось, а где хоть глаз коли, там опять

облунилось. А тут еще поперек двора тряпье на веревке развешано. Спросонья сразу и не разобрать всю эту лунную рябь. Вот вижу, за тряпьем ноги замелькали. Одна – с прискоком, другая – с притопом: он, Кольша! Проскондыбал до огородной вереи, постоял, согнутый в поясе, а потом – вдоль заплота, вдоль заплота... И опять пополам перегнулся... Забоялась я: что-то с мужиком неладное... Кричу шепотом: «Ты чего мечешься-то? Весь двор поистыкал?..» А он только выставил пятерню в мою сторону и пропрыгал мимо. Тут я не на шутку охолодала, опять спрашиваю: «Не схватило ли чего? Может, съел нехорошее?» А он как озернется, как сверкнет глазами: «Эт, пристала! “Шагомер” пробую!» – «Я-то чем мешаю – так-то шумишь на меня?» – «Он, – говорит, – должен звук подать. А ты со своими вопросами...»

К концу этой суматошной недели Кольша уже знал, сколько шагов в посадской улице, сколько до магазина в Верхних Кутырьках, а также до тамошней почты, где Кольша сторожевал последние годы. И вот что занятно: почитай, каждый день туда хаживал, а до сих пор, пока не измерил, не знал, что до почтового порога ровно 3618 шагов! Пошел обратно – и опять почти столько же! Ну не тюк в тюк, шагов на шесть больше, ну так это он лужу с другой стороны обошел, вот и набежало.

Хуторские ребятишки, а следом и кутыринские, а еще понаехавшие на каникулы из разных мест быстро пронюхали про диковинную считалку. Кольшу наперебой просили измерить им и то, и это, и он, не чинясь, исполнял все ихние заказы, ну, скажем, сколько будет до моста через Егозку или «от этого дерева до вот того», и наука о местном землеустройстве пополнялась все новыми открытиями. А чтобы эти усердно добытые сведения не перепутались, Кольша тут же заносил их столбцами прямо на свою березовую опору специальным химическим карандашиком, который, если послунить, писал въедливо, насовсем.

Ребятишкам, конечно, нравилось шагать рядом с Кольшей напрямки, по канавистым азимутам и переголам, но ликовали больше всего, когда через каждые сто шагов раздавался тонкий контрольный звячок, похожий на звон велосипедной спицы, услышать который каждому хотелось как веху одоления.

– Ага, ударило! – ликовал услышавший первым. – Пацаны, ударило!

Бывало и такое: еще Кольша схлебывает с блюдца свой утренний чай, как в окно уже кто-то тыкает хворостинкой. Кольша распахивает створки, и внизу, вровень с завалинкой, видит льняную маковку.

– Чего тебе?

– Деда Кольса... Сёдни ходить будем?

Землемерное поветрие будоражило Заегозье все тогдашнее лето. Загорелась даже идея создать отряд из добровольцев, запастись хлеба, огурцов, луку там, соли (картошку копать на месте), ведро для варева да с кострами, ночевками двинуться на Обапол, чтобы раз и навсегда установить точное расстояние между Верхними Кутытками (начать от почты) и районным центром (закончить тоже у почты). А то ведь никто толком не знает, сколько же на самом деле. Летом называли одно, а осенью – другое: смотря как развезет. Сами же ребятишки обошли дворы, составили список охотников. Меньше семи годов не записывали, чтоб домой не просились, а и то – с Посаду, с самих Кутырок да с Новопоселеновки набралось аж на обе стороны тетрадного листа. Чувствовалось, что одному Кольше не справиться с таким ополчением, а потому галочками были отмечены два помощника – хуторской Серега Гвоздики и новопоселковский Пашка Синяк, первый каратист на Егозке, который сам и напросился на эту должность. Все складывалось отменно, даже провели в лесопосадке пробное построение. Кольша в чистой рубахе в сопровождении помощника Сереги (Пашка Синяк почему-то не явился) обошел разновеликий ряд посуровевших землепроходцев, перепроверил список, осведомился, нет ли у кого потертостей или каких других жалоб. Таковых не оказалось, но были обнаружены двое в небывалых цыпках на багровых икрах, кои под слезное несогласие были отправлены по домам мазаться топленным маслом и обкладываться капустным листом. Однако в решающий день, когда участники похода на обапол принялись запасать провиант, начались расспросы: «Зачем?», «За какой надобностью?» – а узнавши, куда и с кем, родители многих не выпустили за ворота, самых же строптивых и непокорных рассовали по местным «кутузкам» – кладовкам да темным запечьям.

Тем временем подступил срок собираться в школу, интерес к землемерию сам собой поиссяк. Пришлые ребятишки, гостившие у деревенских дедушек-бабушек, разъехались восвояси, а местные после

дня знаний, цветов и речей на выгоне перед школой, не успевшие раскрыть тетрадей, на другое утро были отправлены на картошку, поскольку обаполский район считался передовым.

Но в Кольшиной голове, прикрытой полотняной баскеткой, уже свил гнездо новый замысел.

Той же осенью нашел он в поле четырехметровую секцию от поливальной системы. Самой системы нигде не было видно, а вот одинокая труба с фланцами на обоих концах осталась. Кольша прошел было мимо, но под кепочкой уже зажужжали колесики на предмет полезности этой трубы, и он воротился почти с полдороги, чтобы получше исследовать находку. Попробовал приподнять – труба подалась без особого сопротивления. Постучал по ней спинкой складничка – звук чистый, высокий, поскреб лезвием – светло, приветно блеснул алюминий. «Вещь хорошая! – оценил Кольша. – Но никто про нее не вспомнит, чтобы отвезти на хоздвор, так зазря и пропадет, зарастет полынью, а то и трактор потом наедет, сомнет, приведет в окончательную негодность». Кольша срезал ветку дикой боярки, воткнул возле трубы, для памяти, и отправился домой. И, уже подходя к подворью и увидев на заревом разливе силуэт своей избы, которая горбатостью кровли вдруг напомнила ему всплывшую подлодку, он осененно хлопнул себя по кепарю: «Ба-а! А где же перископ?» И сразу же само собой решилось, что из той поливальной секции он будет создавать перископ! Это же так ловко: оба фланца как будто затем только и приданы, чтобы к одному из них привинтить верхнюю зеркальную головку, а к другому – нижнюю светоприемную камеру.

Идея властно озарила Кольшу прекрасным чудодейственным свечением, он воспылал духом немедленного созидания, и потому, чувствуя это закипание внутри себя, которое уже нельзя было ничем погасить или отложить на завтра, он отыскал свою двухколесную надворную колымажку, сегодня же, в сумерках, отправился за трубой, всю дорогу будоражившей его воображение отменной прямизной, девственной округлостью и легким, певучим звоном.

Легко сказать: перископ. Но труд над ним долог, а главное – кропотлив, или, как говаривал Кольша, копотлив, что, пожалуй, точнее. Первым делом к нему нужны зеркала, которыми, впрочем, Кольша

удачно разжился, обнаружив их в кутыринском сельпо, каждое – с ученическую тетрадку, каковые, собственно, и нужны были. К ним – две установочные камеры, которые, само собой, на поле не валяются, и над ними еще покумекать надо. Опять же – бандаж для устройства поворотного механизма. С этим делом надо топать в кузницу... В общем, много чего... Когда же осталось только пробить крышу да вырезать дыру в потолке, тут-то и подавала голос Катерина:

– Чего-о? Какую такую дыру?

– Перископ вставить... – пояснил Кольша.

– Это еще что такое? На звезды смотреть? Так у нас крыша – и без того звезды видать.

– Ты, Катя, ошибаешься: то телескоп, а у нас с тобой – перископ. Это совсем даже разные приборы.

– А мне все едино: на дворе октябрь, люди топить начали, а ты – крышу дырявить.

– Дак я же опять заделаю!

Кольша усмехнулся непониманию жены и с этой усмешкой посмотрел туда-сюда, будто ища по углам избы вящей справедливости. И он снова попытался объяснить Катерине особенности своей конструкции:

– Вон на подводной лодке тоже перископ, в океане плавает, а не течет. А у нас какая вода? Дожжок иной раз набежит, да и то не каждый день. А ты панику поднимаешь. Вот поставлю перископ и опять заделаю начисто, чтоб нигде ничего. Только не знаю, где лучше. Думал, на печи... Оно, конечно, с одной стороны, удобно: лежишь себе и поглядываешь, не шкodyт ли зайцы на капусте. Но с другой стороны – тебе на печь лазить несподручно. Чтобы вместе глядеть-то...

– Чего выдумываешь...

– Дак и я сомневаюсь... Поди, лучшее место – в горнице, над круглым столом...

– Там иконы Божьи... Я ить думала, ты в сарайке. А ты, гляди-кась, в дом метишь.

– Так ведь в доме-то лучше! – досадовал Кольша. – Ну что хорошего в сарае? Темно, зябко, куры всполошатся, пыль подымут. А перископу пыль вредная. Там же оптика! Экая без понятия! Выгоды своей не видишь! Я ведь как лучше...

– И понимать неча.

– Ну как же, сидим с тобой за столом – тепло, светло, самоварчик пошумливает, чаек пьем. И перископ – вот он, аккурат над самым столом. Хочешь – вправо поверни, хочешь – влево. Вся округа видна: кто куда поехал, кто куда пошел... Кто с грибами, кто – с дровами... Егозка-то наша синяя, осенняя, вся в палом листе. А в небе – облака бегучей чередой, луг то застыл, то опять позолотят... Совсем как в песне:

Отговорила роща золота-а-я
Березовым веселым языком.
И журавли...

Эх, девка! А ты не пуцаешь!

Кольша отвернул занавеску, припал лбом к стеклу и уставился в луга, в свою точку схода, в то место, где небо встречается с землей и где, по его понятию, должна обитать истина.

Тяжба Кольши с Катериной за выход в небо разрешилась нежданно. Дня три спустя в избу серым бочонком вкатился весь налитой, округлый, пахнувший укропом участковый Сенька Хибот. Для начала он произнес с нажимом слово «так», каковым начинают разговор обаполские да и всяя Руси участковые милиционеры.

– Так... – Сенька обозрел кухню, ее углы, рогачи и чапыги, потянул носом на известный предмет и только после этого произнес без всякой заинтересованности: – ну, показывай, что ты тут... Дошло до нас кое-что...

Кольша все понял, молча напялил баскеточку, телогрейку внапашку и повел участкового во двор, где на двух стопках кирпичей, окрашенный в голубое, под цвет неба, сох уже подчистую смонтированный перископ.

– Так-так-так... – жестко произнес Сенька, будто передернул автоматный затвор. – Куда глядеть?

Кольша носком кеда указал на нижнюю камеру, в глубине которой по отраженным бликам угадывалось зеркало.

Сенька перевернул картуз кокардой на затылок, предубежденно опустил на четвереньки и заглянул в квадратный проем нижнего отдела. От напряженного смотрения Сенькины уши цветом уравнились

с околышем. Оставаясь на четверях, он недоуменно повернулся к автору конструкции:

– Слушай, ни хрена не видно... Может, чем закрыто?

– Нет, все нормально, – пояснил Кольша. – Просто он верхней камерой в лопухи глядит. А если поставить вертикально, то все будет как надо...

– И где же ты намерен его поставить? – Сенька поднялся на ноги и отер о штаны растопыренные пальцы: где-то все же цапнул краску.

– А вот... – кивнул Кольша на конек избы.

– Так-так... – опять «передернул затвор» участковый. – А ты знаешь, что перископ – дело секретное? Чтобы глазеть в него, нужно разрешение.

– Чего же тут секретного? – удивленно свел плечи Кольша. – Ить он ничего не увеличивает. А просто так... Показывает как есть.

– Показывает-то он показывает... Да смотря чего... Смотра куда направлять... Это, брат, такое дело, подсудное...

– Куда хочешь, туда и направляй, – оживился Кольша. – Там для этого специальные правила есть, две ручки. Хочешь, давай приподнимем? Я потом перекрашу.

– Да нет, с этим все ясно... Все ясенько... – Сенька Хибот спихнул фуражку на сочно разомлевший нос, похожий на шпикачку, и произнес как-то резиново, с расстановкой: – Ну что, брат, будем делать? Сам разберешь? Или мне отволочь эту штуку в опорный пункт? Если сам – то писать ничего не будем, никакого протокола. Вроде ничего и не было... А то ж мне тогда машину вызывать... Бензин тратить... А с бензином – сам знаешь, уборочная... Ну как, разберем?

– Ну... Не знаю... Зачем же разбирать? – не согласился Кольша. – Ведь оно еще не просохло.

– Ага. – Сенька, засунув руки в штаны, озабоченно восстал над трубой. – Стало быть, не хочешь пачкать руки? Тогда сделаем так... Чтоб рук не марать...

И он неожиданно подпрыгнул и с возгласом «опля!» обеими подошвами ботинок и всем своим округлым бочковым весом обрушился на перископ, приподнятый над землей кирпичными подставками. Труба без сопротивления легонько шпокнула и коснулась земли заостренным надломом...

– Попить ничего нету? – удовлетворенно спросил Сенька.

– А? – не расслышал Кольша, все еще не понимая, как это произошло...

С того дня как Сенька Хибот изломал последнюю Кольшину мечту, Кольша и сам как бы изломался: попритих, засел дома, принялся вязать носки-варежки на продажу. Катерина за свою жизнь так надоярилась, что ее пальцы уже и не держали вязальных спиц...

За это время много воды утекло в Егозке, немалые перемены произошли и на ее берегах. Во-первых, в Верхних Кутырьках переменялась власть: была твердая, с матерком – пришла помягче, с ветерком. Как ветром выдуло амбары и склады, сено тоже куда-то унесло со скотного двора, из-за чего пришлось порезать скотину и распродать на обаполском базаре. Не устояли и сами коровники: сперва ночью, а потом и в открытую посдирали с них шифер, сбросили латвины, поснимали с петель ворота. Колхозную контору тоже изрядно пощипали: не стало телевизора, радиолы, унесли председательский ковер, на который в прежние времена не дай Мать Божья было попасть. Приглянулись кому-то и кабинетные стулья, из коих остался один – только для самого председателя акционерного товарищества Ивана Сазонтовича Засевайло...

Нынешней зимой из дюжины посадских труб сколько-то еще дымилось, какая погуще, какая пожиже, остальные вовсе обездымели, так и торчали, обсыпанные снежком: молодые разъехались искать свою долю, ну а старые – известно куда...

Кольшина труба ноне тоже едва не пригасла: кончилось топливо. Раньше ведь как: еще август, а уже везут из Обапола орешек или брикет для стариков по заведенному списку. А нынче – дудки... Новые власти куда-то задевали список, а в Обаполе, сказывают, топливо разворовали чуть ли не с вагонных колес. Резвые мужики, видя такое, принялись сечь ветлу на Егозке, оголять реку, редить лесополосы. Ну а Кольша, как же это он – топором да по живому дереву?.. Да никак! Не смог себя пересилить, все ждал: может, список найдут...

Тщетно берегли прошлый запасец дров, тот без угля быстро упольхал. Пошла в распыл всякая окрестная хмызь, чернобыл с незапаханных межей, с опустелых подворий. Катерина почти ползими выючилась вязанками. А когда навалило снегу, так что в поле не

ступить, Кольша разобрал плетень вокруг нижнего огорода. С ним и дотянули до Сороков, до первых проталин. Но до настоящего тепла еще ого сколь печку топить!

Подумывали было горничную лавку спалить, паче теперь гостей ждать неоткуда, да негаданно выручила оказия.

По вечерним сумеркам мимо Кольшиной избы, трандыча и лязгая, волокся трактор. Дальний родственник – Посвистнев – вез со станции только что поступившие дрова: полные сани пиленых двухметровок! Кольша выскочил в чем был, замахал руками.

Посвистнев притормозил, открыл дверцу:

– Чего тебе?

– Слушай, Северьяныч, одолжи полешко!

– За каким делом? – не понял тот. – На черенок аль на топорище?

– Печь протопить! Сделай милость!

Неохота было Посвистневу вылезать из трактора, снаружи косо мело, секло по кабине, да и не с руки мешкать: хотел по свету добраться до своих Кутырок; однако он молча спрыгнул на землю, заступил на санный полук, выпихнул из-под цепной связки самый верхний обледенелый кругляш.

Кольша почесал осыпанный замятью затылок: мало спросил... Дак оно как: просишь два пуда, а дают один. Брать-то выгоднее, чем давать.

– Дай еще, а? – пересилил себя Кольша. – Чтоб на всю неделю потянуть. А я потом отквитаюсь.

– Не из чего давать, – как бы огрызнулся Посвистнев. – Ты теперь и на таганке сваришь, а мне еще и в хлеву топить: телята пошли...

– Ну да еще чурку – не убыток: вроде как по дороге обронил... – Озябший, в одной рубахе, Кольша мялся возле саней. – А я через неделю отдам... Тоже на станцию съезжу.

– Через неделю речка мосты зальет...

Насупленно поизучав концы дровин на возу, Посвистнев обеими руками натужно вытолкнул растопыренную корьем, забитую снегом толстую березовую кряжину. Та грохнулась о льдистую твердь с глухим утробным гулом, и Посвистнев торчком сапога отбросил ее с дороги. Охлопав ладони, он забрался в подрагивающую кабину.

– Вот как уважил! – закивал-закланялся босоголовый Кольша. – А то хочешь, у меня одна вещичка есть? Добро за добро!

Кольша, обрадованный, что вспомнил, кинулся к сениям, но Посвистнев остановил его недовольно:

– Что за вещица-то? А то мне некогда...

– Дак сейчас покажу. Кугикалки!

– Ладно, балабол! На кой они мне?

– Ну как же! Скоро праздники, с гор потоки... От неча зимой сделал. На двенадцать голосов! Воздуху совсем мало берут, а зато звучность – чистые лады. Иной раз гукну раз-другой – у Катерины глаза так затеплеют. Чую, будь ноги поздоровей, сию минуту б кругом пошла, как бывало в девках. Ты-то не помнишь, а я и доси не забыл.

– Да мне-то они зачем?!

– Когда ни то – кугикнешь. Не все ж работа да работа. А нет – детишкам отдашь...

– Мои детишки вместе со мной в четыре встают, некогда им дудеть... А то вроде твоего – все и прокугикаем...

– Ну тогда хоть так зайди, по-родственному. Чаю испей.

– Он у тебя холодный.

– Дак это я быстренько...

На другое утро, тихое и светлое, сам в добром настроении от вчерашней удачи, Кольша втащил обе дровины во двор, вынес две табуретки, перевернул их вверх ножками и, возложив на эти козелки малую двухметровку, кликнул Катерину, чтобы шла пособлять пилу дергать. Оно хоть и невелик кругляш, но поперечной пилой с крупными зубьями одному шмыгать неловко: пила начнет кобениться, мотать порожней ручкой, извивами полотна клинить распил.

– Катерина-а! Где ты там? Выходи гостинец делить: две чурочки – направо, две – налево.

Катерина вышла на крыльцо, обтирая о ватник мокрые руки, ступила к козелкам, заняла позицию.

– Начали! – скомандовал Кольша.

Пила весело звенькнула, но тут же изогнулась и ерзнула в сторону по сочной сосновой коре, оставляя косы задиры...

«А хоть и вдвоем, – думалось Кольше, – когда баба неумеха, тоже не разгонишься...»

– Да не дави ты на пилу! – направлял Катерину Кольша.

Туда-сюда, туда-сюда, вжик-скоргык, скоргык-вжик – вот тебе и поперхнулось дело.

– Не висни, не висни на пиле! Не препятствуй!

– А я и не препятствую, – отпиралась Катерина, часто взмаргивая.

– А что – я, что ли?

– Ну и не я.

– Ты пили, как дышишь. К себе – вдох, от себя – выдох.

– Я так не успеваю. Поди, пила такая никудышная.

– Пила-то кудышная... Да вот... вишь... сама заморилась... и меня... замаяла... Ладно, давай передохнём.

Стоят друг против друга, оба запыхались, округло зевали ртами. Кольша покосился на Катеринины руки: на пальцевых суставах безобразные шушляки, в кулак не согнуть. Не то что пилить – картошину очистить целая морока. А так глядеть – баба еще хоть куда: кровь с молоком!

Тем временем вызревало погожее утро – не то что вчера, с его низким, нахмуренным небом, готовым в любой миг просыпаться жесткой крупой. Солнца еще не было, оно по-прежнему оставалось под туманным миткалем, но свету уже – полным-полно. И свечение это сочилось с приветной теплинкой, отчего все вокруг было обласкано нежной молочной топленью: и травяные проталины в затишках, и всякая заборная тесина, и острецы сосулес по карнизам, уже набрякшие, словно коровьи соски, накопленные талицей, готовой вот-вот побежать дробной чередой капели.

Покрутили головами, порадовались благодати и принялись за березу. Та, непутевая, сразу и воспротивилась, захрипела под зубьями закучерявленной берестой. Кольша сходил за топором, пообсек вспухшее корье, остучал обушком ледышки.

И опять: вжик-скоргык, вжик-скоргык...

– Давай... не дури... матушка... – уговаривал Кольша колодину. – Пошла... пошла, любезная...

Наконец-то почувствовалась настоящая древесная твердь, стружкой выплеснулись белейшие опилки: Катерине – на резиновые сапоги, Кольше – на адидасовые подштанники. Запашисто повеяло деготьком.

Однако березовая плоть через сколько-то протяжек пилы внезапно закончилась, полотно пусто провалилось вовнутрь и тотчас заплевалось затхлой трухой пополам с ледяной кашей.

– Ну Северьяныч уважил! – обиженно откинулась Катерина. – Пустую дровину спихнул... А ты ему – кугикалки... Всю зиму ладил, звук подгонял...

– Ладно, не кори напрасно... Не взял он нашей музыки.

Из второго распила вместе с прелью и снегом посыпались еще и какие-то черные барабашки. Все они были свернуты, а недвижные крючковатые лапки собраны пучком, тогда как телескопические усики прижимались к большим выпуклым глазам, похожим на пляжные очки. В темных стеклышках этих очков отражалось небо, а еще промелькивал и сам Кольша.

– Катерина! – изумился он, протягивая жене ладошку с опилками. – Да ведь это же мураши-и!! Глянь-кась! Ну чудеса!..

– Поди, пустые кожурки... – с опасливым неприятием отвела Кольшину руку Катерина. – Давай допилим да я метлой замету, а то

стирку затеяла: сколь накопилось.

– Погоди, погоди... успеется со стиркой... – озаботился своим Кольша. – А вдруг они только спят? Видишь, все лежат одинаково... Стало быть, сами так полегли. А во льдах оно все долго хранится. Недавно мамонта откопали, а у него во рту еще трава недоеденная...

Как ни противилась Катерина, как ни расставляла в дверях руки, не пуская Кольшу в святую горницу, тот, упорный, все же настоял на своем: набрал в миску опилок, побрызгал водицей, разложил по окружности муравьев, сверху обвязал марлечкой и весь этот инкубатор выставил на подоконник, на южную сторону, под солнечный обогрев.

– Ну вот! – наконец удовлетворился Кольша. – Будем наблюдать. Наука, поди, тоже не все знает. Вот опять нашли каких-то голых индейцев. Огонь круглой палочкой добывают, живых пауков едят. Наверное, и еще есть такие, но никто не знает. Сам Бог небось про них забыл, а может, никогда и не видел. А кто же станет доглядывать муравьев? Они же вон какие малипусенькие: наступил и пошел дальше. А может, в нем тоже есть какие соображения? Чего-то он видит вокруг себя, что-то любит – не любит, чего-то чурается. Так что интересно понаблюдать, как и что...

– Неча задохлыми наблюдать, – противилась Катерина. – Ежли бы за то трудодень писали... Вот придет тепло, тогда и наблюдай. Летом их полон двор бегают.

– Дак то здешние, а эти – из дальних мест. Может, таких еще никто не видел. Охота узнать, что за порода. Вот бы посадить их в нашей местности!

Присутствие на подоконнике посуды с телами таинственных муравьев-иноземцев будоражило Кольшу до самозабвения. Катерина уже знала, что теперь он за весь день не попросит есть и ни разу не взглянет на ходики, чтобы определиться в своем бытии. На его впалом лице, поросшем редким, по-иночески чернявым очесом, проступила та его возбужденная улыбка с двойными складками на щеках, которая всякий раз появлялась и не сходила часами, когда он загорался внезапным интересом.

– Это сколь времени прошло, пока полено к нам на хутор попало, – размышлял вслух Кольша, прохаживаясь у окна. – Потому и сгнило, что небось долго в пачке лежало. У нас на Ветлуге, бывало, по два, по три года лесины не тронуты. В иные осень месяцами морось висела. Грибы чуть ли не на крыше растут. Как тут бревну не

затрухляветь? Да потом еще сплавом гонят. Подгнившая береза первая идет на дно. Но в дровяном плоту ее вяжут в один пакет с другими породами, и держится она за чужой счет. А сплав аж с Вохмы, потом в Ветлугу, а там и в Волгу. А Волга – вона велика!

Улучив момент, Катерина вошла в горницу с Кольшиными шапкой и телогрейкой:

– Сходи-ка поколи напиленное, печь запалим.

– Волга – это махина! По ней можно плыть аж до самых арбузов...

– Ладно, потом, потом, – не давала ходу Катерина, запихивая Кольшины руки в рукава. – День на убыль пошел, а мы еще не топили, не варили...

– Ага, ага... – соглашался Кольша, надевая свою старенькую кроличью шапку задом наперед.

Печь долго не занималась сырыми дровами, Катерина торчком ставила свеженарубленные полешки вокруг вялого огня, понамутила дымом глаза, но в конце концов раззадорила пламя: печь, бабахая, будто патронами, лизнула рыжим языком забитое дымом устье, и вдруг высветилось изнутри, сразу воспламенившись всеми подсохшими дровяными концами.

Катерина замелькала рогами, выставляя к огню все, что могло принять воду, – чугуны, горшки, молочные крынки. Намочив для стирки ношеное белье, она по второму заходу накипятила воды для купания и мочалкой с азартом выскребла и выполоскала в большой емкой лохани смиренно притихшего Кольшу. И уже намытый, облегченный, мокро приглаженный на висках, Кольша за кашей, а потом за веселым самоваром с баранками и вареньем опять вспомнил о Волге, о своей молодости, про все то, что всколыхнула в нем березовая колода, уже наполовину сгоревшая в голодной печи. Катерина слушала – не слушала уже не раз слышанное, терпеливо кивала и удивлялась: «Скажи ты!», «Это надо же!».

– Дак вот – «издалека долго течет река Волга». К примеру сказать, до Астрахани плоты почти все лето в гоне. Аж молодью позарастают. Сосновый, строевой плот – чистый. А дровяной – чем больше березы, тем зеленей. Шумит, полощется свежий березняк! Выше колен молодые побежки. Иной раз птахи на зелень залетают. Особенно славки: «у-тю-рю-лю, у-тю-рю-лю...» День плывет, другой. И не понимает,

что от отца-матери уже далеко. Тут же, в поросли, шалаш плотогонов. Или палатка. Но в палатке жарко, шалаш лучше. Рядом дымок курится, сетровой ухой пахнет. По Волге плыть да сетра не поймать – такого не бывает. А они на вечерней заре иной раз так разыграются, такими чухами так повскидываются над водой, аж брызги на много сажен в обои стороны. А то как-то сижу на крайнем бревне, ноги в реку свесил, теплая струя подошвы щекочет. Тишина! Из буксирной трубы дым кверху, как из самовара... Вот тебе: как взбросится в двух шагах от плота, рот бубликом, все бляхи на боку видать, да ка-а-ак обдаст ливнем с головы до пят! Этак выпугает, баловник, аж от края навзничь отвалишься, ноги к бороде подберешь... Я ить на сплаве дудки, кугиклы, научился делать. Инструмент завел: резачки, коловоротцы. Летнее время долгое – сверлю да строгаю себе. А то змея запустим – летает, вертит хвостом. А еще медвежонок с нами плавал. Мы его плясать под дудку научили, через голову кувыркаться. Потом под Саратовом на встречную баржу за арбузы отдали. Нам ить все равно скоро было плоты разбирать. Но вот что занятно: сколь ни плавали, всегда с нами на плотях муравьи. Бегают себе по бревнам, как в своем лесу. Ведь где-то они гнездились, в каких-то пустых бревнах? Стало быть, и зимовали в них, вроде наших...

Не сдюжила Катерина, слушая Кольшу, сронила себе на плечо и отпустила на волю слюнку...

Озабоченный и торжественно отрешенный, с этой своей улыбочкой предчувствия откровения, Кольша почти не покидал инкубатор: развязывал для вентиляции марлечку, пальцем определял температуру и влажность подстилки, направлял на пострадавших увеличительное стеклышко... И утешался тем, что прошло еще совсем мало времени, чтобы ждать какого-то результата. А переколотав еще одну ночь, чуть свет вскочил с запечного полка, примотал деревягу, по привычке выставил нули на счетчике и, не побудив Катерину, пожалев ее в утреннем сне, утрежал из дому по хрусткой подмороженной дороге.

Воротился он при свете посадских окон, пропахший талой полевой землей, захлестанный бездорожьем. Катерина стащила с него взопревший резиновый сапог, а деревянную опору, скованную железным ободом, омыла в тазике. И осуждающе бросила:

– Тонул, что ли?

– Тонуть не тонул, но в одном месте свою березу едва выдернул.

– Что за лихо по такой-то грязище?

– В Кутырки ходил, в библиотеку. Спросить что-нибудь про наш случай. А Тоська как зареочет: «Про чего-чего-о?» – Про муравьев, говорю. – «Нет, дядь Коль, ты серьезно? Первый раз такое слышу. Или разводить собрался?» – Интерес, говорю, имею. Так ты постарайся. – «Ой, Николай Кстиныч, даже и не знаю, где искать... Я по декретному была, так тут без меня все перерыли. Люди копают, на место не кладут. Лучше прочитай про коневодство. Недавно получили. С картинками. Как запрягать, как самому телегу сделать. Сейчас на телегу спрос». – Нет, говорю, Тося, мне про коневодство пока не надо. Ты мне про насекомых. – «Ну, дядь Коль, тогда иди сам и копайся. Тебе для потехи, а я каждый день пылью дышу». Ну, полез я... А там книг – аж до потолка! До верха без лестницы не добраться. Да я туда и не осмелился. Только по низам посмотрел. То оглавление поглядишь, то какую страничку прочитаешь. Книжка – дело липучее. Да и не заметил, как день прополыхнул...

– Нашел чего?

– Нашел! – извлек из-за пазухи весело раскрашенную книжицу. – Глянь-кась какая. «Коленками назад» называется.

– Это про тебя, – усмехнулась Катерина. – Чего есть не просишь?

На ходу, причесывая вихорцы, замявшиися под зимней шапкой, Кольша, по своему обыкновению, робко, будто в гостях, прискондыбал к столу, где уже стояла тарелка с хлебом, прикрытая рушником. Голодно пощипывая хлеб из-под накидки, он принялся перелистывать книгу сперва одним только уважительным пальцем, но вскоре уже объял обеими руками и, что-то там вычитывая, сам себе кивая, одобряя, соучастно вскидывал упавшую на лоб кудельку.

– Слушай, чего пишут! – восхищенно обратился он к Катерине, в самый раз подносявшей тарелку паривших щей. – «Муравьиные постройки похожи на города с разумной планировкой, многоярусной этажностью, где всему и всем обозначено место. Система вентиляции такова, что, пока действует муравейник, ничто, ни единая хвоинка не подвергается гнили, хотя на весь этот органический материал в условиях постоянной влажности неусыпно воздействуют бесчисленные гниlostные организмы». Чудеса! – Кольша восхищенно щелкнул по книге россыпью ногтей. – Никаких тебе дипломов, никаких академий! Спросить: кто их этому научил? А, Кать? Вот кто?..

Катерина пожала плечами, потому что действительно не знала такого ответа, а потому привычно, как заведено, приподняла указательный палец к потолку.

– Ой, вряд ли... – восторженно не согласился Кольша. – Не станет Он говорить каждой козявке: ты неси щепочку сюда, а ты – туда, ты клади так, а ты так... Их же миллионы, каждого не научишь...

– Не знаю, не знаю, Коля. По мне – куча да куча. Ты ешь давай, весь день в печи держала.

– Я так думаю, – не слушал Кольша. – Для такого артельного дела нужен один интерес. Чтоб у каждого с каждым совпадал. Тогда скопом до небес гору насыпешь... или своротишь...

Проснувшись Катерина среди ночи, должно быть, от ощущения на веках излишнего света. И верно, предрассветно серело уличное окошко, а на столе желто теплилась переноска, приглушенная газеткой. И все так же сидел над книгой Кольша, туда-сюда ероша и путая волосы на затылке. Заметив ее шевеление, он тут же завоскличал:

– Ну да как же им гору-то до небес не насыпать?! У них все по совести: никто не ленится, перекуров не делает, за другого не прячется, материалы налево не тащит. Каждый вкалывает от души, изо всех сил. Вот, Катерина, опять же: кто их этому научил? А тогда почему нас не научат?

Катерина поспешила накрыться одеялом.

Между тем на хуторском угоре установились погожие плюсовые дни. Хрустел и рушился последний лед по закоулкам, слепили глаза взблески ликующих ручьев, устремившихся с посадских дворов в объятия Егозки. Та, всех принимая, налилась закрайками, неразрешенно вспучилась серым ноздреватым льдом с долгой трещиной посредине.

С улицы в окне замелькала вся новая, оранжевая, яркая, как огонек, крапивница, раз и другой припала к стеклу против муравьиной миски, как бы говоря: «Я уже вот она! А вы чего тянете? Живы ли? Пора, пора!..»

Появление бабочки подогрело Кольшино нетерпение, и он снова и снова брался за увеличительное стеклышко. А, как известно, страстное ожидание желаемого иногда лишает наблюдателя трезвого суждения, и он в конце концов перестает верить своим глазам. Был и у Кольши момент, когда однажды, после долгого и пристального вглядывания в это печальное поле павших лесных братьев, ему вдруг почудилось, будто у одного из муравьев, лежащего рядом с крошечной берестинкой, вроде бы пошевелился усик. Взмолнованный Кольша направил туда свой микроскоп, который тотчас подтвердил, что да, левый усик действительно приподнят над большим выпуклым глазом, будто муравей решился наконец взглянуть на здешний белый свет. «Погоди, – окоротил себя Кольша. – А если так и было?»

Сколько потом ни подступался Кольша к заподозренному мурашу, левый усик по-прежнему оставался приподнятым.

Чтобы как-то пробежало время, Кольша отправился во двор, поковырял лед за погребницей, выпустил под забор застоявшуюся лужицу, а когда снова вернулся к своему реанимационному отделению, то со смущением убедился, что у того муравья, которого он назвал про себя Митяхой, левый усик снова был опущен, как и у всех остальных.

Кольша в раздумье потер лоб и на всякий случай сходил в сарайку, снял с полки банку белил и острой спичкой нанес белую метку на

гузку запримеченного муравья. А утром, еще до солнца, еще без ноги, в одних трусах, допрыгал до подоконника и с замиранием принялся развязывать марлечку.

– Ты чего? – бдитительно спросила с постели Катерина.

– Тут один, кажется, заморгал... – шепотом сообщил Кольша.

– Может, показалось?

– Вчера днем левый усик был кверху, а вечером – книзу.

– Какой там усик? Какой усик? – Катерина решительно приподнялась на локте. – Где ты и разглядел?

– Вот стеклышко, погляди сама... Я того белилом пометил...

– Ой, парень! Надо мерить температуру. Ты, кажись, того... Вот и спать перестал...

– Да я только поглядеть...

– Шел бы ты, Коля, на Егозку, проветрился бы... Мужики уже плавину всякую ловят, а у нас опять ни щепочки. Иди-иди, и мне руки развяжешь: днями Пасха, убираться надо, зимние рамы выставять, окна мыть...

– А как же тут?

– Не бойся, у меня не разбегутся. Ну, подсунул Северьяныч мороки!

А на реке действительно было хорошо, привольно. По неузнаваемо широкой воде, празднично сверкавшей солнечной рябью, устремленно проносились большие и малые льды, иногда скапливаясь в недолгом заторе, где что-то подмыто рушилось, стеклянно хрустело, вскидывалось тяжкими всплесками, и наконец льдины, разобравшись друг с другом, снова устремлялись в свой последний бег. Над тихим же заречьем, где в тепле и спокойствии отстоялась полая вода, черно-белыми отметками крыл объявляли о своем прилете хлопотливые чибисы. А позади, за Кольшиной спиной, на весь околоток кричмя кричали ошалелые петухи, и Кольше казалось, будто его кочет Петруня, огонь с полымем, горланит так, что от него сыпятся искры: того и гляди полыхнет весь просохший и обогретый хуторской посад.

– Экое благо! – щурился Кольша на колкий блеск затопленных лугов, невольно увязывая эту благодать с близкой – через два – Пасхой, совпадавшей с Егозкиным половодьем.

Он устроился с багром на небольшом мысу, ниже которого ходила кругами обширная суводь. Набравшие скорость тяжелые льдины проносились дальше своим путем, но все, что было полегче, захватывалось суводью и до поры кружилось между берегом и главной речной струей. Кольше уже удалось кое-чего словить: пару заборных тесин, помятый тарный ящик и даже нечто похожее на погребной притвор с кованым кольцом на поперечине. Все это добро он относил на бугорок и там раскладывал на просушку.

Подошел, тоже с багром, хуторянин из третьей от Кольши избы, глуховатый дедуля по прозвищу Ась. Он тут же, еще не сказав ни слова, скрутил «козу» и, раскуривая, принялся пыхать кизячным дымком махорки. Дым клочковато отлетал прочь, как бы чужой в остром весеннем воздухе.

На нем было все велико: рукава на старинном, еще сталинском, ватнике закатаны баранкой, резиновые бродни – тоже, черный суконный картуз опирался на оттопыренные, сухие, прожилковатые уши.

– Здорово, говорю! – наконец произнес дедко и прибавил к сказанному свое привычное: – Ась?

– И ты – здоров!

– Во, ядрень ее не замай! Давеча собачья конура плыла. Не видал?

– А я думал – улей.

– Ась?

– Улей, говорю, – нажал на слова Кольша.

– Да не-е, конура: крыша на два ската. Железная! Цаплял-цаплял, да никак: багор короток. Надо б в воду ступить, да убоился: крыгой не сшибло б... Конура ха-арошая! Себе б впору... – Дедко кисло, с кашлем и дымом хохотнул. – А чего, лишь бы голова в лаз прошла, ухами не зацапилася. А так – просторная. Ноги не спрямишь, а калачиком – за милу душу... – Дедко еще раз посмеялся, посипел горлом. – Ну а ты чего наловил?

– Да вот... дровишек...

– Тебе-то на кой? У тебя вон солнце прям на полатах! И муки, поди, на три кулича намолот... на своих мельницах? А я зимой глядел, дак дым из твоей трубы не всяк-то день. Думал, солнцем греешься.

– Мое солнце – оно не для этого...

– Ась?

– На нем портянки не сушат.

– А тади для чего? Для сугрева мыслей? Али знак веры какой? Прежде, сказывают, люди солнцу кланялись. Ты не из них ли?

– Не знаю, из каких, – дернул плечом Кольша. – Оно у меня – для зачину дня.

– Ага... Ага... – согласно закивал дедко. – Я ж и смекаю: для обогрева души. Душа она ить завсегда к светлomu тянется. Иной раз глонешь стакан – нет, не тот сугрев. На другой день под рубахой ишшо муторней... Дак и весь народ так хлещет, не поднявши головы... Вот чего ты придумал! Глядеть, дак вроде баловство. Ан теперь вижу – умно: не дать душе зазябнуть.

Дедко заморгал красноватыми веками с белесыми тычками редких ресниц и на этот раз тоскливо, сиротски заглянул в Кольшины глаза:

– А можа, ты и мне солнце намалюешь?

– Это можно, – согласился Кольша. – У меня серебрянки еще на два солнца осталось. Давай одно – с улицы, а другое – со двора. У тебя фронтон не дырявый?

– Ась?

– Ветер, говорю, по чердаку не гуляет?

– Не-е! Заборка шалёвчата, в паз уложена. Все крепко. И голубым покрашено. Вроде как небо будет.

– Ладно, договорились, – пообещал Кольша. – После праздников зайду.

– Ага... Ага... – умиротворился дедко. – Кто ж его знает... Краска – она ить на алюминиве, электричество должна пропускать. А кругом – магнитные силы. Глядишь, чего и притянет... Радикулит уймется, али баба перестанет лаяться. У тебя, вишь, завсегда тихо. Иду мимо твоего двора – тихо, иду обратно – опять ничего, одни токмо ветряки бурундят. А ить Катька твоя натурная! Горазда и по загровку заехать... Ась? Не было такого?

Кольша смущенно пересунул шапку:

– Такого не было.

Тем часом Катерина готовилась к святой неделе. Почуяв волю и свободу рук, собралась за день побелить печь, веничком обмести потолок, выставить рамы, вымыть стекла и уж после всего выскрести половицы и застелить все новое: постель, скатерть, рушники на божницу, половички – от двери до лампы. Работы предстояло много, но доброе дело ради праздника придавало бодрости и стараний. Повязав косынку и подперев телеса, она оглядела горницу, дабы определиться, с чего начинать, и наперво решила убрать от греха Кольшино заведение, которое в горячке работы можно нечаянно задеть и порушить. К тому же от миски начало бражно пахнуть, и она в полной правоте и простодушии спровадила посудину в сени на свежий ветерок. Там, на лавке, она еще раз перепроверила содержимое: все оставалось, как было, и она потуже затянула обвязку, чтобы в случае чего никто не смог совершить побега.

И право же, она совершила сей проступок отнюдь не нарочно, не с умыслом. Откуда же ей было знать, что в сени набредут вездесущие куры во главе со своим рыжим любером и горлопаном Петруней?.. Наверняка это он первым обнаружил запрещенную поживу. Дверь в сени, разумеется, была открыта, потому как весна, теплынь, зачем же запирается от такой благодати? По правде сказать, Петруня тоже не собирался шkodить, он только хотел выяснить, дома ли хозяйка. Солнце уже за полдень, а она еще ничего не вынесла поклевать. Забыла, что ли? А между тем еще вчера прибежала в курятник и забрала в подол все до одного яйца – и за вчера, и за позавчера. Так несправедливо. Конечно, они с курами уже покопались за сараем, поразгребали навозца, пощипали ростков лебеды, изловили по одной-две мухи на заборе, но все это – так, легкая разминка; а пора бы получить законную оплату твердой пшеничкой или хотя бы мятой картошкой, что, конечно, хуже: картошка плохо глотается и забивает дых.

Сбежавшиеся следом куры, не найдя в сенях ничего съестного, сразу же обратили внимание на посудину. Самые бойкие из них взлетели на лавку и, теснясь и толкаясь, принялись теребить обвязку и,

разумеется, сронили миску на пол. Катерина даже слышала этот глухой звук, но, увлеченная хлопотами по дому, не придавала этому значения и не вышла в сени посмотреть, в чем там дело. А дело уже сводилось к тому, чтобы из разбросанных опилок выклевать недвижных муравьев, что и было исполнено в считанные мгновения. Обескураженной Катерине оставалось только собрать древесный мусор на лопату и отнести за сарай.

Вернувшийся с реки Кольша еще от порога взглянул на пустой горничный подоконник и настороженно спросил:

– А где же?

– Ой, Коля! – подступилась к нему Катерина. – Чего я натворила!..

Она принялась каяться, заглядывая Кольше в глаза, как бы ища в них ту стрелку, которая измеряла бы степень его гнева.

Кольша молча зачерпнул кружкой воды, напился, так и не произнеся ни слова, вышел из дому.

Катерина слышала, как под окнами заповизгивали колесики Кольшиной тараборки: стало быть, поехал собирать свой подсохший дровяной улов.

Вечером же, по его возвращении, выждав, когда он сядет за стол, Катерина распеленала марлевый ком и распластала его перед Кольшей: на белом поле редкого тканья, путаясь в мережке, одиноко и беспомощно копошился черный муравей с белой пометкой.

– Митяха! – изумился Кольша.

– Хотела марлечку постирать, гляжу, а он там запутался, – пояснила Катерина. – Только он и уцелел.

Надвечер Великой субботы заглянула соседка Муся – обширная и шумная женщина, как-то сразу наполнившая Кольшину избу бодрой теснотой. Она была одета по-дорожному: в голубую китайскую пуховку и веселый светлый платочек, с ивовой плетенкой на изгибе руки. С Катериной она договорилась идти в Кутырки на великую литургию, а если хватит сил, то дожидаться крестного хода со всеобщим песнопением в трепете ночных свечей под многоголосье колоколов, а утром освятить куличи и кое-чего для разговления. Муся любила эту необыкновенную сутолоку, заранее возбуждалась и даже тайком, еще дома перед выходом, нарушая запреты, выпила стакашку, отчего сделалась еще общительнее и добрее.

– Слушай, а ты не забыла слова? – еще у порога спросила она у Катерины. – А то ведь петь придется. Ну-ка, как это... – И неожиданно высоко и сочно возгласила: – ... Ангели поют на небесах, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славить-и!..

– Я лучше помолчу, – сказала Катерина. – Боюсь, напутая...

– А мы с тобой поближе к диакону. Наш Леонтий хорошо голосит, не даст запутаться.

Желая посмотреть, как прибрана горница, Муся отвела занавеску и увидела Кольшу. Он сидел за столом, перелистывая книгу. Накрахмаленная скатерть остро казала углы столешницы, посередине которой стояла майонезная баночка с каким-то весенним цветком внутри.

– Привет, сосед! – тоже под села к столу Муся.

– Здравствуй, Мария.

– Все почитываешь?

– Да вот, надо отдавать...

– А я и не помню, когда читала, – винясь, засмеялась Муся. – Дома ни клочка бумажки. Одни старые квитки. Раньше заставляли «Обаполского земледельца» выписывать, а теперь – ну его: не за чего... Вот телевизор гляжу, больше – про секс. Иной раз до петухов маюсь, а утром проснусь – весь низ болит... Последнее здоровье отнимают... Это ж небось нарочно делают.

– А ты не гляди...

– Да я пробовала, – смеялась над собой Муся. – Выключу, похожу-похожу, а сама думаю: ладно, догляжу... Хоть узнаю, как это у людей. А то живешь в темени...

– Хватит тебе, перед всенощной, – укорила Катерина. – Чаю налить, пока соберусь?

– А больше – ничего?

– Завтра приходи.

– А я б и сѣдни... Отец Федор простит, кадилом отмахает.

Муся расстегнула пухлянку, потрусила кофточкой.

– А что это у тебя в майонезке? Гляди, муравель бегаёт!

– Да вот, изо льда вытаил...

Муся выложила пышный бюст на стол, приблизилась лицом к баночке, помолчала, понаблюдала черными томленными глазами.

– И чего теперь?

– А ничего, не здешний.

– Скажи ты! Импортный?

– Бревно распилили, а они там, в снегу. Из дальних лесов.

– Разводить будешь?

– Его уже не разведешь...

– А давай ему невесту споймаем! Скоро подсохнет – во все стороны побегут. Хоть черную, хоть рыжую... Гляди, как носится: туда-сюда, туда-сюда...

Муся отстранилась от стола и озорно оглянулась на Катерину, как бы приглашая ее в сваты.

– Такую свадьбу отгрохаем! Я самогонки выгоню...

– У них бескрылых невест не берут, – возразил Кольша.

– Ух ты, какой разборчивый! – Муся утерла ладонью насмешенные глаза и как-то уважительно уставилась на Митяху. Но тут же снова захохотала. – А небось подсунь ему какую-нибудь, так он и без крыльев сграбастает!.. Все вы, мужики, одинаковые!

– А он и не мужик вовсе...

– А кто же? Монах, что ли?

– Он – рабочий.

– Дак чего – ему бабы не надо?

– Не надо.

– Просто на волю охота? По земле побегать? Вот пойдем с Катериной в Кутырки, давай по дороге и выпущу – в хорошем месте.

– И про волю он не думает. – Кольша закрыл книгу и провел по ней узкой, сухой ладошкой. – Просто такое – иди, куда хочешь, – ему не нужно. Один он все равно пропадет.

– Ну а тади чего ему? Чего мечется?

– Это он дела хочет, – пояснил Кольша, поглядев на снующего Митяху. – Мучается он без дела... Истратит всего себя на пустую беготню и начнет затихать, гинуть от ненужности.

– Ой, правда! – согласно воспряла Муся. – Я, когда душа заскорбит, сразу кидаюсь стирать. И – отпускает!

– Это для всех закон.

– Тади насыпь ему мусорку. Пусть трудится, щепочки таскает. Как на субботнике.

– Нет, так он не станет. Вот тут пишут: ему идея нужна. Общая задача. Ему надо видеть, что делают другие. Завтра отнесу в лесопосадку, поищу муравейник.

– А ежели сожрут? Он ить тут чужой, из других мест.

– Поищу одной породы. Те только обнюхают, ощупают, обмеряют... Чтоб все совпало. А потом окропят своим духом и отправят на общие работы. И он сразу примется помогать изо всех сил.

– Надо же! – Муся сладко смежила веки и, взяв в руки баночку, принялась рассматривать на свет. – А у меня летом по избе бегают и того меньше. Во-о-от такусенькие! Ручки-ножки даже не разглядеть. А сахар – почем зря таскают! С полки – на подоконник, с подоконника – в дырку под рамой и – привет! С улицы – порожняком, обратно – с сахаром. А сахариночка, поди, тяжелее его самого. Но – тужится, волочет, не присядет, не передохнет. За день, ей-бо, полстакана утаскивают... Вот думаю я: как же это ловко устроено? В ней, в этой букашулечке, небось и сердце есть, все время тикает, и какая-то кровушка перетекает... Не сухой же он изнутри? Дак ведь и надо знать, куда тот сахар тащить? Дорогу помнить... Значит, и в головенке у него не пусто? Как это так, Коля?

– Вот и я пытаюсь понять...

– А я думаю, этого понять нельзя... Может, ты добьешься, а я – нет. Я лучше к отцу Феде: у него все понятно, все – из глины... Пойдем с нами, а?

– Не-е, я не пойду.

– Чего так?

– А ну его... Когда я рисовал солнце, он остановился перед домом, поглядел, как я малюю, и сказал: «Мимо Господа печешься». И пошел.

– А помнишь, как ты сверчка со склада принес?

– Помню, как же...

– Как ты ножик об ножик тер, заставлял его чирикать. А мы приходили слушать.

– Я его Тюрлей звал.

– Да, да – Тюрля. Бывало, ежели вечер лунный – как распоеется, растюрлюкается!

– Было, было, – покивал Кольша.

– Занятный ты мужик! – Муся привстала и, обхватив жаркими ручищами, потискала за плечи. – Катька, отдай-ка мне его! Годка на два – скоротать бабий зазимок. А, Кать?

– Сама и прогонишь... – отшутилась Катерина. – Он ить безденежный.

– Стало быть, бессребреник! Синяк под глазом мне набьет!

Воскресный день Пасхи, как и Страстная неделя, вставал погоже и осиянно. Небо очистилось до самых невероятных глубин, в нем не было ни облачка, ни даже мгновенных росчерков стрижей, еще не прилетевших, и все пребывало в торжественном отрешении и благодати. Из-за полевого угора, тронутого хлебной зеленью, доносился перезвон в три разновеликих колокола. Порушенная колокольная долго молчала, и потому, наверное, неопытный звонарь иногда сбивался с беглого боя, но зато эта его рьяная неровность и залихватое многоголосье придавали бодрящую праздничность всей округе, побуждая к единению и добру.

Катерина с Мусей еще не вернулись с ночного бдения, хотя, по высокому солнцу, и пора бы: поди, на радостях забрели к тамошним знакомым, в чем не было ничего удивительного, поскольку в прежние годы бок о бок тащили лямку на бурачном поле, и на скотном дворе, и в сельповской очереди за пачечной вермишелью или постным маслом. В нынешней хуторской разобщенности прежнее товарищество особенно помнилось и ценилось.

Поскоблив щеки и надев еще вчера приготовленную для него белую рубаху, веявшую праздной чистотой и утюжкой, Кольша вышел за ворота и постоял там в одиночестве, иногда поглядывая на кутыркинский проселок.

Река сильно сдала – грязно обнажились низы прежде залитых раakit, просыпал черный кочкарник на заиленном лугу; но зато здесь, на бугре, под ногами, было зелено и чисто: ободренная теплом, доверчиво шла в рост всяческая мурава, и было удивительно, когда только успели зацвести нежные, застенчивые хохлатки, манившие этой нежной лиловостью еще полусонных шмелей.

А под каждым пеньком или забориной уже барыней гляделась молодая крапива.

Кольшины ветряки – одна красная, с фасадного конька, две голубые, с дворового подконка, – в этот легкий, безмятежный день окончательно утомонились и, будто усталые гонцы, обессиленно

задремали, одинаково повернувшись в теплую сторону, откуда последние дни навевал доброжелательный ветерок.

Катерина все еще не появлялась на дороге, и Кольша, возвратясь в дом, засобиравшись и сам: поверх новой рубахи надел привычную куртейку, перекинул через плечо холщовую торбочку, а в нее сложил краек черного хлеба, головку лука и бывалую фляжку с колодезной водой.

– Ну, Митяха, пошли... – сказал он, беря на подоконнике баночку с муравьем, который все еще пытался одолеть стеклянную стену. – Пора тебе...

Кольша приоткрыл крышку, пустил внутрь свежего воздуха и, заперев снова, положил майонезку в карман куртки.

В поле он выбрал огородной стежкой, еще нехоженой и сыроватой, оставив на ней свой странный след – глубокие тычки через каждые полтора метра. Стороннему показалось бы, что здесь кто-то прошел на высоких ходулях. Но сама полевая дорога, уходившая к лесополосе, уже просохла, упираться в нее деревянной пятой стало легче и остойчивей, хотя она и возвышалась легким подъемом.

Лесополоса из рослых берез, перемеженных рябиной и кустовой акацией, простиралась на несколько километров. В дальнем ее конце Кольша давно не был, но с хуторской стороны знал несколько муравейников, в один из которых он и собрался определить своего Митяху. В эту пору внедриться в чужую муравьиную артель было нетрудно, поскольку муравьи-хозяева еще не обрели бдительной активности. Облепив вершину гнездового конуса, они всего лишь сонно греются на вешнем солнышке.

С тихим торжеством, будто под свод храма, ступил Кольша под светлую сень полевых берез. Заматеревшие березы, опираясь на чернокорые лапчатые кряжи, стремительно возносились в синеву веселой белизной стволов и там, в вышине, нежно пушились зеленой дымкой. Где-то самозабвенно, раскатно теребил сухую щепу дятел, и все еще не стихал перезвон колоколов, который здесь, среди этой праздничной белоствольной тишины, даже усиливался и медовел. А еще в продольной глубине лесной полосы слышались неспешное дринканье гитары и веселый, возбужденный говор и хохоток.

Вскоре впереди, у березового края, засверкал никель черного мотоцикла, а чуть подальше несколько мопедов подпирали друг

дружку рогатыми рулями. Тут же, под зонтом рябины, пять не то шесть парней-подростков полулежа окружали расстеленный рушник, на котором ярко пестрели засахаренные маковки куличей, крашеные яички, стеклянные банки с помидорами и огурцами. И над всей этой красотой высилась мрачная крутоплечая бутылка, похожая на монастырскую башню. Тут же, на березовом обручке, пощипывал гитарные струны парень постарше, уже опушенный чернявой, от уха до уха бородой и с большой цыганской серьгой в левой ушной мочке.

Кольша хотел было стороной обойти пасхальную компанию, но его заметили, гитара умолкла, и навстречу вышли два пацана – оба непокрытые, по-весеннему, а может, по-пьяному встрепанные, со свежими солнечными ожогами на курносых носах и подглазьях. Один из них был долговяз и черняв, другой – поплотней и попеньковей.

Подойдя к Кольше, поразглядывав его неприязненно, исподлобья – не оттого, что имел какие-то претензии, а просто потому, что изрядно охмелел, чернявый, запинаясь, гуняво спросил:

– 3-землемер, ш-шеф просит закурить...

– Нет, ребята, я некурящий, – ответил Кольша.

Пеньковатый обернулся и переответил гитаристу:

– Он некурящий! Нету у него.

– Наверное, врет? – отозвался тот и, не оставляя гитары, не спеша, вразвалочку, шурша перезимовавшими листьями, направился к тем двоим. Остальные двое тоже потянулись за ним.

– Знаю я этих жлобов, – раздраженно ворчал гитарист. – У самого есть, а притворяется – нету.

– А ты чей будешь? – поинтересовался Кольша. – По голосу вроде Синяков Павел. Давно тебя не видал, годов пять. Большой вырос!

– Ошибаешься, дядя!

– Не должен... Вот только борода... А голос – Пашкин...

– Ты, землемер, давай зубы не заговаривай, – огрызнулся гитарист, обдав Кольшу волной самогонной одышки. В его ошестиненной бороде, как раз под губой, взмелькивало огуречное семечко. – Тебя спрашивают: курево есть? Есть или нет?

– Нету... – развел руками Кольша. – Зачем оно мне: я же некурящий.

– Найдем – хуже будет, – пригрозил гитарист. – А ну – проверьте!

Те двое – чернявый и посветлей – вяло, без интереса, озираясь по сторонам, с двух боков подошли к Кольше: чернявый снял торбочку и высыпал содержимое на землю; тем же временем пеньковатый запустил руку в боковой карман куртки и ухватил майонезку.

– А баночку не тронь! – рассердился Кольша. – Дай немедленно!

Он хотел было вырвать посудину, но гитарист, ухмыляясь, поднял баночку над головой.

– Пашка, отдай!

– У-тю, тю, тю... – высоко вертел баночкой гитарист.

Пытаясь дотянуться, Кольша запнулся, запутался деревягой в сухой прутьяной траве и, теряя равновесие, подался вперед, обеими руками толкнул гитару, висевшую на груди Синяка. Раздался нечаянный басовый звон.

– А-а, ты струны рвать?! – понизив голос до шипения, выдохнул Синяк. – А ну, Пепа, сделай ему!

Пеньковатый малый вяло махнул возле Кольшиного уха белой кроссовкой, но промазал и, не устояв, плюхнулся на землю. Остальные пацаны захохотали.

– Слабак! – подтвердил гитарист и повернулся к чернявому. – А ну, ты, давай...

Чернявый, оглядывая Кольшу, примеряясь к нему, зашел сзади и оттуда ударил Кольшу в висок.

– Ребята! – попросил Кольша, зажимая ладонью зазвеневшее ухо. – Крышку хоть откройте... Пропадет ведь...

– Обойдешься! – усмехнулся Синяк и зашвырнул майонезку в глубину лесопосадки.

– Зачем же... – Кольша невольно потянулся за ней руками, но тут же из-под рыжего брюха гитары встречно выметнулся осыпанный песком и листьями резиновый бот и тяжело, тупо, будто кувалдой, саданул ему в грудь, в белую пасхальную рубаху...

– Уметь надо, козлы! – торжествующе крикнул Синяк, оглядывая примолкших пацанов.

Кольша немощно опрокинулся навзничь, раскинув руки крестом. На него посыпались ободренные пинки остальной, еще неумелой стаи...

«Какое чистое небо!» – теряя сознание, успел удивиться Кольша.

На другое утро, туманное, жесткое от ночной прохлады, Катерина нашла его в лесопосадке застрявшим в цепких кустах акаций; наверное, он потерял направление и полз вовсе не к дому, а куда-то не туда...

Руки его были в вязкой лесной грязи. Но на изодранном, кровоточащем виске еще билась подкожная жилка...

1999

Где просыпается солнце?

Тяжело махая крыльями, летели гуси. Санька сидел на перевернутой лодке и, запрокинув голову, тянулся глазами к этим большим усталым птицам. А они то резко темнели, когда пролетали под влажно-белым весенним облаком, то вдруг сами ослепительно белели чистым, обдутым ветрами пером, когда окунались в солнечные лучи, в голубое бездонное разводье между облаками. И сыпались на землю их сдержанные, озабоченные вскрики.

Гуси всегда летели в одну сторону: из-за домов наискосок через реку и поле к далекому лесу.

Санька глядел вслед птицам долго и завистливо, как гусенок с перешибленным крылом. Издали вся стая походила на обрывок черной нитки, которая, плавно изгибаясь над зубчатой стеной леса, то провисала качелями, то вытягивалась в ровную линию.

– Уже, поди, и до дяди Сергея долетели, – прикидывал он.

Дядя Сергей поселился у них среди зимы. Однажды, возвращаясь из школы, Санька увидел под окнами своего дома нечто совершенно непонятное: не самолет, не автомобиль. Диковинная машина была вся запорошена снегом: и овальные окна, и ребристые бока, и огромная фара на кончике длинного, как у моторной лодки, носа. Стена Санькиного дома была густо залеплена снегом, будто на улице только что прошлась вьюга. Позади кузова невиданной машины Санька разглядел красную лопасть пропеллера.

– Ух ты! – прищелкнул языком Санька и побежал через сугроб домой.

Во дворе Санька увидел незнакомого человека в сером свитере, в рыжей лохматой шапке и таких же рыжих меховых сапогах. Лицо его густо обросло щетиной. Человек колол дрова.

В горнице за столом сидел еще один приезжий, Степан Петрович. Смешно надув щеки и глядя в маленькое зеркальце, он бритвой соскабливал с лица густую мыльную пену.

Все это неожиданное нашествие наполнило их пустой гулкой дом ощущением праздника. Саньку совершенно покорили и чудо-машина

под окном, и загадочные вещи, сваленные в сених, и эти бородатые, ни на кого не похожие люди, и даже швырчащая колбаса на сковородке.

Улучив момент, Санька дернул мать за рукав.

– Мам, кто такие?

– Квартиранты.

– У нас будут жить? – переспросил Санька.

– Говорят, проживут до лета.

– Мам, и машина будет у нас?

– Не знаю, Санюшка. Садись поешь.

После обеда Санька побежал на улицу к машине. Там уже толпились ребяташки. Протирали рукавичками окна, почтительно притрагивались к алой лопасти пропеллера, пролезали под днищем.

– А ну, не трогать руками! – налетел Санька. Ребяташки послушно отступили. Ничего не поделаешь: машина стояла перед Санькиным домом. Приходится подчиняться. – У нас теперь квартиранты на постое, – сказал Санька. – А это их машина.

Ребяташки с завистью глядели на Саньку.

Вечером дядя Сергей и Степан Петрович расстелили на столе большую карту, всю исчерченную кривыми, причудливыми линиями, и стали вымерять что-то блестящим циркулем и помечать цветными карандашами. Санька с любопытством следил за их непонятным занятием.

– А ну-ка, Санька! – сказал дядя Сергей. – Покажи-ка нам на карте свою реку.

Санька забрался на стул, растерянно оглядел пестрый лист. Никакой реки он не увидел и смущенно сказал:

– Ее снегом замело. Зимой всегда заметает.

Дядя Сергей и Степан Петрович расхохотались.

Работали они допоздна. А на рассвете Санька проснулся от рева мотора. Яркий свет полоснул по окнам, и на миг стали видны до последней прожилки морозные веточки на стеклах. Мотор завыл, в окна швырнуло снегом, и вскоре был слышен лишь отдаленный рокот, который постепенно совсем истаял.

Утром Санька выбежал на улицу и внимательно оглядел снег. Он отыскал три широкие лыжни. Они вели прямо к реке. С обрыва было видно, как лыжни сбежали по крутому спуску на реку, пересекли ее

поперек, выбрались на тот берег и ровными голубыми линиями умчались по чистому снегу к далекому лесу.

«Вот бы прокатиться!» – думал Санька, щурясь от солнечной белизны и силясь проследить как можно дальше стремительный росчерк лыжни.

Так они уезжали каждое утро и возвращались, когда становилось совсем темно. Санька еще издали замечал в поле рыскающий луч света, который отбрасывала фара, и, радостный, бежал домой:

– Мам, едут!

Они снимали в передней пахнущие морозным ветром шубы и шапки, и Санька поливал им на руки из кувшина. Потом дядя Сергей шел раздувать самовар, который он чудно называл «ихтиозавром». После ужина дядя Сергей и Степан Петрович садились за карты и чертежи.

Дядя Сергей был большой выдумщик и всегда что-нибудь привозил из лесу. Как-то раз он выгрузил из аэросаней разлапый сосновый корень, весь вечер опиливал и строгал корягу, и получилась голова оленя с красивыми рогами. Когда же дядя Сергей уезжал надолго, Санька скучал и лънул к матери, и та укачивала его на коленях, закрыв теплой вязаной шалью. В такие дни в доме было тихо и пусто. Спать ложились рано.

В последний раз дядя Сергей уехал перед самой весной. Санька ожидал его каждый день. Он бегал к обрыву и глядел на реку. Но поле было пустынно и белело, как чистый лист бумаги – без единого пятнышка, без черточки. Свежая пороша замела все следы.

Когда же с пригорков хлынули ручьи и река вздулась и подняла лед, Санька понял, что дядя Сергей больше не приедет. По реке мчались льдины с оборванными строчками лисьих следов и кусками санной дороги. Льдины тупо, упрямо бодали пустые стволы старых раkit, и те содрогались до самой макушки. А вверху, тяжело махая крыльями, летели гуси. Они летели туда, где просыпалось солнце.

Санька никогда не бывал по ту сторону соснового бора. Он только знал, что каждое утро из-за леса поднималось солнце, оно было большое и красное, и Санька думал, что оно спросонья такое. «Вот если бы пройти весь лес, – размышлял он, стоя на крутояре, – тихонечко подкрасться и спрятаться за кусты, то можно подсмотреть, как просыпается солнце. Дядя Сергей, поди, уж видел много раз».

Весенние дни побежали быстро. Санька с утра до вечера пропадал на улице и постепенно стал забывать дядю Сергея.

Однажды под окном на раките радостно засвиристел скворец. И Санька вспомнил, что уже давно собирался сделать скворечник. Старый совсем развалился. Санька побежал домой, вынес на крыльцо дощечки, топор, ножовку и принялся за дело. Тяпал топором и виновато поглядывал на скворца.

– Как же я забыл? – приговаривал Санька. – Ну посиди, я сейчас.

Скворец сидел тут же на ветке, охорашивался с дороги и понимающе косил черным глазом на кучерявую щепку.

Сладив скворечник, Санька полез приколачивать его на раките. Он уже сидел на самой макушке, когда к их дому подкатил вездеходик с брезентовым верхом. Из машины вылез человек в сером дождевике и резиновых сапогах.

– Дядя Сергей! Дядя Сергей! – закричал Санька. – Я – вот он! – Он заскользил на животе вниз по корявому стволу. – Я сейчас!

Санька глядел на дядю Сергея, и его губы сами собой растягивались в улыбке. На Санькиной щеке багровела свежая царапина. К куртке пристали кусочки сухой коры.

– Ну, как вы тут? – дядя Сергей присел перед Санькой на корточки.

– Мы ничего... Живем. Только с мамкой ждали... Думали, совсем не приедете.

– Дела, Санька. Вот скоро с тобой поедem, сам увидишь. Тут я тебе одну штуку привез. – Дядя Сергей порылся в машине. – На-ка, держи!

Это был трехмачтовый кораблик с килем, форштевнем, каютами, бортовыми шлюпками. По всему было видно, что кораблик находился в долгом и трудном плавании. Его корпус, выкрашенный белым, покрылся рыжей илистой пленкой. Мачты были сломаны. Обломки запутались в снастях. Уцелела только бизань-мачта с мокрыми парусами. К парусу прилип бурый ракиновый лист.

Санька держал в руках кораблик так осторожно, будто это было живое существо, живая, трепещущая птица. Где-то он плавал, гонимый ветрами, встречал закаты и восходы, боролся с непогодой, какие-то видел берега... Саньке даже не верилось, что в его руках такой необыкновенный корабль, он даже покраснел от счастья.

– Спустился к реке, чтобы подлить воды в радиатор, – сказал дядя Сергей. – Гляжу, плывет!

Пока мать готовила обед, Санька и дядя Сергей взялись за ремонт судна. Отмыли под рукомойником корпус и палубу, выстругали новые мачты и прикрутили к ним рей. Санькина мать достала из сундука белый лоскут для парусов. Корабль выглядел нарядно, празднично. Он стоял на столе на подставке от утюга, будто на стапелях, снова готовый к дальним странствиям.

– А что ж мы про флаг забыли! – всплеснул руками сияющий Санька. Он разыскал в ящике швейной машины кусочек красной материи и выкроил флаг.

– Без флага кораблю нельзя, – одобрил дядя Сергей. – Только поднимать его еще рано, потому что у корабля нет названия. Надо дать ему имя. Самое красивое. Ну-ка, Санька, подумай!

Санька озабоченно наморщил лоб.

– Чайка!.. – сказал он.

– Чайка... – в раздумье повторил дядя Сергей. – Чайка! Что ж, неплохое название! Подходит! Но не будем торопиться: есть слова лучше.

– Морской орел! – выпалил Санька. – Орел сильнее чайки!

– Нет, это слишком воинственное. Не нравятся мне эти морские орлы, – сказал дядя Сергей. – Давай, знаешь... – задумался он. – Давай назовем вот как... «Мечта». Понимаешь?!

Санька задумался. Он никак не мог себе представить, какая она бывает, эта мечта.

– Ты о чем-нибудь мечтаешь? – спросил дядя Сергей. – Есть у тебя какое-нибудь самое большое желание?

– Есть... – тихонечко, почти шепотом, проговорил Санька.

– Какое? Какое?

– Хочу поглядеть, как солнце просыпается, – смущенно пробормотал Санька.

– Ну вот, видишь... У каждого человека есть свое самое большое желание. У тебя, у меня, у твоей матери. Без него нельзя, вот так же, как чайке нельзя без крыльев. Мечта – тоже птица. Только летает она и выше и дальше. Понимаешь?

Вместо ответа Санька порылся в кармане, достал огрызок чернильного карандаша и, взглянув на дядю Сергея, спросил:

– Где писать название?

И, посплюнув карандаш, Санька старательно вывел на носу корабля большими печатными буквами: МЕЧТА.

– А теперь слушай мою команду! На флаг смирно! – по-военному громко сказал дядя Сергей и вытянул руки по швам.

Санька поглядел на него и тоже прижал к бокам руки. Лицо его стало серьезным, и только царапина на щеке и синее пятнышко от чернильного карандаша на нижней губе несколько не соответствовали параду.

В дверном проеме стояла Санькина мать. Вытирая рушником тарелку, она глядела то на дядю Сергея, то на своего сына, улыбалась, но губы почему-то дрожали, а глаза ее блестели так, будто она только что крошила сырую луковицу.

– Можешь спускать корабль на воду! – объявил дядя Сергей.

Санька схватил суденышко и выбежал на улицу.

Вскоре он прибежал обратно. Вид у него был растерянный. В глазах стояли слезы.

– Дядя Сергей! Кораблик-то уплыл...

Мать всплеснула руками:

– Как же это ты? Так-то тебе давать хорошие вещи! За это уши надо драть.

– Да-а... – захныкал Санька. – Я не хотел... Я только оттолкнул его от берега, а паруса надулись... И – уплыл...

Дядя Сергей и Санька вышли на улицу. С высокого берега было видно, как на тихой ряби реки, на самом стрежне, белел стройный красивый парусник. Это была Санькина «Мечта». Попутный ветер надувал ее паруса, и она, чуть покачиваясь и трепеща алым флагом, быстро бежала все дальше и дальше.

Дядя Сергей искал глазами лодку, на которой можно было бы догнать кораблик, но единственная лодка лежала на берегу вверх днищем.

– Только не хныкать, – сказал дядя Сергей. – Ничего не поделаешь! Видно, такой уж это беспокойный корабль. Не любит мелкой воды. Ты, Санька, не огорчайся. Мы построим новый. Винтовой пароход. С трубами. Тот никуда не уплывет. А этот пусть плывет...

Дядя Сергей присел на перевернутую лодку и притянул к себе Саньку.

Вечер быстро наливался густой, плотной синевой. Река стала еще шире, просторней. Затуманился и куда-то уплыл противоположный берег. Далеко-далеко, где-то за лесом, на темном вечернем небе неясно и таинственно вспыхивали и дрожали то голубоватые, то бледно-желтые всполохи, и доносился глухой, едва уловимый рокот.

– Слышал я, Санька, одну загадочную историю, – начал дядя Сергей. – Рассказывали мне, будто плавает по нашей стране неведомо кем построенный кораблик с мачтами, с парусами – все как положено. Никто не может удержать его. Швыряют тот кораблик волны, ветер ломает мачты и рвет паруса, а он не сдается – плывет и плывет. Поймает его какой-нибудь парнишка, починит и думает, вот хорошая игрушка. Только спустит на воду, а кораблик надует паруса – и был таков. Так и плывет он мимо сел и городов, из реки в реку, через всю страну, до самого синего моря.

– А когда до моря доплывет?

– А когда доплывет до моря, его непременно изловит какой-нибудь человек. Обрадуется: хороший подарок сыну! И увезет куда-нибудь к себе. Ну, а сын, известное дело, сразу бежит на речку. Кораблику только этого и надо. И снова – из реки в реку, от мальчишки к мальчишке, через всю страну. И вот что удивительно. Всякий парнишка, который подержит его в руках, навсегда становится беспокойным человеком. Все он потом что-то ищет, чего-то дознается...

В эту ночь Саньке снились чайки и огромное красное солнце. Солнце наполовину вышло из моря, и навстречу ему, рассекая волны, гордо бежал белокрылый корабль.

Кукла (Акимыч)

Теперь уже редко бываю в тех местах: занесло, затянуло, заилило, забило песком последние сеймские омута.

Вот, говорят, раньше реки были глубже...

Зачем же далеко в историю забираться? В не так далекое время любил я наведываться под Липино, верстах в двадцати пяти от дома. В самый раз против древнего обезглавленного кургана, над которым в знойные дни завсегда парили коршуна, была одна заветная яма. В этом месте река, упершись в несокрушимую девонскую глину, делает поворот с таким норовом, что начинает крутить целиком весь омут, создавая обратно-круговое течение. Часами здесь кружат, никак не могут вырваться на вольную воду щепы, водоросли, торчащие горлышком вверх бутылки, обломки вездесущего пенопласта, и денно и ночью урчат, булькают и всхлипывают страшноватые воронки, которых избегают даже гуси. Ну, а ночью у омута и вовсе не по себе, когда вдруг гулко, тяжело обрушится подмытый берег или полоснет по воде плоским хвостом, будто доской, поднявшийся из ямы матерый хозяин-сом.

Как-то застал я перевозчика Акимыча возле своего шалаша за тайным рыбацким делом. Приладив на носу очки, он сосредоточенно выдирал золотистый корд из обрезка приводного ремня – замышлял перемет. И все сокрушался: нет у него подходящих крючков.

Я порылся в своих припасах, отобрал самых лихих, гнутых из вороненой двухмиллиметровой проволоки, которые когда-то приобрел просто так, для экзотики, и высыпал их в Акимычеву фуражку. Тот взял один непослушными, задубелыми пальцами, повертел передочками и насмешливо посмотрел на меня, сощутив один глаз:

– А я думал, и вправду крюк. Придется в кузне заказывать. А эти убери со смеху.

Не знаю, заловил ли Акимыч хозяина Липиной ямы, потому что потом по разным причинам образовался у меня перерыв, не стал я ездить в те места. Лишь спустя несколько лет довелось наконец проведать старые свои сижки.

Поехал и не узнал реки.

Русло сузилось, затравенело, чистые пески на излучинах затянуло дурнишником и жестким белокопытником, объявилось много незнакомых мелей и кос. Не стало приглубых тягунов-быстрин, где прежде на вечерней зорьке буровили речную гладь литые, забронзовелые язи. Бывало, готовишь снасть для проводки, а пальцы никак не могут попасть лесой в колечко – такой охватывает азартный озноб при виде крутых, беззвучно расходящихся кругов... Ныне все это язевое приволье оцетинилось кугой и пиками стрелолиста, а всюду, где пока свободно от трав, прет черная донная тина, раздобревшая от избытка удобрений, сносимых дождями с полей.

«Ну уж, – думаю, – с Липиной ямой ничего не случилось. Что может статься с такой пучиной!» Подхожу и не верю глазам: там, где когда-то страшно крутило и водоворотило, горбом выпер грязный серый меляк, похожий на большую околевшую рыбину, и на том меляке – старый гусак. Стоял он этак небрежно, на одной лапе, охорашиваясь, клювом изгоняя блох из-под оттопыренного крыла. И невдомек глупому, что еще недавно под ним было шесть-семь метров черной кипучей глубины, которую он же сам, возглавляя выводок, боязливо оплывал сторонкой.

Глядя на зарастающую реку, едва сочившуюся присмирившей водицей, Акимыч горестно отмахнулся:

– И даже удочек не разматывай! Не трави душу. Не стало делов, Иваныч, не стало!

Вскоре не стало на Сейме и самого Акимыча, избыл его стародавний речной перевоз...

На берегу, в тростниковом шалаше, мне не раз доводилось коротать летние ночи. Тогда же выяснилось, что мы с Акимычем, оказывается, воевали в одной и той же горбатовской третьей армии, участвовали в «Багратионе», вместе ликвидировали бобруйский, а затем и минский котлы, брали одни и те же белорусские и польские города. И даже выбыли из войны в одном и том же месяце. Правда, госпиталя нам выпали разные: я попал в Серпухов, а он – в Углич.

Ранило Акимыча бескровно, но тяжело: дальнобойным фугасом завалило в окопе и контузило так, что и теперь, спустя десятилетия, разволновавшись, он внезапно утрачивал дар речи, язык его будто намертво заклинивало, и Акимыч, побледнев, умолкал, мучительно, вытаращенно глядя на собеседника и беспомощно вытянув губы

трубочкой. Так длилось несколько минут, после чего он глубоко, шумно вздыхал, поднимая при этом острые, худые плечи, и холодный пот осыпал его измученное немотой и окаменелостью лицо.

«Уж не помер ли?» – нехорошо сжалось во мне, когда я набрел на обгорелые останки Акимычева шалаша.

Ан нет! Прошлой осенью иду по селу мимо новенькой белокирпичной школы, так ладно занявшей зеленый взгорок над Сеймом, гляжу, а навстречу – Акимыч! Торопко гукает кирзачами, картузик, телогреечка внапашку, на плече – лопата.

– Здорово, друг сердечный! – раскинул я руки, преграждая ему путь.

Акимыч, бледный, с мучительно одеревеневшими губами, казалось, не признал меня вовсе. Видно, его что-то вывело из себя и, как всегда в таких случаях, намертво заклинило.

– Ты куда пропал-то?! Не видно на реке.

Акимыч вытянул губы трубочкой, силясь что-то сказать.

– Гляжу, шалаш твой сожгли.

Вместо ответа он повертел указательным пальцем у виска, мол, на это большого ума не надо.

– Так ты где сейчас, не пойму?

Все еще не приходя в себя, Акимыч кивнул головой в сторону школы.

– Ясно теперь. Сторожишь, садовничаешь. А с лопатой куда?

– А-а! – вырвалось у него, и он досадливо сунул плечом, порываясь идти.

Мы пошли мимо школьной ограды по дороге, обсаженной старыми ивами, уже охваченными осенней позолотой. В природе было еще солнечно, тепло и даже празднично, как иногда бывает в начале погожего октября, когда доцветают последние звездочки цикория и еще шарят по запоздалым шапкам татарника черно-бархатные шмели. А воздух уже остер и крепок, и дали ясны и открыты до беспредельности.

Прямо от школьной ограды, вернее от проходящей мимо нее дороги, начиналась речная луговина, еще по-летнему зеленая, с белыми вкраплениями тысячелистника, гусиных перьев и каких-то луговых грибов. И только вблизи придорожных ив луг был усыпан палым листом, узким и длинным, похожим на нашу сеймскую

незатейливую рыбку-верховку. А из-за ограды тянуло влажной перекопанной землей и хмельной яблочной прелью. Где-то там, за молодыми яблонями, должно быть на спортивной площадке, раздавались хлесткие шлепки по волейбольному мячу, иногда сопровождаемые всплесками торжествующих, одобрительных ребячьих вскриков, и эти молодые голоса под безоблачным сельским полднем тоже создавали ощущение праздничности и радости бытия.

Все это время Акимыч шел впереди меня молча и споро, лишь когда минули угол ограды, он остановился и сдавленно обронил:

– Вот, гляди...

В грязном придорожном кювете валялась кукла. Она лежала навзничь, раскинув руки и ноги. Большая и все еще миловидная лицом, с легкой, едва обозначенной улыбкой на припухлых по-детски губах. Но светлые шелковистые волосы на голове были местами обожжены, глаза выдавлены, а на месте носа зияла дыра, прожженная, должно быть, сигаретой. Кто-то сорвал с нее платье, а голубенькие трусики сдернул до самых башмаков, и то место, которое прежде закрывалось ими, тоже было истыкано сигаретой.

– Это чья же работа?

– Кто ж их знает... – не сразу ответил Акимыч, все еще сокрушенно глядя на куклу, над которой кто-то так цинично и жестоко глумился. – Нынче трудно на кого думать. Многие притерпелись к худу и не видят, как сами худое творят. А от них дети того набираются. С куклой это не первый случай. Езжу я и в район, и в область и вижу: то тут, то там – под забором ли, в мусорной куче – выброшенные куклы валяются. Которые целиком прямо, в платье, с бантом в волосах, а бывает – без головы или без обеих ног... Так мне нехорошо видеть это!.. Аж сердце комом сожмется... Может, со мной с войны такое. На всю жизнь нагяделся я человечины... Вроде и понимаешь: кукла. Да ведь облик-то человеческий. Иную так сделают, что и от живого дитё не отличишь. И плачет по-людски. И когда это подобие валяется растерзанное у дороги – не могу видеть. Колотит меня всего. А люди идут мимо – каждый по своим делам – и ничего. Проходят парочки, за руки держатся, про любовь говорят, о детках мечтают. Везут малышей в колясках – бровью не поведут. Детишки бегают – привыкают к такому святотатству. Вот и тут: сколько мимо прошло учеников! Утром – в школу, вечером – из школы. А главное – учителя: они ведь тоже

мимо проходят. Вот чего не понимаю! Как же так?! Чему же ты научишь, какой красоте, какому добру, если ты слеп, душа твоя глуха!.. Эх!

Акимыч вдруг побледнел, лицо напряглось той страшной его окаменелостью, а губы сами собой вытянулись трубочкой, будто в них застряло и застыло что-то невысказанное.

Я уже знал, что Акимыча опять «заклинило» и заговорит он теперь нескоро.

Он сутуло, согбенно перешагнул кювет и там, на пустыре, за поворотом школьной ограды, возле большого лопуха с листьями, похожими на слоновьи уши, принялся копать яму, предварительно наметив лопатой ее продолговатые контуры. Ростом кукла была не более метра, но Акимыч рыл старательно и глубоко, как настоящую могилку, зарывшись по самый пояс. Обровняв стенку, он все так же молча и отрешенно сходил к стожку на выгоне. Принес охапку сена и выстлал им днище ямы. Потом поправил на кукле трусишки, сложил ее руки вдоль туловища и так опустил в сырую глубину ямы. Сверху прикрыл ее остатками сена и лишь после этого снова взялся за лопату.

И вдруг он шумно вздохнул, будто вынырнул из какой-то глубины, и проговорил с болью:

– Всего не закопать...